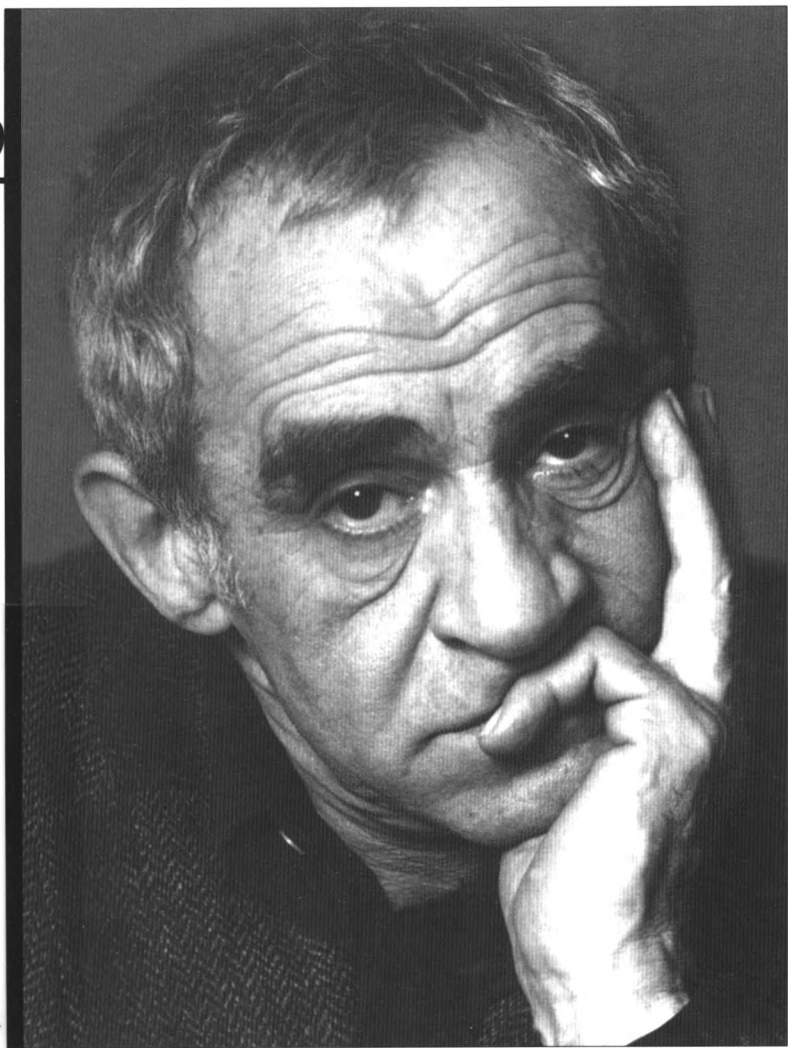


Зяма

Эмо же Тергит!



Александр

Ирина

**ЗЯМА
– это же Гердт!**



Т. Правдина
И. Кузнецов
М. Львовский
Е. Махлах-Львовская
Д. Самойлов
М. Швейцер
К. Райкин
Г. Шергова
Р. Ляпидевский
Л. Либединская
Э. Скворцов
П. Тодоровский
Э. Рязанов
Э. Успенский
В. Фокин
А. Володин
А. Ширвиндт
Б. Окуджава
Г. Трунов
В. Гафт
Ю. Ким
Г. Горин
Б. Чичибабин
М. Ульянов
Л. Гурченко
В. Некрасов
Т. Никитина
А. Арканов
Е. Махаринский
С. Погреб
В. Шендерович
Е. Миронов
М. Гейзер

ББК 85.143(2)

3-99

Серия «ИМЕНА»

Автор проекта и главный редактор серии Я. И. Гройсман

ЗЯМА – это же Гердт!

3-99 Составители Я. И. Гройсман, Т. А. Правдина
Н. Новгород, ДЕКОМ, 2003. – 280 с. – (Имена)
ISBN 5-89533-054-1 (доп. тираж)

Зиновий Гердт был не только замечательным актером, но для многих – воплощением чести и достоинства, мудрости и остроумия, истинно мужской привлекательности. Как мог уроженец местечка, по образованию слесарь-монтажник, из-за тяжелого фронтowego ранения укryвшийся за ширмой кукольника, не обладавший «звездной» внешностью, достичь артистической славы и стать предметом всеобщей, поистине всенародной любви? Об этом рассказывают люди разных поколений и профессий, бывшие с Гердтом на протяжении многих лет. А представит их читателю жена и друг З. Е. Гердта – Татьяна Александровна Правдина.

ББК 85.143(2)

ISBN 5-89533-054-1 (доп. тираж)

Охраняется законом Российской Федерации об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя и авторов. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Издательство «ДЕКОМ»,
составление, оформление
серии, литературная
обработка, 2001
© Т. А. Правдина, 2001



Мы прожили вместе тридцать шесть лет. Сегодня это половина моей жизни, а когда пять лет назад Зямы не стало, было, естественно, даже больше.

Но наша жизнь продолжается, так как его не стало только физически, потому что на каждую свою мысль, поступок, решение я слышу и чувствую его отношение – радостное или сердитое – и спорю, убеждаю, соглашаюсь. Это касается не только домашней жизни, но и той, что называется общественной, – событий в стране, поведения политиков, друзей. Мы были счастливой семьей – семьей единомышленников, то есть не только любили друг друга как мужчина и женщина, но и дружили. Я думаю, что ставшее классическим утверждение «все счастливые семьи счастливы одинаково» не всегда верно, но об этом расскажу, если достанет мужества, отдельно.

В этой книге – впечатления, мысли, воспоминания очень разных людей. Людей, вернее, части тех людей, которых любил Гердт, и тех, с которыми если не дружил, то хорошо к ним относился и высоко их ставил.

В этом я не сомневаюсь и постараюсь, естественно, субъективно, о них немного сказать, предваряя слова каждого автора.

Все статьи расположены в книге по хронологическому принципу – приблизительно по времени начала общения авторов с Зямой.

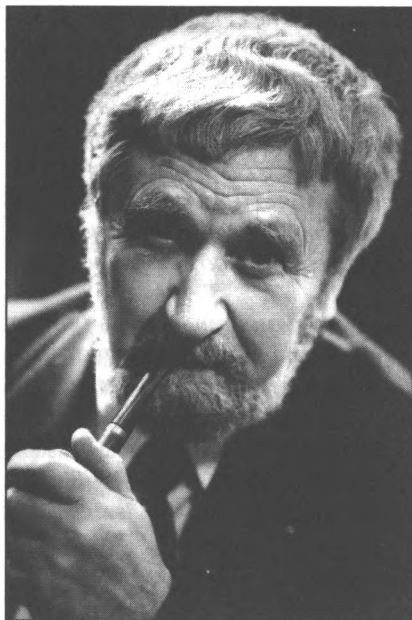
И. А. Спаль

Об Исае Кузнецове

Я думаю, что независимо от социальной принадлежности во всех слоях российской жизни принято ходить в гости и, конечно, приглашать к себе. К кому-то чаще, к кому-то на «календарные» дни – именины, рождения, годовщины свадьбы, дни памяти.

И мне всегда интересны присутствующие. В каких-то домах каждый раз встречаешь совершенно «недавних» людей, а есть семьи, где основной состав «застольцев» неизменен, притом на протяжении долгих лет, и их даже не приглашают, а просто есть замечательная уверенность, что и для них этот день важен. Не знаю, как в провинции, в Москве таких домов, по-моему, маловато. Лет двадцать назад Зяма и я были приглашены на день рождения человека, с которым познакомились незадолго до этого, чрезвычайно важного, занимающего «солидный» пост. И как приятно мы были удивлены, что только мы – «новенькие», а все остальные – школьные и институтские друзья наших хозяев. И от этого наши новые знакомые стали нам сразу ближе.

Всё это я к тому, что хочу сказать об Исае Кузнецове. Он самый давний Зямин друг, с «до-войны», с ФЗУ, со студии, из тех, кто знает все



достоинства и недостатки друга, всё прощает, потому что любит. В 1960 году, когда я стала Зяминой женой, они, разведенные разными направлениями своей деятельности, естественно, общались, но не так часто и тесно, как раньше. Мы с Исаем и его женой Женей, конечно, познакомились, но редко бывали друг у друга, встречались у Львовских, в театрах, так сказать, «светское» знакомство, без настоящего чувства и представления о человеческой сущности каждого. Со временем я стала читать сначала его рукописи, а потом и книги. До этого я знала его и Авы Зака пьесы по спектаклям, а это все-таки опосредованное знакомство с автором через актеров и режиссеров, а тут я поняла, что Исая имеет в со-

временной литературе очень свой голос, спокойно и мягко рассказывающий о событиях, чувствах и людях. Он делает это так объемно и вместе с тем тонко, что непременно вызывает ассоциации в восприятии читателя. Возникает мысль: «Да, да, я это знаю, я это чувствовала, а он так замечательно это выразил!» Именно то, что мы думаем, когда читаем Чехова (Бунина, Куприна... список имен настоящей русской литературы, слава Богу, у нас не маленький). Но о гостях.

Недавно, увы, уже без Зямы, я была на торжествах у Исая и Жени Кузнецовых. Было очень много гостей – родственников и друзей, старых, молодых, детей. Все знали Зяму, большинство – лично, а дети – из телевидения, фильмов и рассказов старших.

Я знакома с семьей Кузнецовых сорок лет, но все другие гости моего, старшего поколения были «давнее». Самым главным в атмосфере дома было равенство, а отсюда – полная свобода и естественность всех. Тосты умудренных и совсем «мелких» выслушивались с одинаковым вниманием или его отсутствием, как это бывает иногда в разгаре застолья. Но равно! Ясно было, что это дом, где не заставляют «уважать и заботиться», а просто для всех членов этой большой семьи и уважение, и забота – естественное, повседневное состояние. Думаю, это заслуга Деда и Бабки, Исая и Жени, их ощущение необходимости простоты. Как говорится, «именины сердца» – вот что это был за вечер!

Возвращаясь, я думала о том, какое счастье, что на протяжении жизни у Зямы был такой друг. Деликатный, естественный, верный. Никогда не выпячивающий себя, не заносющийся, восхищенно встречающий чужой талант. Последние годы Исая с Женей, Зяма и я виделись чаще. Наверное, потому, что, как говорят англичане, *a friend in need is a friend indeed* (друг в беде – настоящий друг). Поддерживая Зямин дух, Исая организовал встречу студийцев. Они собрались у нас, и счастьем было видеть, как они все помолодели в этот вечер, вспоминая свою юность.

Читая книги Исая, на протяжении лет видя, какой он друг и какой он дама, я понимаю, что он, не формулируя этого для себя, стоит на твердой основе, которой верен неизменно: семья и друзья. И потому обладает таким несуетным, вызывающим уважение чувством собственного достоинства. Вероятно, так было всегда, но кажется, что сегодня особенно, – таких людей раз-два и обчелся!

А теперь, я знаю, Исая и Женю мне приглашать не надо – они придут сами!

Исай Кузнецов**ЗЯМА**

*У нас еще не отняты права.
Мы говорим веселые слова.
И только в звонкой доблести острот
Пред нами жизнь как подвиг предстает.*

Мирон Левин

Зиновий Гердт читает Пастернака.

Четыре дня подряд, каждый вечер, я сижу у телевизора, смотрю на него, слушаю, вспоминаю...

Он именно читает. Не как артист, выступающий в концерте, просто – читает. Сидит у себя в саду с синим томиком Пастернака из «Библиотеки поэта», потрепанным, разбухшим от закладок, и читает. Читает, не заглядывая в него, сбивается, вспоминает, поправляется...

Я хорошо знаю эти стихи, те, что он читает, невольно вторю ему шепотом. Иногда он все-таки открывает книгу – на какое-то мгновение – и снова читает, рассказывает о случайной встрече с самим поэтом, о том, как читал стихи Пастернака Твардовскому, как тот слушал, и снова – стихи... Вдруг, закончив читать, смеется. Смеется от восхищения, от удивления перед силой стиха, его красотой, точностью слова, музыкой...

– Вот так, ребята... – говорит он.

Я всматриваюсь в лицо восьмидесятилетнего человека, читающего Пастернака. Да, постарел... Постарел, но не изменился. Узнаю его смех, жесты, интонацию и эти слова: «Вот так, ребята...»

Мы бродим по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Та Москва, еще довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Москва до войны – город, нынешняя – мегаполис.

Когда репетиции в Арбузовской студии кончаются поздно и трамваи, автобусы уже не ходят, добираться домой – а мы оба живем на окраине – можно только пешком, такси ни ему, ни мне не по карману. И мы гуляем по городу.

Медленно светлеющее небо... рассвет, в котором теряют яркость все еще горящие фонари... редкие, подгулявшие прохожие... обочины тротуара в белых разводах тополиного пуха... Тополиный пух – середина июня...

*Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллеи,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей...*

Бросить спичку – и легкий язычок пламени быстро, как по бикфордову шнуру, заскользит вдоль тротуара...

Мы бродим по городу и читаем стихи. То он читает, я слушаю, шепча за ним знакомые строки, то читаю я, то оба вместе, в два голоса – Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, – Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым.

Нет, не сразу. Помню, как с трудом прорывался к нему, листая маленькую книжку с двухполосной серо-белой обложкой, и как вдруг, неожиданно, он стал понятным, своим, близким и – необходимым. Не так было и у Зямы?

Милан Кундера пишет, что память предлагает нам не движение, не кинофильм, а фотографию, нечто застывшее, статичное – мгновение.

Отчасти и так. И все же не всегда статичное, иногда – пусть и короткое, но отнюдь не застывшее.

Вот одна из таких фотографий: мы сидим на скамейке, на бульваре у Никитских ворот, рядом с памятником Тимирязеву, и читаем стихи. К нам подходит женщина в заношенном, когда-то белом плаще, в беретике, из-под которого выбиваются спутанные, седеющие волосы, с мутноватой, полупьяной улыбкой на одутловатом лице. Зяма смотрит на нее с любопытством, я – с легкой брезгливостью.

– Мальчики, – говорит она, слегка покачиваясь, – угостите папироской.

Зяма лезет в карман, достает узкую пачку «Казбека». Женщина берет папиросу, садится рядом, улыбается ему, улыбается прищурившись, многозначительно, легко догадаться, что означает эта улыбка, но Зяма делает вид, что не понимает, дает ей прикурить и тоже улыбается. А она перестает улыбаться, взгляд ее делается усталым и грустным...

– Ты славный мальчик, – говорит она. – Хороших людей на свете мало, очень мало. Одного я знала. О нем сейчас говорят плохо. Очень плохо. О хороших людях всегда говорят плохо... А он... Он был замечательный человек. Да... замечательный...

– Кто же он, такой замечательный? – спрашивает Зяма.

Она вскидывает голову и тихо, очень тихо, но едва ли не с вызовом произносит запрещенное имя:

– Бухарин. Николай Иванович.

– Вы знали Бухарина? – спрашивает Зяма.

– Я работала с ним... В «Известиях».

Она встает и медленно, уже не пошатываясь, уходит. Мы молчим, глядя, как она идет в сторону Пушкинской площади, туда, где стоит многоэтажный дом «Известий», в котором она еще недавно работала.

– Наверно, была у него секретаршей, – говорит Зяма. – Или стенографисткой... И была влюблена в него...

*А в наши дни и воздух пахнет смертью,
Открыть окно, что жилы отворить...*

Произнес кто-то из нас эти пастернаковские строки? Или просто подумалось? Но держатся в памяти, связанные с этой встречей. А вот слова, сказанные после долгого молчания Зямой, помню.

– Вот так, ребята... – задумчиво сказал Зяма.

Тысяча девятьсот тридцать девятый... Год назад арестован мой отец...

Через два года здесь же, у Никитских ворот, я слушал речь Молотова. Война... Война, оборвавшая привычную жизнь, а с ней и нашу юность.

В тот день я шел к Саше Гинзбургу, еще не ставшему Галичем, делать какие-то поправки к пьесе, написанной нами вместе с Сеовой Багрицким. Севы в Москве не было, он отдыхал вместе слевой Тоомом и Наташей Антокольской в Коктебеле, и поправки предстояло делать без него – завтра, в понедельник, их надо представить в репертком. Уже не помню, зашел я к Саше или просто позвонил.

Какие поправки?! Война!

И вот уже новая фотография: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади... Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Возле Литературного института навстречу нам стремительно, или вернее целеустремленно, шагают Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в райвоенкомат – проситься на фронт.

Всего четыре месяца прошло со дня премьеры «Города на заре». В студии готовились к репетициям «Рюи Блаза» и нашей «Дуэли». Но мы с Зямой не сомневались – в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло: «Годен. Не обучен».

Ничего, обучат!

От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Во дворе нашего дома вырыта щель на случай бомбежки...

Второй месяц войны...

Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе имени Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию.

Для того чтобы понять, что такое война, есть только один способ –

пройти через нее. И хотя Москву уже бомбили, мы еще плохо представляем, что нас ждет. Совсем недавно, застав нас с Зямой за обычным соревнованием в остроумии, Александр Константинович Гладков спросил мрачно: «И в гестапо вы также будете острить?» Не слишком удачная шутка. Однако запомнилась. Мы еще многого не понимали. А потому, сидя на скамейке в саду имени Калинина, перед расставанием на долгие военные годы, не думая, не веря, что можем никогда больше не увидеться, мы, как обычно, шутили и смеялись.

Чистая случайность, что место его призыва оказалось рядом с моим домом. И все-таки мне приятно думать, что я был с ним, когда он уходил в армию, уходил воевать...

Нам было по 14 лет, когда мы познакомились.

Мы оба учились в ФЗУ Электрокомбината – я на слесаря-инструментальщика, он на слесаря-лекальщика, специальности более тонкой. Впрочем, ни он, ни я вовсе не мечтали отдать этим профессиям всю свою жизнь. ФЗУ – это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе: ни он, ни я в институт так и не поступили.

Пятнадцатого ноября 1932 года – смешно, но я почему-то помню эту дату – мы оба пришли в просторное помещение на верхнем этаже одного из зданий Электрокомбината поступать в заводской ТРАМ – Театр рабочей молодежи, руководителем которого был бывший актер Василий Юльевич Никуличев. Трамовцы звали его по-домашнему дядей Васей. Со временем Зяма придумает к его имени рифму: «Дядя Вася, иди одевайся».

Василию Юльевичу, человеку, не лишенному амбиций, название «драмкружок» не нравилось. А потому и ТРАМ. Впрочем, электрокомбинатовский ТРАМ и не был обычным драмкружком. Кроме репетиций пьесы Валентина Катаева «Ножи», там шли ежевечерние занятия: техника речи, биомеханика с Зосимой Злобиным, учеником Мейерхольда, танец с Верой Ильиничной Мосоловой, известной в свое время балериной, история театра.

Нас приняли.



1938

В тот день, день нашего знакомства, и началась наша с ним дружба. С год назад я со своей семьей переехал из Ленинграда в Москву. За этот год у меня не появилось ни одного приятеля, не скажу – друга. Зяма был первым и долгое время – единственным.

У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви они определяются не самим чувством, а чем-то иным. Наша дружба не то чтобы оборвалась, но сделалась больше памятью о себе, чем самой дружбой, когда наши пути привели нас в разное окружение: его – в театр Образцова, на эстраду, меня – в драматургию. Было еще и кино, но как-то на разных параллелях. Лишь однажды пути наши чуть не пересеклись, когда Володя Бычков пытался пригласить его сниматься в нашей картине «Мой папа – капитан». Почему-то этого не произошло. Не состоялось. Но это уже не в ключе дружбы – просто пересечение.

Первое время после войны мы встречались очень часто. Пытались втроем, вместе с Мишей Львовским, написать пьесу о человеке из прошлого, попавшем в наши дни. Тогда это была еще свежая идея. Помнится, сочиняли, на этот раз с Галей Шерговой, лирическую песню, в которой был припев: «Липа цветет, липа цветет...» Песню не дописали, поняли всю двусмысленность этого лирического припева. Пьеса же так и не написалась – охладели к самому замыслу.

Потом стали встречаться все реже и реже, хотя до самых последних лет его жизни он бывал у меня, мы виделись с ним у Миши Львовского, я заходил к нему, встречались в Доме кино, в других местах. Я по-прежнему любил его, да и он, смею думать, – меня. Но у него была своя жизнь, у меня – своя.

А тогда, до войны, мы жили одной жизнью. Учась в ФЗУ, хотя и в разных группах, но в одной смене, мы возвращались с ним домой на 39-м трамвае. Жил он далеко, в Астрадамском проезде, но частенько ночевал у своих родственников на Грохольском. Тридцать девятый шел в Останкино, поддороги было нам по пути. Поддороги – по пути... Так оно и вышло, в масштабе нашей жизни.

Итак – ТРАМ. Сперва – при Электрокомбинате, потом – при ЦК профсоюза рабочих электростанций. Никуличев был человек весьма деятельный и добился профессионализации нашего коллектива. Мы переехали на Раушскую набережную, в клуб Мосэнерго. Сюда впервые пришел Валентин Николаевич Плучек, которого Никуличев пригласил для совместного руководства.

С его приходом наш коллектив стал меняться. Плучек принес с собой то, чего не хватало Никуличеву, – подлинную культуру театра. И, как обычно бывает в театре, коллектив раскололся по принципу приверженности тому или другому руководителю. Мы с Зямой предпочли Плучека.

Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сближала нас: Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Багрицкий... Человеком, открывшим нам другие имена – Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, – был Валентин Николаевич.

Началось еще в ТРАМе, продолжалось и в студии. Он читал их сам, приглашал известных чтецов, побуждал нас ходить на концерты Яхонтова. В физкультурном зале школы, напротив консерватории, мы слушали нигде не напечатанные стихи Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Помню тогдашний «самиздат» – потрепанные рукописи цветаевского «Казановы», стихов Ходасевича и Мандельштама.

Не случайно возникла дружба студии с молодыми поэтами: Борисом Слуцким, Давидом Самойловым, Женей Аграновичем, Николаем Майоровым, Борисом Смоленским, приведенными к нам Мишей Львовским, который жил с Зямой в одном доме.

Зяма и сам писал стихи. У меня сохранилось несколько его стихотворений, присланных мне в конце войны на фронт.

Среди этих стихов есть несколько строк, которые мне особенно дороги. В полушуточном стихотворении он пишет о своих друзьях:

*У меня их трое верных,
Трое храбрых, беспримерных,
Трое! Кто из них верней?
Кто вернее в дружбе, в чести,
Кто стоит на первом месте:
Русский, грек или еврей?
Про кого сказать: «Во-первых»?
У того покрепче нервы,
У другого сердце шире,
Третий мудростью возьмет.
Я скажу: «Во-первых – трое»,
– Это будет верный ход!*

Грек – это Максим Селескириди (Греков), воевавший в тылу врага, русский – Женя Долгополов, любимец студии, человек действительно с широким, добрым сердцем, – увы, с войны так и не вернувшийся... Что касается третьего, то слова о его мудрости, конечно, лишь дружеское преувеличение и прежде всего свидетельство верности дружбе самого автора.

Но своих стихов он не читал. Он слишком хорошо знал, что такое подлинная поэзия. Читал тех, кого любил.

И я не удивляюсь, что, будучи уже известным артистом, он говорил: «Больше всего я хочу читать стихи людям».

Но были не только стихи. Шли репетиции, игрались спектакли. Ни-

куличев после «Ножей» поставил «Фантазию» Козьмы Пруткова, «Свои люди – сочтемся» и «Бедность – не порок» Островского, где я играл Африкана Коршунова, а Зяма – того самого «Англичанина», который у Островского лишь упоминается. По-настоящему первую роль он сыграл у Плучека в «Женитьбе Фигаро». Играл он Бартоло. Играл очень весело и смешно, настолько смешно, что мы, на сцене, с трудом удерживались от смеха.

Но в конце концов наш театр, как почти все профсоюзные театры,



«Женитьба Фигаро».

Бартоло – Зиновий Гердт.

Постановка Валентина Плучека, 1939

примерно в тридцать седьмом был закрыт. Я поступил во вспомогательный состав Камерного театра, Зяма – в кукольный. Не в Образцовский. Был еще один кукольный театр, кажется, на Никольской. Так что его карьера кукольника началась задолго до того, как он стал ведущим артистом в театре Образцова.

И вот еще одна дата – 19 мая 1938 года.

День создания так называемой Арбузовской студии. В этот день, «в час пурпурного

заката», как записано в «Студиаде», шуточной истории студии, на квартире у Валентина Николаевича собрались человек десять. Кроме самого Плучека и Александра Гладкова, четверо из нашего бывшего театра, несколько студентов училища при театре Мейерхольда, два профессиональных актера. Арбузов, один из инициаторов создания студии, отсутствовал – он был на футбольном матче, пропустить который мог только если бы лежал на больничной койке, без сознания. Не было и Зямы: то ли не смогли его предупредить, то ли был занят в спектакле, уже не помню.

Идея написать пьесу самим, методом импровизации, принадлежала Арбузову. Самое удивительное то, что она была осуществлена.

Когда по предложению, кажется, Гладкова было решено писать пьесу о строительстве Комсомольска, мы начали сочинять заявки на роли, которые хотели бы сыграть. Мы придумывали образы наших героев, писали их биографии. Эти наши сочинения читались в Раздорах, на даче у Милы Нимвицкой. Наши руководители, мы называли их «авгурами», были в состоянии неподдельного энтузиазма. Арбузов сказал, что по этим заявкам можно написать не одну пьесу, каждая заявка не просто на роль – на пьесу.

Из всех, кто в тот летний день читал свои заявки, только двое, Мила

Нимвицкая и Зяма, да еще Аня Богачева (Арбузова), пришедшая к нам несколько позже, осуществили свои замыслы – довели их до спектакля.

«Город на заре» – пьеса о строительстве на Дальнем Востоке, на берегах Амура, города Комсомольска. Начинается она с прибытия парохода «Колумб» с будущими строителями, добровольцами со всех концов страны: из Москвы, Иркутска, Ленинграда, Тулы, Саратова, Саранска, Одессы... Из Одессы приезжает и Зямин герой, Веня Файнберг.

Зямина заявка на роль Вени Файнберга сохранилась – у меня лежат две школьные тетрадки, на одной – портрет Гоголя, на другой – Калинина. На первой рукой Зямы написано: «Глупая вошла воображения» – не мог удержаться от легкой самоиронии.

В одной из тетрадей – описание задуманного им героя, его биография, во второй – отношения с другими персонажами. Очень многое из задуманного Зямой вошло в нашу пьесу и спектакль, в том числе и его отношения с Белкой Корневой, героиней Милы Нимвицкой, даже отдельные детали и реплики.

Не было в его замысле только бегства из города – это из моей заявки на роль Миши Альтмана. Уже на этапе написания сценария пьесы литературной бригадой, в которую входили и мы с Зямой, обе эти роли слились в одну – появился некий гибрид, Веня Альтман.

Зяма не сразу принял эту трансформацию своего образа: его герой обладал сильным характером, мой Миша оказался человеком слабым. Не справляясь с непосильными для него трудностями, он вместе с Зориным, крестьянским парнем, с первых дней взявшим его под свое покровительство, бежит из города.

Предполагалось, что работать над этой ролью, над ее созданием мы будем оба, поочередно, однако вся роль, кроме эпизода в тайге после бегства из города, создана Зямой. Эту сцену в тайге из-за его болезни пришлось импровизировать мне, но и в нее Зяма внес существенные изменения.

Веню Альтмана я так и не сыграл. Мне досталась роль «бесхозная», не имевшая своего автора, родившаяся в комнате Александра Гладкова, где собиралась литературная группа, – секретаря комсомольской организации города. Но и ее сыграть не довелось – по причине моей молодости, как объяснили мне «авгуры», а вернее, потому, что актером я был неважным... Играл его Саша Галич...

В свое время открытие студии и премьеры «Города...» были событием весьма приметным. И имя Зямы Гердта наряду с именами других исполнителей – Тони Тормазовой, Милы Нимвицкой, Ани Богачевой – с уважением произносилось на студенческих обсуждениях в ИФЛИ и МГУ. Его Веня вызывал у студентов споры, а у студенток – восторг и любовь.

Любопытно – об этом, кажется, где-то говорил Валентин Николаевич, – Зямин Веня привозит в будущий город футляр со скрипкой. Но –

цитирую по его заявке – «...когда его просят сыграть, он молча протягивает левую руку и сгибает пальцы в кулак. Средний палец зловеще торчит, несогнутый...» В результате несчастного случая он лишился возможности продолжать учение в консерватории и играть на скрипке...

Почти мистика...

Тяжелое ранение, двухлетнее пребывание в госпиталях, несгибающаяся нога, казалось, ставили крест на его актерском будущем.

«Я, как видишь, опять в госпитале, – пишет он мне на фронт в начале сорок пятого года. – Претерпел, брат, десятую операцию. Однако не дамся голым в руки. Фигурально, конечно, а буквально – постоянно. Приходится, гот дам! В этот присест хочу окончательно долечиться. Надоело все до черта!»

«А я? – пишет он в другом письме. – Изволь: в лучшем случае – актер на хромые роли. Но я зол, зубаст и черств. Думаю, что эти мои новые качества пригодятся. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться».

«Зол и черств» – это, конечно, преувеличение, своего рода самоподбадривание. Злым и черствым он никогда не был и не стал.

Время имеет свои адреса...

Была школа напротив консерватории, где мы репетировали свой «Город на заре» и показывали первые два акта тем, от кого зависело наше будущее, и Зяма, заведующий «осветительным цехом», мастерил из консервных банок осветительные приборы...

Репетиции, репетиции, работа над этюдами... Морозы сорокового года... В школе холодно, кто-то из ребят, уходя на каникулы, выбил стекла в окнах.

Я часто вспоминаю Зямино остроумие, его легкость, постоянную готовность к шутке и розыгрышу. Но это лишь одна сторона тогдашнего Зямы. Когда начиналась репетиция, в нем появлялась и собранность, и сосредоточенность. Работал он с полной отдачей. Да и наши отношения имели более серьезные основы, чем присущая нам обоим склонность к иронии. Мы создавали театр, и это было смыслом нашей жизни. Главное – студия. И когда наше понимание того, что для нее хорошо, а что плохо, не совпадало, мы порой доходили до ссоры.

Наша студийная нетерпимость и требовательность подчас приводила к тому, что мы периодически кого-нибудь исключали из студии. Правда, ненадолго. Так было и с Сашей Галичем, и со мной, и с Зямой. Исключали его, если мне не изменяет память, после того, как мы перебрались из школы в клуб Наркомфина. Там была бильярдная, куда часто наведывались в свободное от репетиций время и Саша, и Зяма. Вот за игру на бильярде в то время, когда шли репетиции, его и исключили. Это, как,

впрочем, и курение, считалось нарушением студийной этики. Смешно, но получалось так, что я, будучи членом совета студии, исключал Зяму, а через какое-то время он – меня. Но проходило немного времени, и всё это забывалось, и мы сами над этим посмеивались.

Мы были молоды, нетерпимы, но самое главное – любили друг друга.

Была комната Севы, удобная тем, что находилась в пяти минутах ходьбы от школы, где мы репетировали, комната с оставшимися от его отца, Эдуарда Багрицкого, аквариумами, со старой Севиной нянькой, ходившей за ним. Здесь мы – Сева, Миша Львовский, Саша Галич, Зяма и я – сочиняли песенки и сценки для капустников, слушали молодых поэтов или просто, что называется, трепались. Иногда, впрочем, и выпивали, хотя называть это выпивкой, учитывая сегодняшние масштабы этого занятия, конечно, смешно.

Была и комната Милы Нимвицкой на Покровском бульваре, где мы выпускали стенгазету. Идея выпускать стенгазету принадлежала Плучеку, периодически пытавшемуся придать студии вид нормального советского коллектива – попытки, обреченные на полный провал. Мы все-таки не были, да и не могли быть советским коллективом. Встретили мы предложение Плучека без энтузиазма – в самом слове «стенгазета» было что-то казенное, вынужденное, скучное. И мы под руководством Зямы, вернее, под напором его неиссякаемого остроумия, преобразили это понятие. Стенгазеты меняли названия: «Осенний лист», «Весенние маневры», а одна из последних вообще не могла называться стенной газетой – она была вылепленной Милой Нимвицкой из папье-маше полуметровой вазой.

Наша неистощимость в юморе привела однажды Валентина Николаевича едва ли не в ярость. В дни, когда нас выгоняли из здания школы и мы могли оказаться без помещения, вышла стенгазета под названием «Ситуация», в которой вопреки действительно сложной ситуации мы хохмили, отнюдь не соблюдая меры. Мрачно глядя на эту «Ситуацию», Валентин Николаевич произнес более чем странную фразу: «В армии юмор не нужен». Эту фразу Зяма тут же взял на вооружение, применяя ее в самых неожиданных обстоятельствах.

Именно здесь, на квартире Милы Нимвицкой, произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба нашей студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутовская, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно. Не потому что еврейская – никому не пришло в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.

Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишен-

ные насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины Елизаветы Герд.

Предложение было встречено одобрительно, в том числе и Зямой.

– Только обязательно – Герд-т! С буквой «т» на конце, – категорически заявил Арбузов.

– Герды-ты – это звучит гордо-то, – сострил кто-то. Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом.

Событие это было отмечено и в «Студиате», которая, как и пьеса, сочинялась коллективно – Арбузовым, Плучеком, мной и самим Зямой – на квартире Гладкова.

*...Это Зяма Храпинович,
Что от имени отрекся,
Ради клички сладкозвучной.
И как только он отрекся,
«Гердт» – прокаркал черный ворон,
«Гердт» – шепнули ветви дуба,
«Гердт» – заплакали шакалы,
«Гердт» – захохотало эхо.
И, услышав это имя,
Он разжег костер до неба
И вскричал: «Хвала природе!
Я приемлю эту кличку!»*

Я пытаюсь сквозь нагромождение годов и событий разглядеть его таким, каким он был в те довоенные годы.

Невысокий, худощавый, черноволосый и темноглазый, с густыми бровями, с годами еще более погустевшими, с быстро меняющимся выражением лица, от веселого, озорного до серьезного, задумчивого и даже грустного...

Но почему-то возникают лишь какие-то случайные (еще раз сошлюсь на Милана Кундера) фотографии.

...Концерт в Большом зале консерватории, поет Доливо. Поет песни Бетховена: «...кто врет, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто. Ну, кто так бессовестно врет...» Мы с Зямой в толпе, аплодирующей певцу, вызывающей его на бис. И вдруг Зяма кричит: «Требуем полного Долива!» Мне смешно, и я вместе с ним кричу: «Полного Долива!»

...Я лежу больной в своей комнате, в Останкине. Зяма сидит рядом, рассказывает о том, что нового в студии. Приходит женщина-врач и заставляет меня смерить температуру при ней. Мы с Зямой шутим, острым, я – с градусником под мышкой. Зяма рассказывает какой-то анекдот, врач смеется. Смеясь, смотрит на градусник и переводит на меня удивленный

взгляд. «Вы знаете, что у вас 39 и 6?» – спрашивает она. Зяма пожимает плечами: «39 и 6? Подумаешь! Для него это не температура». Врач с трудом сдерживает улыбку.

...На последние деньги пьем в только что открывшемся коктейль-холле достаточно дорогой для нас напиток вместе с симпатичной девушкой, очередным Зяминым увлечением. Зяма шепотом спрашивает: «У тебя что-нибудь осталось?» Я пытаюсь незаметно нащупать в кармане какую-то мелкую купюру, отдаю ему. Выходим на улицу. Зяма останавливает такси. «Мы вас отвезем», – говорит он девушке. «Зачем? – удивляется она. – Я живу совсем близко». Но все же, довольна посмеиваясь, садится в такси. Через два-три квартала выходим и провожаем ее до подъезда.

– Вот так, ребята! – удовлетворенно говорит Зяма.

Трамвай уже не ходят. Мы бродим по засыпающему городу.



Времена студии

...Мой день рождения. Сколько мне? Восемнадцать? Двадцать один? Не помню. Мама хлопочет у стола. Зяма поздравляет ее и, одобрительно оглядев заставленный закусками стол, потирает руки и важно спрашивает: «А сладкий стол будет?» – «Будет, будет!» – смеется мама, она давно знает Зяму и относится к нему с нежностью. По сей день живет в нашем доме этот вопрос: «А сладкий стол будет?»

Мелочи, но почему-то запомнились...

Тогда я еще не понимал, что его веселость, остроумие, озорство естественно и неразрывно сочетаются с глубоко скрытой – может быть, даже для него самого – лирической основой.

Не случайно в его заявке на роль в будущем «Городе на заре» отчетливо проявилась та лирическая тема, которая впоследствии так покоря-



Люциус – «Чертова мельница»

шей столь знаменитой, что на восьмидесятилетия Зямы она оказалась едва ли не самым ярким его участником.

«Обыкновенный концерт» стал событием в театральной жизни Москвы, и не будет преувеличением сказать, что благодаря именно его великолепной игре. В ней сказался и опыт студийных импровизаций, и его остроумие, а главное – врожденный артистизм. Я восхищался, любясь его филигранной работой с куклой, радовался за него – это наш Зяма!

Затем новая блестящая работа – Люциус в штоковской «Чертовой мельнице». И вот уже для зрителей театр Образцова становится театром Образцова и Гердта, что неизбежно должно было, рано или поздно, привести к его уходу – руководители театров ревнивы.

Зямин голос, его своеобразие – это, конечно, дар небес. Но голос – всего лишь голос. Для того чтобы он стал тем, чем стал голос Гердта, за ним

ла зрителя в его «Фокуснике». Даже в остром, беспощадном решении образа Паниковского проступает эта горькая, щемящая, лирическая нота.

При всей его веселости, озорстве, любви к остроумам в нем был тот высокий серьез, без которого нет, не может быть подлинного таланта.

После войны Зяма пришел в театр Образцова – спрятал свою больную ногу за ширмой. Но прошло немного времени, и его имя, имя человека за ширмой, стало произноситься с восхищением.

Как-то, уже после своей демобилизации, я провожал его на спектакль. Мы шли по Тверской, и он с увлечением рассказывал о работе в новом спектакле. Он готовил роль конферансье в «Обыкновенном концерте», читал мне тексты, сочиненные им для конферансье – куклы, став-

должна стоять личность. Зяма был личностью привлекательной и неповторимой.

И когда этот голос прозвучал в фильме «Фанфан-Тюльпан», стало ясно, что этот голос за кадром – голос выдающегося артиста. Он дублирует в «Полицейских и ворах» Тото, и Тото уже немислим для нас без голоса Гердта. Это не просто дубляж.

Голос Гердта завоевал зрителя. И стало совершенно неизбежным появление на экране самого артиста.

Появился. Стал одним из самых любимых актеров. И никому не приходило в голову замечать его хромоту.

Зиновий Гердт – за широкой, за экраном и на экране кино, на эстраде и на экране телевизора – отличался одним редким и неизменным свойством: он был предельно естествен и в гриме, и без него, в театральном костюме и в своей куртке за столом в «Чай-клубе», он вызывал полное доверие к себе, к тому, что говорил, как слушал других, как смеялся.

Миша Львовский рассказывал, как однажды, стоя за кулисами, разговаривал с ним. И когда Зяма вышел на эстраду, в нем не произошло никаких изменений, он и на сцене был таким же, как только что за кулисами. Стоявший рядом с Мишей известный артист, покачивав головой, признался, что на такое он не способен.

Зяма сыграл в кино множество эпизодических ролей, самых разнообразных, и в каждой был естествен, органичен и – неподражаем. Достаточно вспомнить его еврея с фамилией Сталин в фильме «Солдат Чонкин» или дедушку в картине Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

И вот он появился на экране телевизора. И стало ясно, уже не только знавшим его лично, что он обладает редким, удивительным даром – даром общения.

Всякий талант – загадка. И сколько бы мы ни старались ее разгадать, загадка остается. Это – тайна.

Но тогда и в ТРАМе, и в студии, при том что все мы Зяму любили, в том



*Аплломбов – это четыре руки
и один голос*

числе и наши Николаевичи – Арбузов и Плучек, воспринимали мы его все же несколько поверхностно. Когда его лирическая, глубинная натура чуть приоткрывалась, это вызывало поток шуток. Думаю, что это его задевало, и не отсюда ли его сдержанность в отношении к своим учителям, особенно к Плучеку. Недавно Мила Нимвицкая, уже после Зяминой смерти, сказала: «А ведь мы и не предполагали, что он вырастет в такую крупную личность... Зяма, Зямочка...»

Да, крупная личность.

С годами Вани, Ванюши, Ванечки становятся Иванами, Иванами Петровичами. Зяма оставался Зямой. Нет, конечно, к нему обращались по отчеству, называли Зиновием Ефимовичем люди официальные и мало-знакомые. Для тех, кто его знал, он был как был, так и остался Зямой. Это не было просто привычкой, это было проявлением особой, почти интимной формой его восприятия. Зрители знали его как Зиновия Гердта, но и они частенько с любовью обращались к нему по имени.

Он этим гордился. Однажды сказал: «Самое большое из всего, чего я добился, это то, что зрители называют меня Зямой».

За этим не просто популярность, не просто симпатия. Он действительно оставался таким, каким был в юности, – редкий случай самосохранения личности в тех условиях, в каких проходила наша жизнь. Да, старел, лицо покрывалось морщинами, седел. Делался глубже, значительней. Но всякий раз, встречая его в домашней обстановке, в гостях, в Доме кино, глядя на него по телевизору, я узнавал его таким, каким знал в молодости. Он не менялся в самом главном – в естественности поведения. Ему была чужда любая поза. Он никогда не предавал самого себя. Никто никогда не видел его подписи под сомнительными, угодными начальству письмами. Не менялось с годами и его чувство юмора, а юмор его был легким и заразительным. И таким оставался. А как часто у многих и многих остроумие превращается в злословие, а юмор – в пустое зубоскальство!

В сорок первом, в самом начале войны, в Ялте от туберкулеза умер поэт Мирон Левин. Его четверостишием я воспользовался для эпиграфа к этим заметкам.

Да, как ни странно, в остроумии есть своя доблесть! И если она есть, жизнь предстает как подвиг.

У Зямы была такая доблесть. И не только в остроумии...

«Но где снега былых времен?» – спрашивал когда-то средневековый французский поэт Франсуа Вийон.

В нашей, и только в нашей, памяти.

В памяти наших детей и внуков останутся снега других времен. Все проходит...

Куда делись патефоны, без которых представить себе довоенные

времена просто немыслимо? Граммофоны наших отцов и дедов сохранились только в музеях да в реквизиторских киностудий и театров. Ушли, уходят радиолы, проигрыватели.

Недалек час, когда устареют и лазерные диски, уже пришло цифровое телевидение, Интернет и еще Бог знает какие чудеса... Истлеют, сотрутся телевизионные записи и негативы кинолент. Кое-что, быть может, попытаются перевести на новые, неведомые нам способы воспроизведения, и наши правнуки увидят снега былых – наших – времен.

Что-то их удивит, что-то насмешит, а что-то, и очень многое, они просто не поймут.

Да что говорить?! Даже совсем недавнее, прожитое нами в молодости, нам же самим уже непонятно и загадочно, как времена царя Хаммурапи. Мы сами удивляемся: это с нами было? И мы этому верили?

Снега былых времен...

Когда я думаю о Зяме, то спрашиваю себя: будет ли понятно нашим внукам и правнукам, что значило для нас это имя – Зиновий Гердт и чем он был для многих, многих миллионов телезрителей, регулярно смотревших «Чай-клуб»? Не знаю. Многое окажется для них непонятным, наивным, старомодным.

Но то, что является основой его удивительного таланта – естественность, доброжелательность, умение слушать своего собеседника, редкое, беспримерное умение, его улыбка, его смех, – окажется, я в этом убежден, понятным и близким для тех, кто способен к восприятию добра.

А таких во все времена хоть и не так много, но все же не так уж и мало.



*Молодые Зиновий Гердт
и Михаил Львовский*

О Львовских

Кроме брата Зямы и его сестер, только Исай Кузнецов, Дезик Самойлов и Миша Львовский, я говорю о близких людях, знали Зямочку «целеньким», довоенным – не хромым. Все они рассказывали, как он блистал на танцах в «Крыльшиках» (в московском зале «Крылья Советов» был самый «злачный» танцевальный зал). Правда, и с хромым с ним любили танцевать все дамы.

Когда Зяма и я весной шестидесятого года неожиданно для его и моих друзей ушли из своих предыдущих семей, наступил момент знакомства с окружением каждого. Мы оба были убеждены в правильности наших поступков и совершенно не думали о реакции близких, а она была разной, естественно, жалели «брошенных».

Знакомство с Мишей (Михаилом Григорьевичем Львовским) и Лялей (Еленой Константиновной, его женой) было одним из важных. Я про них знала всё, Зяма рассказал, а сама появилась у них «новенькой» да еще так скоропалительно. Миша, сам женатый во второй раз, совершенно очевидно счастливо и окончательно, переживший Зямы многочисленные романы и успокоенно считавший, что и Зяма остепенился, поскольку последний его брак длился уже восемь лет, удивительно сразу меня принял, стал звать на «ты», и, несмотря на его немислимую застенчивость, было чувство, что мы всегда были знакомы. Ляля была приветлива, но, естественно, по-женски более настороженна.

А дальше пошло более глубокое, на деле узнавание и понимание друг друга. Мы общались практически повседневно, то есть если и не виделись какое-то количество дней, то знали всё про работу, радости и неприятности в наших домах. Оказалось, и мы ощущали это как нечто чрезвычайно символичное, что Ляля и я всё наше детство провели рядом: она с родителями жила в Большом Вузовском переулке, а я в Малом, каталась на санках с одних горок, стояли в очередях в одних и тех же магазинах, а Лялин папа, Константин Абрамович, преподавал Зяме в ФЗУ начертательную геометрию... Ляльчик, так звал ее Зяма и зову ее я,

светлый человек, с детской, очень яркой фантазией и доверчивостью: она может составить в воображении ситуацию и считать ее реальностью и действовать исходя из нее. В этом очень сильное творческое начало, я даже думаю, что именно это свойство способствовало тому, что она, человек абсолютно гуманитарный и, увы, не совсем молоденький, очень успешно освоила компьютер. Видя, какое потрясение и восхищение это вызвало у меня, она организовала путем подарков появление компьютера и у меня, убеждая, что и я смогу. Не уверена, но очень хочу.



Михаил и Елена Львовские

Я не люблю определение – сильный человек. Ни черта подобного, все бывают слабыми! Только одни жалуются, а другие, и их, к сожалению, меньшинство, обладая внутренней интеллигентностью и достоинством, никогда этого не делают. Зяма на вопрос: «Как дела, как ты себя чувствуешь?» – только несколько совсем последних дней употреблял слово «неважно» вместо обычного «шикарно». А Рина Васильевна Зеленая учила меня никогда не говорить за столом «мне этого нельзя», а только: «спасибо, мне не хочется». Ляльчик, маленькая, хрупкая блондинка, хорошенький «кукленок», не жалуется никогда. Сердится, возмущается несправедливостью и непорядочностью, но даже в самые тяжелые моменты, а их ей выпало более чем достаточно, не стонет, а держится, ни на кого не наваливаясь. Люди тянутся к ней и любят ее. А для меня сегодня она одна из тех немногих, кто помогает держаться в жизни. Миша понимал, как ему повезло. Был трудным, но обожающим мужем.

Среди всех авторов воспоминаний о Гердте в этой книге Михаил Григорьевич Львовский занимает особое место – он был самым давним и близким другом Зямы, они были соавторами, написав пьесу в стихах «Поцелуй феи» и пьесу «Танцы на шоссе» (обе были поставлены в театрах, но вскоре запрещены).

О Мише – поэте, драматурге, человеке – замечательно написал Исай Кузнецов, стариннейший друг Миши и Зямы, и поэтому я хочу, с разрешения автора, привести здесь его рассказ о Мише. Пусть чита-

теля не удивит, что слово о Львовском пространнее, чем Мишино о Зяме. Мне кажется, что для понимания того, как Гердт стал таким, каким мы его знаем, очень важно видеть человека, сыгравшего в его жизни и работе роль, сравнимую с ролью родителей. Итак:

Исай Кузнецов

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ – ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ

*На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется – перрон останется,
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...*

*Из пьесы М. Львовского
«Друг детства», 1961*

Кого бы я ни вспоминал из дорогих мне людей, уже ушедших от нас, Алексея Арбузова или Зиновия Гердта, Бориса Слуцкого или Давида Самойлова, Севу Багрицкого или Сашу Галича, рядом с ними непременно возникает Михаил Львовский, один из самых дорогих и близких спутников почти всей моей жизни.

Познакомился я с ним у Зямы Гердта в доме, где они оба жили летом тридцать девятого года.

Я уже говорил, что мы с Зямой днем работали, а вечерами занимались в Арбузовской студии. Миша учился в Литературном институте.

Он вошел в Зямину комнату запросто, не постучавшись, и с милой, по-детски обескураживающей улыбкой объявил:

– А у меня ангина!

Зяма что-то сострил по поводу его болезни и тут же, без перехода, потребовал, чтобы тот почитал свои стихи. Уговаривать не пришлось. Миша прочел небольшое, в восемь строк, стихотворение, которое я запомнил с ходу и помню до сих пор.

В Третьяковской галерее есть картина:

Гуси проплывают в облаках...

Где теперь ты ходишь, Валентина,

На своих высоких каблуках?

Как легки твои лукавые дороги?

Так ли дни твои по-прежнему легки?

О какие чертовы пороги

Ты свои стоптала каблуки?

Потом еще одно, тоже очень юношеское, не лишнее спрятанной за иронией грусти. Начиналось оно так:

*Мы любим девушку заранее,
Не угадав ее из многих,
Предпочитаем только крайние,
Невероятные дороги;
Мы выбираем три, не меньше,
Из существующих осанок
И говорим, что знаем женщин,
Перечитавши Мопассана.*

Он читал, а Зяма поглядывал на меня с гордостью за своего друга, чувствуя, что Мишины стихи, как говорится, «доходят» до меня. У Зямы было замечательное свойство – он принимал успехи своих друзей как свои собственные.

Потом Зяма привел Мишу почитать стихи в студию. Атмосфера, царившая там, в физкультурном зале школы на улице Герцена, где мы репетировали свой «Город на заре», настолько увлекла Львовского, что он стал не только другом студии, но и активным участником всей нашей жизни. Фактически он стал одним из авторов «Города...», принимая участие в работе литературной бригады на том этапе, когда переделывался последний акт пьесы.

Мишу в студии любили. Подкупали его одаренность, интеллигентность, мягкость характера и, не в последнюю очередь, удивительно тонкие, умные высказывания при обсуждении этюдов, делавшихся в процессе работы над пьесой. В своих воспоминаниях о том времени Давид Самойлов особо отмечает «тончайшие анализы Львовского» на семинарах Сельвинского.

Миша был одним из тех, кто входил в когорту талантливых молодых поэтов предвоенного времени. Само собой разумеется, он их привлек к нам в студию, и все они стали ее друзьями.

Надо сказать, что среди молодых поэтов Миша занимал особое место. В его стихах не было того политического накала, который так отчетливо проявлялся в стихах Слуцкого, Кульчицкого или Павла Когана. Он не воспевал героев гражданской войны, не предавался мечтам о будущей победе коммунизма во всем мире, не мечтал «дойти до Ганга и умереть в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». Его волновали простые человеческие чувства, что и составляет основу подлинной поэзии. А интонация его стихов, их лиричность, их доверительный тон подкупали естественностью и изяществом.

Оговорюсь. Миша вовсе не был чужд свойственной тогдашней молодежи веры в «правоту нашего дела». Даже те, кому судьба их родите-

лей могла бы подсказать, что же такое на самом деле «эта наша советская власть». Все-таки позади был тридцать седьмой год.

Это не вина наша. Это наша беда. Впрочем, и вина тоже.

Понимание со временем к нам придет. Придет оно и к Мише, придет болезненно, драматично, болезненнее и драматичнее, чем для многих из нас.

А потом была война. Призванный в армию, он оказался в частях, дислоцированных в Иране. Он не любил вспоминать это время, судя по всему, очень для него тяжелое.

Но и в этих условиях Миша оставался поэтом. Он пишет песню «Вот солдаты идут по степи опаленной...». Будучи строевой и вместе с тем глубоко лиричной, эта песня завоевала огромную популярность, стала подлинно народной.

Львовский, с которым я встретился после войны, демобилизовавшийся ранее, работал на радио, в детском отделе, помощником заведующего редакцией школьных передач. Заведующей была прелестная, талантливая Вика Мальт, а Миша среди прочего занимался спортивной передачей «Внимание, на старт!», для которой сочинил песенку, с нее начиналась передача: «Внимание, на старт! Нас дорожка зовет беговая», и еще более ста песен, в том числе написанную с поэтом Кронгаузом, где были такие слова:

*Ни мороз мне не страшен, ни жара,
Удивляются даже доктора,
Почему я не болею,
Почему я здоровее
Всех ребят из нашего двора?
Потому, что утром рано
Заниматься мне гимнастикой не лень,
Потому, что водою из-под крана
Обливаюсь я каждый день!*

Это при том, что сам Миша был человеком далеко не спортивным.

К тому времени прошла послепобедная эйфория. Уже позади было постановление об Ахматовой и Зощенко, шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», нарастала откровенно антисемитская кампания против «космополитизма», ужесточилась цензура.

Сейчас никому ничего не говорит имя американки Анабеллы Бюкар, тогдашней то ли стенографистки, то ли секретарши в посольстве Соединенных Штатов. В сорок девятом году в газете «Правда» появилась большая, на целую полосу, статья за ее подписью с разоблачением небезвредной для советского государства деятельности некоторых работников американского посольства. Даже тогда мало кто сомневался в том, что эта пресловутая статья писалась под диктовку предста-

вителей соответствующих органов. Говорили, что она влюбилась в какого-то русского, оказавшегося кагэбэшником, и, возможно, по доброй воле, а может, и под нажимом, выступила со своими разоблачениями. Не знаю, что уж там было особо опасно для нашего государства, но Миша статья коснулась самым непосредственным образом. В ней упоминался советский гражданин, заведовавший хозяйством посольства, некий Биндер.

Вероятно, я даже не обратил бы внимания на эту статью и во всяком случае никогда не запомнил бы имени ее автора, если бы не этот самый Биндер, оказавшийся родным братом Мишиной матери. Девичья ее фамилия была Биндер.

Логика нормального советского человека в такой ситуации подсказывала: ни в коем случае не подавать виду, что эта злополучная статья имеет хоть какое-нибудь к тебе отношение.

Миша поступил с точностью до наоборот: он отправился к тогдашнему главному редактору Всесоюзного радиовещания Латину и сообщил, что упоминаемый в статье Биндер – его родной дядя. Предпочел, чтобы начальство узнало это от него, а не от какого-нибудь бдительного доброхота. Миша был испуган, что вполне естественно по тем временам, и думал, что добровольная явка, честное признание избавит его от неприятных последствий.

Не избавила.

Вика Мальт рассказывала, что Латин в разговоре с ней сказал, что уволить Львовского был вынужден именно из-за его признания.

– Зачем он пришел ко мне? – недоумевал Латин. – Кто стал бы выяснять, не является ли этот чертов Биндер его дядей!

Для Латина увольнение Миши было делом естественным и рутинным. В любом случае он проявил бдительность. Тем более что Львовский был евреем. А на дворе – сорок девятый год.

Для Миши это было событием, которое не могло не оставить следа в его жизнеощущении.

Жил он тогда со своей первой женой Олей в крохотной комнатке в Докучаевом переулке.

Я часто бывал у него. Он почти не выходил из дома, жил в страхе, ожидая неизбежного, как он полагал, ареста. К сожалению, его страхи подогрелись кое кем из его знакомых доброжелателей. Кто-то обещал выяснить через кого-то, заведено ли на него в «органах» дело. Кто-то предлагал написать Сталину.

Мысль эта возникла в связи с забавным эпизодом из его детства. Двадцатье годы, двадцать шестой – двадцать седьмой. Где-то на юге, кажется, в Сочи, Миша живет с матерью в санатории, рядом с дачей Сталина. Однажды за тем, как он резвился в море, наблюдал Сталин с сопровождающи-

ми его лицами. Когда Миша вышел из воды, Сталин сказал ему, что он хорошо плавает. Миша похвастался, что может переплыть даже Кубань – он жил с матерью в Краснодаре. Сталин повел его к себе на дачу, расспрашивал о родителях. Он знал и его мать, «рыжую Клару», и отца, в свое время помогавшего ему бежать из ссылки в Туруханске. Сталин вручил Мише пакет с фруктами и виноградом и попросил передать матери привет.

Миша поблагодарил и собрался уходить. Провожавший его охранник спросил:

– А ты знаешь, с кем ты разговаривал?

– Нет, – простодушно ответил Миша.

– Это же Сталин! Иосиф Виссарионович Сталин!

Так что мысль о Сталине имела некоторый смысл. Однако мудрый Давид Самойлов обращается к «отцу всех народов» отсоветовал:

– Не надо. Может быть еще хуже.

В конце концов Миша решил отправиться на Лубянку. Его приняли весьма вежливо. Слова о том, что своего дядю он мог видеть только в двухлетнем возрасте и никогда с ним не встречался, были выслушаны с пониманием. Ему сказали, что у них нет никаких к нему претензий, но он обращается не по адресу – ведь не они его уволили.

– Вот так, ребята, – как говаривал Зяма Гердт. – Напрасно ты поплелся на Лубянку!

Да, напрасно. Но за этим его поступком стоял подлинный страх, чисто советский страх, хорошо знакомый моему поколению.

Однако постепенно он выходил из этого состояния. В значительной степени помогли ему в этом друзья на радио, и в первую очередь Вика Мальт, тоже вскоре вслед за Мишей уволенная Латиным, его будущая жена Ляля и Николай Александрович, работавший на радио режиссером.

Кстати, именно для Александровича, с которым Миша вместе служил в Иране, он еще в сорок седьмом году, когда тот играл в пьесе Малюгина «Старые друзья», сочинил песню, знаменитый «Глобус»:

Я не знаю, где встретиться
 Нам придется с тобой,
 Глобус крутится, вертится,
 Словно шар голубой...

У этой песни, исполнявшейся на мотив шуточной песенки Михаила Светлова, поразительная судьба: она стала одной из самых любимых песен туристов, и не только туристов. Для них стала настолько своей, что неизвестные авторы присочиняли к ней десятки новых куплетов, а имя автора знают далеко не все, кто ее пел, да и сейчас поет.

Передачи Львовского, подписанные другими, давали ему средства к существованию. Но главное все же было то, что они отвлекали его от мрачных мыслей и предчувствий.

К этому времени в его жизни произошло серьезное событие – он разошелся со своей первой женой и стал мужем Ляли. Брак этот был на редкость удачным. Прекрасный редактор, она стала его верным помощником и другом. Он нашел в ней заботливого и верного спутника, сумевшего создать самые благоприятные условия для его жизни и творчества.

В начале пятидесятых Миша с Вадимом Коростылевым написали пьесу «Димка-невидимка». Пьесу поставили в Центральном детском театре. Это был дебют не только самих драматургов, но и первая режиссерская работа Олега Ефремова, будущего создателя «Современника». Пьеса имела успех и шла многие годы.

Так поэт Львовский стал драматургом.

В предвоенное время их было шестеро – молодых, еще не слишком известных поэтов. Именно шестерых называет Самойлов в своих «Памятных заметках»: Бориса Слуцкого, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Сергея Наровчатова, Михаила Львовского и себя, Давида Самойлова, в главе, которая называется «Кульчицкий и пятеро».

На первом своем сборнике «Память», подаренном Мише, Борис Слуцкий написал: «Михаилу Львовскому – одной шестой той компании, которая несколько изменила ход развития советской поэзии. От другой одной шестой, на память об остальных четырех».

Михаил Кульчицкий и Павел Коган погибли.

Слуцкий и Самойлов заняли свое место в русской поэзии, место достаточно высокое.

Наровчатов, побывав на высотах литературно-чиновничьего Олимпа, больше известен как функционер, чем как поэт.

Львовский...

Что помешало ему осуществиться в поэзии на высоте Самойлова и Слуцкого? Для этого у него были все данные. Впрочем, это не совсем так – в поэзии он осуществился. Его песни стали настолько популярны, что порой теряли имя автора – высшая степень признания!

По уровню таланта – если можно в отношении таланта употребить такое выражение – Львовский не уступал ни Самойлову, ни Слуцкому. Это признавали и они сами. Даже такой глубоко политизированный поэт, как Кульчицкий, при первом же прослушивании его стихов признал в нем настоящего поэта. Борис Слуцкий и Давид Самойлов часто высказывали глубокое сожаление о том, что Миша ушел из поэзии в драматургию.

Да, драматургия стала для Львовского главным его делом. И не случайно. Не случайно в свое время пришел он к нам в студию – у него была тяга к театру. Он, если я не ошибаюсь, даже поступал в театральное

училище, правда, неудачно. Постепенно театр вытеснял стихи. В драматургии он находил лучший путь для самовыявления. Но и в драматургии оставался поэтом. И поэзия жила во всех его пьесах и сценариях.

Кстати сказать, в кино он в большей степени нашел себя. Вернее, там ему больше сопутствовала удача. Фильмы, снятые по его сценариям: «Я вас люблю», «Точка, точка, запятая», «В моей смерти прошу винить Клаву К», — пользовались огромным зрительским успехом и были высоко оценены критикой. И кто бы их ни ставил, Фрэнз или Митта, или еще кто-то, они были фильмами Львовского, несли в себе его эстетику, его ощущение жизни, его размышления и тревоги. Потому что при всей остроте его ума, при всем глубоком понимании поэзии, литературы, кинематографа, будучи уже заслуженным деятелем искусств и лауреатом многих премий, он оставался «родом из детства».

Он никогда не был до конца удовлетворен воплощением своего замысла. Успех не кружил ему голову.

Моде он не поддавался. В известной степени в отношении к некоторым новым тенденциям в театре и кино был даже слегка консервативен, что тоже было предметом наших разногласий.

Он легко увлекался чужим замыслом, развивая его, открывая в нем новые, неожиданные для самого автора возможности. И естественно, что вокруг него вилась немалая тех, кто отнюдь небескорыстно пользовался готовностью делиться своими мыслями и соображениями. На это он был необыкновенно щедр.

Думаю, Миша недооценивал себя, своего дарования. Отсюда ревнивое отношение к успехам своих друзей. В этой ревности не было никакой зависти. Он искренне радовался успехам близких ему авторов. Скорее всего это было недоверие к успехам собственным. Я это понимаю. Я и сам частенько с сомнением воспринимаю всякого рода восхваления, подозревая за ними попытки удовлетворить авторское самолюбие.

Но какие, например, сомнения мог вызывать успех его фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К», великолепно принятого зрителями и критикой? И тем не менее он не сразу понял, что это успех, и успех полный и, безусловно, заслуженный.

Особенно болезненно воспринимал он неудачи, такие, как постановка его «Друга детства» в «Современнике», целиком лежавшая на совести театра, или запрещение пьесы «Танцы на шоссе», написанной им с Гердтом. Я помню, в каком подавленном состоянии он находился некоторое время после этого. Неудивительно: пережитое в сорок девятом давало о себе знать. Вообще свои неудачи он переживал гораздо сильнее и глубже, чем успехи. Что делает ему честь.

Общение с Мишей, его высказывания давали богатую пищу для размышлений. И не случайно к нему тянулись многие вполне сложившиеся

писатели и режиссеры. У него можно было встретить и Анатолия Гребнева, и Ролана Быкова, и Бена Сарнова, и Александра Володина, не говоря уже о Зиновии Гердте, дружба с которым никогда не прерывалась. Александр Володин, всегда державший дистанцию в общении даже с людьми ему симпатичными, стал его ближайшим другом. Миша обладал свойством привлекать к себе людей.

Среди тех, кто посещал его квартиру на седьмом этаже дома на Красноармейской, надо упомянуть и так называемых бардов: Сашу Галича, Юлия Кима, Юрия Визбора, Аду Якушеву, Владимира Высоцкого и многих других.

Между прочим, одной из очень немногих песен, исполнявшихся Высоцким, сочиненных не им самим, была ставшая популярной прелестная песня Львовского, написанная для его же пьесы «Друг детства»:

На Тихорецкую состав отправится,
Вагончик тронется – перрон останется...
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, глаза печальные...

Песню эту использовал в своем фильме «Ирония судьбы...» и Эльдар Рязанов. Музыка написал Михаил Таривердиев.

Миша увлекался звукозаписью едва ли не фанатично. Он непрерывно совершенствовал свою радио- и звукозаписывающую аппаратуру, целыми днями возился с проигрывателями, радиоприемниками, адаптерами и колонками, в чем ему помогал его сын Коля.

Зяма Гердт посмеивался над этой его страстью:

– Если вдруг по радио сообщат, что началась война, Миша, прислушиваясь к звучанию своего радиоприемника, скажет: «Нет, ты слышишь, какой звук, а?!» и с сожалением добавит: «И все-таки высоких тонов не хватает».

Но то, что он посмеивался над Мишиными слабостями и причудами, ничуть не мешало их дружбе. Вместе с ним он написал пьесы «Поцелуй феи», шведскую в Театре сатиры, и «Танцы на шоссе», которую должен был ставить Толя Эфрос, но которую быстро запретили. Совместная работа далеко не всегда предполагает дружественные чувства. И все-таки случается – знаю по себе.



Михаил Львовский

Да, была у Миши страсть, способная вызвать улыбку, иронию. Но в результате – сотни бесценных записей бардовских песен в исполнении самих авторов, с их комментариями и высказываниями, множество записей бесед с известными писателями, артистами, режиссерами.

Это увлечение Львовского не случайное хобби. Миша всерьез занимался изучением уникального явления – русской авторской песни.

Мы частенько посмеивались над Мишиной мнительностью, был в ходу даже такой термин, как «львовщина». А между тем болезнь подкрадывалась к нему, и скорее всего это была не мнительность, а предчувствие.

И болезнь пришла.

Ему дважды делали операцию, он снова приходил в себя, а через какое-то время снова оказывался в клинике. Ляля не отходила от него, проводя почти все время рядом. Какого напряжения и стойкости это стоило, можно себе представить. Кроме того, нужны были немалые деньги. В этих непомерных тратах ее поддерживал Зяма Гердт. Мало кто из друзей столько сделал для того, чтобы спасти Мишу. Но ни их заботы, ни усилия врачей не могли его спасти.

Не считая стихов и рассказов, он написал и портреты близких ему людей – Зиновия Гердта и Ролана Быкова. Оба написаны с присущим Мише блеском, глубиной и точностью. Очерк, или вернее эссе, о Зиновии Гердте представляется мне более непринужденным и душевным – Зяму он знал хорошо и любил.

Ушел и Ролан. Ушел вслед за Мишей и его ближайший друг Зяма.

Уходят, уходят, уходят...

Михаил Львовский

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ

Премьера в столичном театре. Зал переполнен. Куда ни глянешь – лица знакомых и любимых артистов. Впереди меня сидят две девушки лет по восемнадцать-девятнадцать. Озираются, перешептываются. И вдруг одна:

– Ой, смотри, Гердт пришел!

Думаю: что же ты, милая, молчала, когда в зал входили не менее знаменитые артисты? А она как будто объяснила мне:

– Ой, я так его люблю!

И обе подружки уставились на Зиновия Ефимовича, разыскиваю-

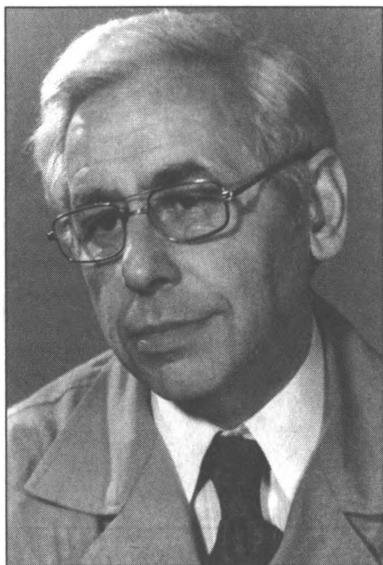
шего свое место. Ну, понимаю, были бы постарше, из тех, что млели от восторга, услышав голос «закадрового» Гердта в «Полицейских и ворах», где артист дал возможность печальному комику Тото прекрасно заговорить по-русски.

Так ведь когда это было! Ведь эти девушки еще и на свет не родились, когда вышли на экран главные фильмы с участием Гердта «Фокусник» и «Золотой теленок». А когда он играл в театре Образцова «Чертову мельницу» или «Необыкновенный концерт», они небось ходили не на спектакли для взрослых, а на детские утренники.

Но, может, они из тех театралок, что побывали на «Костюмере» в Театре им. Ермоловой, где артист играет главную роль? Или посещали его творческие вечера? Может быть... Но скорее всего дело в другом. У Гердта слава особенная. Он, играя только «для тех, кто понимает», как выразился в одной из своих песен Булат Окуджава, создал *свою*, особую аудиторию близких ему по духу людей. Постепенно эта аудитория стала многомиллионной. Такое прежде случалось только с поэтами. Помните у И. Сельвинского: «Это великий читатель стиха почувствовал боль *своего* поэта». На долю артистов такое счастье выпадает редко, несмотря на всю их «звездную» популярность. Для этого они должны быть не только артистами. Чем же еще? Тем, чем стал Гердт.

Я познакомился с З. Гердтом как раз в тот год, когда в студии, работавшей по вечерам, а часто и по ночам, в физкультурном зале средней школы, той, что напротив Московской консерватории, заканчивались репетиции первого акта пьесы «Город на заре».

Мы с Зиновием Ефимовичем были соседями, жили в деревянном двухэтажном доме (2-й Астрадамский проезд, чуть дальше трамвайная остановка с романтическим названием «Соломенная сторожка»). Во дворе нашего дома зимой лихо рубили дрова, а в летние дни на керогазах варили варенье в медных тазах, а подчас без всякого стеснения мыли головы, поливая друг друга из кувшина. На крыльцо выходили чистить ботинки. Весной 39-го часто наблюдал, как очень молодой человек через час после возвращения с работы выходил на крыльцо, красиво одетый, будто на праздник, и тщательно наводил глянец на модные черные ботинки. Мне, студенту Литинститута из поэтического семинара Ильи





Чарли Чаплин – Зиновий Гердт.
1938

видите ли, принято интересоваться смежными областями искусства – поэзией, живописью, музыкой.

Попав впервые в помещение студии, я обратил внимание на то, что все были принаряжены, словно на праздник. А приходилось им, перед тем как начнется «прогон» первого акта, подметать пол, сдвигать столы, образующие сценическую площадку, и многое другое. Будущий народный артист, а тогда электромонтажник, отвечал за свет. Он устанавливал самодельные софиты, сооруженные из жестяных банок с надписью «Монпансье». Ощущение необычной студийной дисциплины возникло у меня через несколько минут. Всё устраивалось тихо, быстро, без суеты. А потом режиссер и драматург сели за специальный столик, пригласив и меня. Несколько слов – и наше знакомство состоялось.

– Начали! – громко сказал режиссер.

О студии Арбузова и Плучека писали много, и о том, как была коллективно создана пьеса «Город на заре», тоже. Я вспомнил об этом потому, что, рассказывая о творчестве народного артиста России З. Гердта, не упомянуть об этом нельзя. Увлеченный работой в студии, влюбленный в студийность, в содружество единомышленников, он работал с упоением. В спектакле, как и большинство его участников, он сам сочинил для себя роль. Его героя звали Веня Альтман. Недоучившийся скрипач, поехавший строить Комсомольск-на-Амуре, потому что понял – хорошего музыкан-

Сельвинского, в котором учились тогда Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Евгений Агранович, этот молодой человек казался пижонем в своих сверкающих ботинках и брюках с отутюженной складкой. Я снисходительно поглядывал на незнакомца, занимающегося, как я тогда думал, чем-то там несерьезным в какой-то самодеятельной студии. Как потом выяснилось, он так же относился ко мне – разве в каком-нибудь вузе можно научиться профессии поэта?

Но однажды любопытство побороло стеснительность молодого человека, и он попросил меня почитать стихи. Я очень волновался. Но дело кончилось благополучно, и Зяма объявил мне, что я должен непременно почитать стихи в его студии. У них,

та из него не получится, значит, со скрипкой надо расстаться «решительно и навсегда».

Как он сыграл эту роль? Убежденно и сознательно защищая своего героя от всех упреков, которые могли бы возникнуть в те суровые предвоенные годы по отношению к созданному им образу. Критика тех лет воевала с неудачниками на сцене и в литературе, а ведь неудачники – это чаще всего люди, недовольные собой, а следовательно, ищущие. Гердт всегда считал, что искусство должно защищать именно таких людей. Мало того, он верил, что его герой в решительную минуту может стать очень сильным. И это он написал и сыграл в спектакле «Город на заре».

Естественно, что Зиновий Ефимович был на сцене одновременно и автором, и артистом. Всеми силами руководители студии старались победить в нем автора и оставить только артиста. Может быть, для роли и спектакля это было бы лучше, но для личности, которую мы сегодня называем Зиновий Гердт, одержи они победу, дело обстояло бы весьма печально.

В первую послевоенную зиму мы с Зиновием Ефимовичем, как это бывало и до войны, возвращались домой с работы – он из театра, я из радиокомитета. Так случилось, что я демобилизовался в 1945-м, а он раньше, после тяжелейшего ранения. Подходим к дому, где оба жили. Вдруг Гердт оступился и, тихо сказав «ой», упал на снег. Я стою над ним в шинели без погон, а он лежит на снегу в пижонском пальто лимонного цвета.

– Я сломал ногу, – спокойно говорит Гердт.

А я и так это вижу, и у меня от ужаса перехватило дыхание. Ведь нога-то много раз оперирована и не знаю, сколько ломана. А Гердт говорит очень спокойно, видя, что со мной делается:

– Не волнуйся, поднимись домой и позвони в «Скороую». Спокойно, слышишь, спокойно.

Я позвонил и вернулся. Наш дом был почти за городом. Вокруг – никого. Ни стоны я не услышал от своего друга до приезда «Скорой помощи». Потом – носилки, захлопнувшаяся дверь с красным крестом, и всё.

Известно, что доктора, которые лечили Гердта, все до одного очень его любили. Он их смешил и развлекал даже на операционном столе. А про свои скитания по госпиталям артист не любил рассказывать и никогда не надевал боевых наград и орденских планок не носил. Так же как наш общий друг писатель Александр Володин, у которого от войны до сих пор осколок в легком.

Знаете, как Гердт танцевал до войны? Некоторое время это повторялось почти каждый вечер в здании на улице Воровского, где теперь Театр киноактера, а прежде просто крутили кино. Там между сеансами играл джаз. У Гердта была постоянная партнерша. И когда они выходили на блестящий паркет, все пары останавливались и смотрели, как невысокий юноша такое

выделывал стилем, который назывался «линдой», что профессионалы завидовали. Потом, когда стихал джаз, раздавались восторженные аплодисменты. А почему? Гердт был удивительно пластичен. Один из его учителей в Арбузовской студии Валентин Плучек, бывший мейерхольдовский артист, постиг все премудрости биомеханики. Кроме того, он танцевал степ, пусть не так, как Фред Астер, но очень лихо. Всё это перешло к Гердту, который всегда умел учиться. С тех давних лет и по сей день.

А куклы в театре Образцова, которые «водил» артист, обретали гердтовскую пластичность, его биомеханику. Сергей Аполлинарьевич Герасимов, наблюдавший Гердта во время работы за ширмой кукольного театра, писал: «Он отдал ей (кукле) всё – жизнь, опыт, иронию, он словно бы становится рабом созданного им феномена. Но в этой кукле живет он сам». Меня в этой цитате больше всего занимает слово «феномен». Судьба артиста сама по себе феноменальна и резко отличается от множества самых счастливых судеб других актеров. На мой взгляд, его феномен, кроме всего, заключается в том, что он всегда как бы автор своих ролей.

Было время, когда Гердт, артист театра С. Образцова, выступал и на эстраде как автор и исполнитель так называемых дружеских шаржей на популярных артистов и поэтов. И вот я помню его, за кулисами разговаривающим с конференсье очередного эстрадного спектакля, в окружении других артистов, ждущих своего выхода. Обычный, без какой-либо актерской аффектации разговор с коллегами. «Сейчас твой номер», – внезапно обрывает Гердта конференсье и, приосанившись, выходит на сцену объявлять. Я наблюдаю за конференсье из-за кулис. На сцене совсем другой человек, чем тот, который секунду назад разговаривал с нами. И голос у него другой, и интонации, «подающие» выступление З. Гердта.

Появляется на сцене Зиновий Ефимович, кивком благодарит конференсье. Ничто не изменилось. На сцену вышел тот же человек, который только что стоял за кулисами. И голос тот же, когда он объясняет то, чем собирается заняться у микрофона, который он между делом прилаживает так, чтобы было удобно работать. «Вот оно, высшее мастерство, – говорит кто-то стоящий рядом со мной, – я так никогда не сумею».

Аплодисменты и смех встречают Зиновия Ефимовича. На глазах у зрителей что-то происходит с артистом. Впечатление такое, будто в душу артиста вселяются признаки объекта пародии, не вытесняя при этом личности пародиста. Наконец, звучит голос. Зритель аплодирует. Нынешние исполнители дружеских шаржей часто добиваются почти абсолютного сходства с голосом объекта пародии. Этим многие из них напоминают скорее имитаторов, звукоподражателей, нежели пародистов. Гердт добивается другого – своеобразной встречи своей актерской индивидуальности с индивидуальностью того, кого он пародировал, – и получалась не имитация, не копия, а нечто третье, дающее возможность

взглянуть на творчество пародируемого с новой, гердтовской точки зрения. Эта точка зрения всегда была доброжелательна и в то же время подчеркивала такие особенности, которые заставляли задуматься, хорошо ли, что они есть у того, кого Гердт пародирует. По окончании номера аплодисменты длились обычно очень долго и переходили в то, что мы называем «скандеж». Постоянный аккомпаниатор З. Гердта МартынХазизов как-то сказал: «С Гердтом хорошо работать, потому что можно медленно уходить со сцены».

Я понимаю девушек на шумной премьере, уставившихся на Зиновия Ефимовича, ищущего свое место в переполненном артистами зале. Когда он появляется на сцене, с ним вместе входит вся его жизнь – мужественная, горькая, веселая, а главное, честно прожитая. Он высоко поднял планку своего юмора, интеллектуальности разговора со зрителем, не считаясь с обывательскими представлениями о понятности и доступности. Зритель всех возрастов и профессий признателен ему за это, потому что тем самым он, зритель, становится одним из «тех, кто понимает».

Я вижу З. Гердта в кругу его друзей: Александра Володина, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Петра Тодоровского. В них есть что-то общее. Прежде всего они солдаты Великой Отечественной. И, кроме того, сказавшие о своем времени главное и незабываемое.

Елена Махлах-Львовская

ВЕСЕЛЫЕ МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ

Воспоминания в стиле ретро

В последнее время часто спрашивают: когда веселее жилось на Руси – до или после?.. Понятно, что «до» – это до нашей знаменитой перестройки, то есть в суровые времена «железного занавеса». Или уже «после», в прекрасное демократическое время свободы и независимости? Вопрос трудный, однозначно на него не ответишь. И правда, все стало сейчас ужасно независимыми, ну буквально все. Никто ни от кого не зависит. Казалось бы – живи себе в свое удовольствие и радуйся. Но нет, как-то больше все грустят и огорчаются, глядя на нашу окружающую действительность... А раньше – хоть и были трудности с питанием, жильем, одежкой – это с одной стороны, зато с другой – какие были замечательные московские веселые компании, встречи с друзьями, застольями...

Что может заменить общение с близкими сердцу друзьями! Сейчас говорят: тусовка! Но ведь тусовка – это не «дружественность», любимое

слово Володи Высоцкого. Нет, тусовка – это выставка самолюбий, демонстрация чего-то престижного, за показными улыбками – либо камень за пазухой, либо фига в кармане, и, конечно же, надо иметь «бабки», иначе ни на какую тусовку не просочишься.

А тогда, задолго еще до нынешних времен, за какие-нибудь 3 р. 62 коп. – стоимость «Московской особой», плюс картошечка отварная и капуста квашеная домашняя с клюквой и яблоками, плюс соленый огурчик, а если еще и за 4 р. 12 коп. коньячок и лимончик, то это вообще «отпад», как сейчас говорят. Но самое главное при этом – веселые истории, артистично и с юмором исполненные рассказы, анекдоты – сладкий ужас – за них и загреметь тогда можно было запросто. Теперь вот анекдоты и всякие занятные случаи можно по телевизору посмотреть и послушать. Есть передача, «Блеф-клуб» называется, посмеяться можно, но... ведь это как в театре: они, артисты, как бы по одну сторону, а ты – по другую, сидишь один или, что еще хуже, одна, и даже слово не можешь вставить в их беседу, не то что рюмкой чокнуться.

А раньше...

Одним из любимых развлечений были розыгрыши, остроумные и пикантные. Зяма Гердт в те времена работал в кукольном театре С. Образцова и часто выезжал за границу, почти каждый год. Тогда, кроме Большого театра, Образцовский театр был почти единственным «выездным». А Зяма был главным артистом, без него ни одна гастроль не обходилась. Привез он из одной такой поездки – магнитофон! В те времена это чудо техники было редкостью, пожалуй, даже большей, чем теперь Интернет.

Однажды к нему приехал за репертуаром из Саратова Горелик – конферансье местной эстрады. «Что это?» – спросил он, указывая на Зямин «Грюндиг». «Это приемник, – говорит Зяма, – давай сейчас послушаем московские известия». И замечательно, как это умеет Гердт делать, он включает пленку с заранее записанным своим измененным, якобы диктора голосом, и вещает: «Вчера ткачихи камвольного комбината «Красная Роза» выполнили план на 120 процентов!»... Затем шли какие-то дикторские сообщения очередных «новостей»... Горелик совершенно не узнает голос Гердта, внимательно слушает, и вдруг еще одно сообщение: «Вчера вечером из Саратова в Москву приехал за новым репертуаром конферансье саратовской эстрады Александр Горелик! На вокзале его встретила дружина 31-й школы Фрунзенского района. Пионерка Нюра Кошкина сказала: «А на кой... ляд вы сюда приваляли?» Бедняга Горелик, который вначале абсолютно поверил, что это настоящий эфир, просто за голову схватился, а потом, конечно, слегка нервно смеялся, разобравшись, наконец, что это Зямина шутка. Ну, а затем Гердт объяснил ему, конечно, что представляет собой магнитофон.

А как весело и прекрасно умели отдыхать, провести свои святые

24 дня законного отпуска с удовольствием! И не на каких-нибудь Канарских островах, засиженных, как мухами, полуживыми туристами, страдающими от жары и непривычной пищи – «авокадо с печенкой попугая в одном бокале, – как говорит Жванецкий, – наш российский желудок эту еду категорически отвергает». Нет, ездили на Волгу или на озера в Прибалтику...

В один из таких отпусков на стареньком гердтовском «Москвиче» мы вчетвером как раз в Прибалтику и отправились. Выехали на прекрасное Минское шоссе и понеслись. Распределили меж собой роли-обязанности: Зяма – командор пробега, Миша Львовский – почему-то квартирмейстер, Таня, Зямина жена, – вдохновитель и организатор всего, а я – кассир! Мы, как дураки, сложили в одну кучку, а точнее в мою сумочку, все наши отпускные деньги. И я, не вспомнив пророческие (для нас!) стихи известного поэта:

*Ходит птичка весело
по тропинке бедствий,
не предвидя от сего
никаких последствий!*

– довольно легкомысленно обращалась со своей сумочкой, сунув ее вместе с прочими дорожными мелочевками к заднему стеклу машины. Так вот, едем мы себе и едем, усталые, но довольные, приближаемся к городу Вильнюсу. «Сумерки тихо сгущались, в баре зажглися огни», – распевали Зяма и Миша какую-то прибалтенную уличную песенку... Мы въехали в



город, сумерки действительно сгущались, но мы и не подозревали, что они сгустились над нами довольно зловеще. Остановились у центральной гостиницы, где были заказаны номера, вылезаем из машины, вокруг нарядная публика прогуливается, я хочу выдать деньги на гостиницу, но... не тут-то было, нет сумочки! Обыскали всю машину, даже сиденья вытащили на тротуар, – сумочка с нашими отпускными деньгами исчезла! Я, конечно, рыдала, обливаясь слезами, ощущая свою вину и ответственность. «Боже мой, что с нами теперь будет!» – причитала я в отчаянии. Зяма и Таня обращались со мной довольно сурово: «Как не стыдно, – говорили они. – Это позор – плакать из-за денег!» Пошарив в карманах, мы нашли какие-то монетки, их хватило на батон хлеба и бутылку кефира. Очевидно, от безысходности ситуации мы вернулись километров на двадцать обратно по шоссе, Зяма включил фары, и мы всё старались рассмотреть, не валяется ли где-то на шоссе сумочка... Дело в том, что мы запомнили место, где делали по пути остановку на обочине, и даже запомнили телеграфный столб, у которого, представьте себе, обнаружили следы нашего пребывания, но... увы, не сумочку, в которой «деньги лежали». (Я вспомнила, что вынимала из машины здесь сумочку и положила ее на крышку багажника...)

Потом мы все же поселились – в долг – в гостинице. Телеграфировали в Москву, чтобы нам прислали деньги. Наутро спускаемся, голодные и непонятно на что надеющиеся, в кафе... Зяма Гердт диктует официанту: он заказывает икру, салаты, какую-то рыбку, блинчики, взбитые сливки и так далее. А в конце заказа строго говорит: «Но прежде принесите жалобную книгу!» Официант, конечно, в панике. Приходит администратор с книгой, пытается выяснить, что не так?! Зяма молча берет книгу и своим крупным четким почерком пишет (как мы потом узнали) благодарность официанту и всему персоналу кафе за отличное обслуживание и вообще всякие хвалебные слова в адрес их прекрасного заведения, о том, что он побывал с гастрольными поездками во многих городах России и даже за границей, но такого приема гостей, как у них, такой вкусной еды не видывал нигде! И подпись. И число. Можете себе представить, как в течение трех дней, пока мы жили тут, дожидаясь, пока пришлют нам какие-то деньги, как нас кормили, как обслуживали, по-моему, даже музыканты для нас что-то играли.

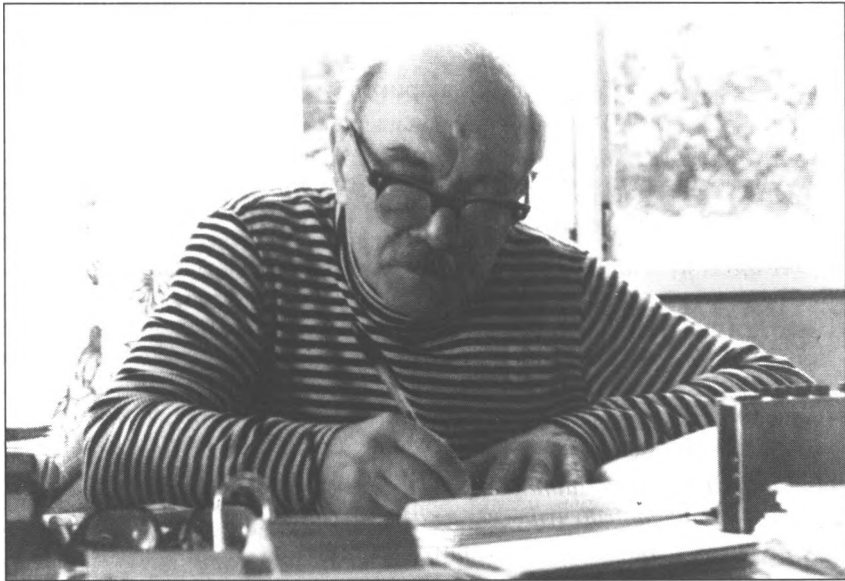
Но это еще не конец истории! Самое замечательное – это ее продолжение.

...Шли годы. Свершались многие события в нашей жизни. Но иногда, во время какого-нибудь разговора или даже спора на любую, даже самую серьезную тему, например проблема очередных выборов президента или обсуждение новой театральной премьеры, Зяма совершенно невозмутимо спрашивал:

– Так где же сумочка?

О Давиде Самойлове

Отпраздновав свой лучший в жизни день рождения – День Победы сорок пятого года пришелся на мое семнадцатилетие, – я окончила школу и поступила в Московский институт востоковедения. Он находился глубоко в Сокольниках в здании бывшего ИФЛИ (Института философии и литературы). К концу войны этот институт ликвидировали; не утверждаю, но думаю, потому, что он был средоточием одаренных интеллектуалов как преподавателей, так и студентов. Во всяком случае когда о ком-нибудь говорили: «ифлиец», это означало высокую оценку. В известной предвоенной компании ифлийцев-поэтов, позже их стали называть военными поэтами, были Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, Михаил Львовский и самый младший – Давид Самойлов, тогда еще Давид Кауфман. В те же годы Зяма, через Мишу Львовского, с ними и познакомился, а с Дезиком – так всю



жизнь звали его близкие – они стали друзьями. Я, хоть и увлеченная, как положено начинающему гуманитарю, поэзией, из всех этих поэтов знала только стихи погибшего на войне Павла Когана, и то лишь благодаря своей институтской преподавательнице английского языка Нине Бать, которая близко знала Павла, любила его и читала нам его еще не-

изданные, рукописные стихи. А стихи остальных я узнала как следует только от Зямы. Первое, что Зяма читал из Самойлова, были «Плотники». Не потому, что они хронологически одни из ранних – Дезик написал их в семнадцать лет, – а потому, что они были вечной Зяминой любовью и при позднем Самойлове. Зяма знал все стихи Дезика, очень большую часть по памяти и на протяжении всей жизни продолжал впитывать в себя новые. Он любил Самойлова наравне с Пастернаком, читал их всем, кто готов был слушать, стремясь поделиться своим восхищением. Мне кажется, что поэзия Дезика так понятна, близка и нужна очень разным людям потому, что ко всем его стихам применимо сказанное когда-то Михаилом Светловым: «Поэзия не проповедь, а исповедь». Исповедь самого поэта, становящаяся исповедью читателя, слушателя. Самойлов очень высокий лирик и совершенно земной:

...Я много хочу.
К примеру – зимы морозной...
...Чтобы пронзительные очи холода
Глядели строго,
Чтобы звезда была приколота
На грудь сугроба.

А когда грустно, точнее ведь не выразить:

...Очень грустно без друзей
И без юности моей.

А когда мучают сомнения, тоже есть поддержка:

А наши покаянья стоят грош,
И осуждения – не выход.
Что ж делать?
Не взыскуя выгод,
Судить себя. В себе.
Не пропадешь.

Дезика хочется цитировать по многим поводам, ощущениям и чувствам. Я повторяю чуть ли не каждый день:

Вот и всё. Смежили очи гении...

..Нету их. И всё разрешено.

Самойловы, Галя и Дезик, и мы в Москве виделись эпизодически, но зато, когда они стали жить в Эстонии, в Пярну, раз в году, в августе, общались очень тесно – Зяма и я приезжали к ним на два-три дня из наших туристических лагерей в Прибалтике. И было это ежегодно в те

чение более пятнадцати лет. Дом был замечательный. Умная, красивая, большая Галя ухитрялась сладить с бесчисленным количеством гостей, приезжих и местных, беспеременно всех кормила, выполняя при этом постоянные обязанности по обиходу Дезика и троих сначала невеликих, а потом подросших и от этого, естественно, более сложных детей. При этом была весела, остра на язык и только изредка, от усталости, срывалась на своих, но и то кратко и шуточно. Всем было хорошо. А Дезик и Зяма впивались друг в друга, курили, выпивали. Дезик читал новые стихи, Зяма тут же их повторял, а автор радовался – ему нравилось, как Зяма его читает. Однажды Дезик сказал: «Я хочу, чтобы какое-то стихотворение было посвящено тебе, но выбери сам». Зяма выбрал. Ни же вы его прочитаете.

Дезик и я часто вспоминали наш институт, вернее, дом, где располагались его, а потом мой – наши вузы. Мы ходили к метро «Сокольники» одними просеками, сидели в одних и тех же аудиториях, а через Павла Когана он знал и мою «англичанку» Нину Бать. А еще у нас была общая любовь к некоторым приборам. Увидев как-то у нас дома старинный барометр, Дезик сказал: «Вот чего мне не хватает!» Мне повезло, я купила барометр, хоть и современный, но тоже рабочий, и подарила Дезику. С тех пор он в письмах и по телефону аккуратно подтверждал его деятельность.

Так бы и жить, но... Дезик и Зяма дружили всю жизнь, до последней минуты, в прямом трагическом смысле этого слова. Самойловы позвонили из Пярну, и Дезик попросил Зяму принять участие в вечере, посвященном столетию со дня рождения Пастернака, который должен был вести 23 февраля в Русском драматическом театре в Таллине. «Что привезти?» – спросили мы. «Только коньяк для меня и водку для вас». – Это был девяностый год, и со спиртным в стране, а в Эстонии в особенности было плохо. Достали, приехали. Мы из Москвы, они из Пярну. Поселились в одной гостинице, радуясь встрече, вкусно вместе пообедали и, отдохнув, в дивном настроении пешком, благо недалеко, пошли в театр. Зал был набит битком. Открыв вечер, Дезик с присущей его прозе поэтической краткостью и точностью сказал блистательное слово о Борисе Леонидовиче и его творчестве. Затем выступали музыканты, чтецы, певцы. Потом вышел Зяма, прочитал «Февраль», еще что-то, из зала попросили: «Гамлета!» Едва он начал: «Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку... – за кулисами раздался какой-то шум, Гердт обернулся, но продолжил: – Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. На меня наставлен...» – но тут шум стал совсем громким, и на сцену выбежала женщина с криком: «Давиду Самойловичу плохо! Доктор (увы, не помню имени), скорей!» Мы с Галей, выскочив на сцену из четвертого ряда, побежали за кулисы. Доктор, си-

девиший чуть дальше, вбежал туда вместе с нами. Дезик лежал с закрытыми глазами на полу в гримёрке, над ним склонился прибежавший со сцены раньше нас Зяма. Доктор щупал пульс, Галя наклонилась над Дезиком, и он вдруг открыл глаза и даже как-то спокойно, выдохнув сказал: «Ребята, всё, всё... всё в порядке». И опять закрыл глаза. Всё происходило молниеносно. Очень быстро приехала «скорая», нас выгнали, мы ждали, стоя за дверью. Лучшая таллинская реанимационная бригада делала всё возможное. Через час доктора вышли, сами убитые горем. Возвращались в гостиницу той же дорогой, которой четыре часа назад пришли в театр, но уже втроем. Зяма нес Дезикину палку. Забыть невозможно!.. Ночью спать не могли, просто сидели вместе. Ни Галя, ни Зяма, ни я не плакали, был шок. Иногда разговаривали: «Что было перед твоим выходом на сцену? О чем вы говорили?» – «Обсуждали предстоящий фуршет – поставят ли эстонцы вытивку. Дезик сказал, что если нет, то ведь не страшно, у нас же есть чем помянуть Бориса Леонидовича. Он радовался тому, как идет вечер, и был в совершенно веселом расположении духа».

Где бы Зяма ни говорил о Дезике, дома или на выступлении, определение было одно: «Мой дивный друг». Последнее в жизни, что Зяма прочитал со сцены, 2 октября девяносто шестого года на своем восьмидесятилетнем юбилее, было Дезикино «Давай поедем в город...» Оно кончается словами: «И что нельзя говорить!»

И Дезик, и Зяма были настоящими мужчинами, знавшими, почему фунт лиха.

Они не береглись.

Давид Самойлов

З.Г.

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острее и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый –
Крик один и прощанье одно.

1979

ПИСЬМА В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Дорогие Таня и Зяма!

Только благодаря вам я нашел объективный и совершенно научный ответ на вопрос: «Как дела?» Отвечаю: давление 739 мм ртутного столба, температура воздуха дома 22 градуса, относительная влажность 60%. Следовательно, дела у нас переменные. Вот что такое наука!

Вернувшись в тихий Пярну, мы всё застали в полном беспорядке: дети простужены, водопровод замерз, телефон не работает, лампочка в туалете перегорела. Но так как барометр упорно стоял на ясной погоде, пришлось быстро устранять все неполадки и добиваться ясности.

Не устаю восхищаться достижениями наук. Кажется – простой прибор, а как изменилась и уточнилась наша жизнь!

Если бы стихи еще при этом писались. Но упорно не пишутся. И тут же туманная область искусства. Приборы не помогают.

С удовольствием вспоминаем наше гостевание у вас – редкое отрадное пятно на довольно безотрадном московском горизонте. Общее впечатление от Москвы мрачное. И всё хуже раз от раза.

Ты, Зяма, один из немногих людей в столице, живущих вне апокалипсиса. Это удивительное твое достоинство я необычайно ценю и хочу учиться у тебя.

Будьте оба здоровы и счастливы.

Галка шлет вам свой привет.

Ваш Дезик.

Сон о Гамнибале
Пярну
январь 1980

Так эта фотография
подписана Д. Самойловым



После бесед и возлияний

* * *

Ты, Зяма, на меня в обиде.
Я был не в наилучшем виде.
Но по завету сердцеведа:
Не верь, не верь поэту, деда!

Мой друг, считай меня Мазепой,
А если хочешь, даже Карлом.
Но в жизни, друг, – в моей нелепой –
Есть все же многое за кадром.

А там, за кадром, милый Зяма,
Быть может, и таятся драмы.
Прекрасная, быть может, Дама,
А может, вовсе нету дамы.

Там, Зяма, может быть, есть зимы,
Тоска, заботы и желанья,
Которые невыразимы
И не достойны оправданья.

И это дань сопротивленью
И, может быть, непокоренье
Тому отвратному явленью,
Название коему старенье.

И, может быть, сама столица,
Которую я вижу редко,
Сама зовет меня напиться,
Возможно, даже слишком крепко.

Возможно, это все бравада
И дрянь какая-то поперла.
Но мне стихов уже не надо
И рифма раздирает горло.

Давай же не судить друг друга
И не шархаться с испугу.
И это – лучшая услуга,
Что можно оказать друг другу.

И, может, каждая победа –
Всего лишь наше поражение.
Поверь, поверь поэту, деда,
И позабудь про раздраженье.

Людв. Д. Самойлов



Эстония, г. Пярну. 1975

Дорогой Зяма!

Обращаюсь к тебе с дружеской просьбой принять участие в моем вечере в ЦДЛ 25 мая с. г. (это будет воскресенье). К тебе оттуда обратятся, но я сам лично прошу и умоляю. Надеюсь, что поездки, гастроли и непредвиденные обстоятельства тебе не помешают¹.

У нас никаких новостей. Что-то делаю каждый день, но без большого толка и без всякого удовольствия. На прошлых неделях с удовольствием видел тебя в «Хождении по мукам». Только идиотизм провинциальной жизни был причиной того, что все тринадцать серий мы просмотрели от корки до корки. Забавнее всего были замечания нашего Пашки. А ты, как всегда, хорош! В Москве собираюсь быть к 20 мая. Тогда созвонимся.

Будь здоров. Привет тебе и Татьяне от Галки. От меня ей привет и очередное сообщение: давление 725 мм, отн. влажность – 55%.

Обнимаю вас обоих.

Апрель, 1979

Давид Самойлов

Дорогой Зяма!

Давно уже лежит передо мной ваша японская открытка, вызывая жгучую зависть. Я ждал, пока утихнет это подлое чувство, прежде чем тебе ответить. Жаль, что мы не совпали в Москве. У меня к тебе возникла тяга. Вечер

¹ Гердт не мог принять участия в этом вечере, так как был на гастролях театра в Японии (ред.).

мой без тебя многое потерял. Видел тебя в «Троих в одной лодке». Ты лучше всех троих, их собаки, сценария и, может быть, музыки. Ты – тип, но это (как говорил Тувим) не ругательство, а диагноз. В Москве буду осенью.

Обнимаю тебя и, если можно, Таню. От Гали вам привет.

Любящий вас Дезик. 08.07.79

Пяру Эст. ССР, Третий дом от угла. Д. Самойлов.

Из города Пернова Зиновию Гердту

Что ж ты, Зяма, мимо ехав,
Не послал мне даже эхов?
Ты, проехав близ Пернова,
Поступил со мной хреново.

Надо, Зяма, ездить прямо,
Как нас всех учила мама,
Ты же, Зяма, ехал криво
Мимо нашего залива.

Ждал, что вскорости узрею,
Зяма, твой зубной протезик,
Что с улыбкою твоею
Он мне скажет: Здравствуй, Дезик.

Посидели б мы не пьяно,
Просто так, не без приятства.
Подала бы Галиванна
Нам с тобой вино и яства.

Мы с тобой поговорили
О поэзии и прочем,
Помолчали, покурили,
Подремали, между прочим.

Но не вышло так, однако,
Ты проехал, Зяма, криво.
«Быть (читай у Пастернака)
Знаменитым некрасиво».

И теперь я жду свиданья,
Как стареющая дама.
В общем, Зяма, до свиданья,
До свиданья, в общем, Зяма.

12.09.81

Дорогой Зяма! К старости, что ли, становишься сентиментален. Твое письмо выжало из моих железных глаз слезу. И ты знаешь – надо отдаваться этому чувству. Это чувство живое, вовсе не остаточное. Самое удивительное, что это способны испытывать только мы. Нам кажется, что чувство дружбы, и поколения, и родства, и доброжелательства, и взаимной гордости – это так естественно. Но ведь последующие этого не испытывают. У них другие чувства, может быть сильные и важные, но другие! А это НАШИ чувства.

Люблю тебя и всегда горжусь тобой. У нас с тобой судьба похожая: мы росли постепенно.

Книжку предыдущую пришло из Москвы, когда там буду. Позвоню тебе, надо бы увидеться. У меня 24 декабря в ЦДЛ вечер. Приходи.

Живу я примерно в таком пейзаже.

Твой Дезик. XII.79

Дорогие Зердты!
 Поздравляем вас с Новым годом.
 Желаем здоровья, благополучия,
 удачи, радости всего, что понадо-
 бится впереди.
 До встречи.

Любимые вас

Самойловы

Дорогой Зяма!

Вчера получил истинную радость от твоего Понса¹. Приходится признать, что ты не ковбой и не герой-разведчик. Но ты дорос до своей фактуры. И вместе с ней твой артистизм, тонкость, ум – всё это вместе «производит глубокое». К этому всегда примешивается удовольствие сказать кому-то, а если нет кого-то, то самому себе: «Но это же Зяма!»

¹ Имеется в виду телеспектакль В. Фокина «Кузен Понс» по роману Бальзака (ред.).

И Зяма, и не Зяма. «Зяма» – это форма причастности каждого друг к другу.

Поздравляю тебя с замечательной ролью. Ею ты, правда, слегка подкосил своего же Паниковского. Но искусство требует известной жестокости.

Еще раз спасибо тебе и за участие в моем вечере, все в один голос говорят, что ты был номер первый. Я готов ступешаться.

«Надо бы повидаться», – как сказал джентльмен, проваливаясь в пропасть.

Будь здоров. Привет твоим.

Любящий тебя Дезик. 180.

*Зяма Шатилин: 72 апреля 1980
Фабрика 758 им. рудного столба
Относит. влажность – 65%*

Обнимает вас обоих

Самбала

Дорогой Зяма!

В моем письме есть очень важное для меня ощущение, что мы-то лучше всех знаем, что почем. Это объективно, наверное, очень хорошо, означает зрелость, сознательность и отсутствие самолюбования, но для себя весьма трудно понимать разницу между задуманным и воплощенным и ощущать свое бессилие и дубоватость. У меня после краткого удовольствия (во время писания и чуть после) наступает чувство неприятного равнодушия и даже порой неприязни к тому, что я сочинил. Потом это проходит. Или стихи отбрасываются и я про них забываю, или становятся настолько отдаленными, что будто и не я писал.

А насчет «узнавания», прости, если я пишу банальности, но, кажется, есть два типа актеров. Одни перевоплощаются в «другого», вторые остаются самими собой. Не знаю, в чем здесь суть, но для себя ясно различаю два эти типа. Когда первые слишком на себя похожи – это плохо. А когда вторые не похожи на себя – это тоже плохо. Ты – мне кажется – относишься к превосходному образцу второго типа актеров. И потому так долго «дорастал» до своей фактуры.

Ты прав, что наше лирическое начало где-то плавает в нашем поколении. Человеку нужна какая-то общность. А у нас лучшей общности не

оказалось, потому что те, кто пришли после нас, если не хуже нас, то во многом чужды. Хотя бы в том, что им общность, кажется, не нужна. Впрочем, я не люблю качать права по этому поводу. Молодые (я вижу в основном молодых поэтов) мне во многом нравятся.

Дорогой Зяма! Я вижу, что есть у нас множество тем для разговоров и есть взаимная тяга к этому. Надо преодолеть застарелую привычку не встречаться.

Ты – я вижу – легко и много передвигаешься по разным местам. Я же засиделся у себя в Пярну. Давно никуда не езжу. Отчасти из-за малолетних детей, отчасти по лени, отчасти по отсутствию большой потребности. Тяжел я стал. Но зато трудолюбив, чего раньше в себе не замечал.

Погода у нас прескверная. Изредка, как всегда, пишу стихи. А в ожидании вдохновения сочиняю всякую всячину во всех возможных жанрах, кроме романа-эпопеи.

Мише Львовскому – привет. Только человек железного здоровья может так долго болеть. Я Мишу люблю и ценю, но он словно меня побаивается. Не то чтобы меня, но характера, способа веселиться, моего шума, который дурно действует на нервы в его больничной тишине. Кроме того, знает, что я никогда не относился всерьез к его вслушиванию в собственный кишечник.

Но это уже болтовня.

Обнимаю тебя. Привет тебе от Галки и Варвары, а от меня – всем твоим. Будь здоров.

До встречи. Твой Д.

Ты пишешь: до зимы, – до Зямы.

Дорогой Зямуэль!

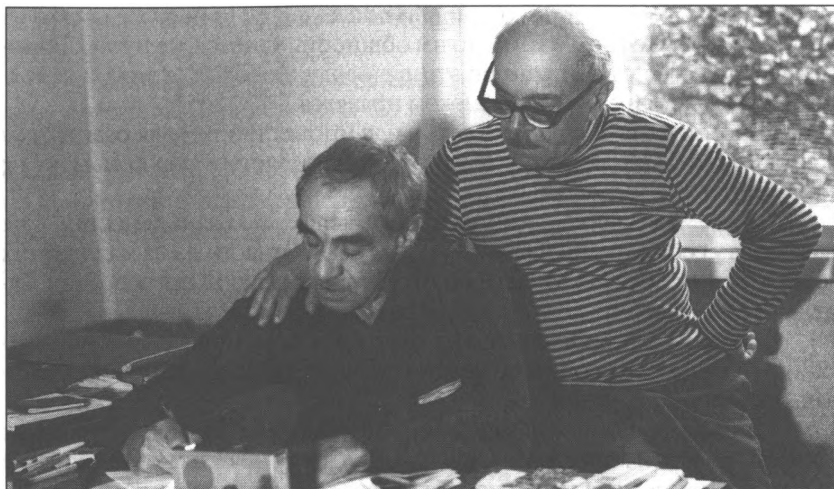
Спасибо за сердечное поздравление с моим днем рождения. И спасибо Господу, что ты еще поигрываешь, поскакиваешь, поезживаешь и множество всяких по... еще способен сотворить, в том числе и Позвонить мне с ПОздравлением.

Пытался изложить свои чувства стихами, но как-то они не вышли или я стал взыскательней прежнего.

С удовольствием сообщил бы тебе какие-нибудь новости. Но их в огромной степени нет в нашем тихом Пярну, кроме перемен погоды и других природных явлений, о которых я уже писал стихами.

Привилегия нашего возраста – говорить о здоровье. Поэтому сообщаю тебе, что чувствую себя прескверно. Подробности медицинского и фармацевтического характера опускаю и отсылаю тебя к моему другу Левитанскому, который в этих вопросах большой дока.

Поговорим о культуре. Совершенно отстав от нее, я недавно прочитал братьев Вайнеров и понял, что именно они мне по зубам. А Гете там и



З. Гердт переписывает новые стихи Д. Самойлова. Пярну

разный Пруст, – их пусть читают те, кто порезвее мозгами. Читая братьев, я понял, что завидую именно им. У меня нет брата. И поэтому я всю жизнь писал один. И некому было даже сходить получить гонорар, когда я не в силах был подняться от цдловского стола.

Еще я завидую братьям, потому что они пишут не стихами, а прозой (что труднее) и что им всю жизнь попадались такие интеллигентные милиционеры, что хочется именно им признаться в чем-нибудь гадком, что я совершил еще в ранней юности.

Вот, милый Зямуэль, и все мои мысли на сегодняшний день. Ты сам видишь, насколько я оскудел умом, увлеченный болезнями.

А ведь для будущей нашей совместной публикации в Литнаследстве (переписка) нужны бы письма с глубокими суждениями об искусстве, с недовольством по адресу нашего проклятого времени, острые характеристики наших деятелей или хотя бы интимные подробности, вроде: «а я ее с божьей помощью у...!»

Пусть Зильберштейны плачут!¹

На этом кончаю свое писание. Откликайся время от времени. Привет тебе от Гали. От меня Тане и всем твоим поклон.

Обнимаю. Твой Д. 1981.

¹ Зильберштейн И. С. (1905–1988) – искусствовед, писатель, коллекционер, один из зачинателей «Литературного наследства» (ред.).

* * *

Давай поедem в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,
А нам храниться поздно.
Нам будет чуть печально,
Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень
До синего налива.
Дым, облако и птица
Летят неторопливо.

Ждут снега. Листопады
Недавно отшуршали.
Огромно и просторно
В осеннем полушарье.

И всё, что было зыбко,
Растрепано и розно,
Мороз скрепил слюною,
Как ласточкины гнезда.

И вот ноябрь на свете.
Огромный, просветленный,
И кажется, что город
Стоит ненаселенный, —

Так много сверху неба,
Садов и гнезд вороньих,
Что и не замечаешь
Людей, как посторонних.

О, как я поздно понял,
Зачем я существую!
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую.

И что порой напрасно
Давал страстям улечься!..
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...



О Михаиле Швейцере

Однажды Зяма спросил меня: «Ну, есть муж лучше меня?» «Конечно, – ответила я, – Миша Швейцер». То, что я сказала это не задумываясь, заставило Зяму тут же согласиться: «Ты права, это так».

Редкостные были люди.

Миша и Соня, пережившие самую большую трагедию на земле – потерю двоих детей, остались не только расположенными ко всем детям друзей, но и заботились о них самым практическим образом. Помню, как однажды, глядя на тогда совсем еще маленького Володьку, а сегодня вполне самостоятельного кинорежиссера Владимира Басова-младшего, сказал: «Что же у тебя ножки-то такие тоненькие?» – «Ножки тоненькие, а жить-то хочется», – возразил Володя. И я знаю, что Миша всю жизнь всячески способствовал укреплению этих ножек. А Даша Шпаликова? Как оба, и Соня и Миша, были всегда озабочены ее судьбой. А когда они спрашивали, как дела у нашей Кати, то я знала, что это не светски-вежливый вопрос, а истинная собственная тревога.

Я хочу рассказать о Мише, а все время употребляю множественное число. Это потому, что взаимосвязанность Сони и Миши не позволяет иначе. Как они ругались! Называя друг друга бог знает какими словами, апеллируя к Зяме и мне за поддержкой в этой ругани и не получив ее, через три минуты умирали от хохота и нежности друг к другу. И в крохотной квартире на Мосфильмовской, и в последней, человеческой, на Университетском, был дух Дома этих людей, в котором всем – и бывавшим часто, и пришедшим впервые – было уютно. Не было никаких пиететов. Монтажницы, гримеры, участковые врачи, техники, шоферы, – кто угодно, – и знаменитейшие Шнитке, Свиридов, Окуджава, и все народные артисты и режиссеры, профессора, поэты – принимались абсолютно одинаково, тем, что было в доме, радушно и весело. Критерием была не известность, а порядочность.

Они оба были не просто одаренными, но талантливыми и поэтому были лишены тщеславия и всегда восхищены талантом других. Мне кажется, что в их фильмах, ни в одном, нет прокала со вкусом и что все актеры, занятые у Миши, сыграли одни из своих лучших ролей.

Я не хожу на могилы, а испытываю близость к ушедшим через те предметы, которые у меня есть от них. В нашем доме стоит шкафчик,

привезенный Соней из ее родного Воронежа. В какой-то момент жизни его некуда было втиснуть в их квартиру, и его поставили у нас до того времени, когда будет готова швейцеровская дачная квартира на Икше. Когда же она построилась, то выяснилось, что шкафчик и там быть не может, и Соня сказала, что если мы не возражаем, то она была бы рада, чтобы он жил у нас и она, приходя к нам, с ним виделась. Он был частью ее детских воспоминаний: трехлетняя Соня стоит, прижавшись к этому шкафчику, и почти каждый день слушает, как ее нянька, убирая дом, тоненьким жалобным голосом поет одну и ту же частушку: «Ой подруга моя Моо-тя, ой, как заплачу, х... уймете-е».

Миша, человек редкой эрудиции и даже философской глубины, сохранил до конца дней детскость, непосредственность, умение чувствовать настоящее. И когда бывало худо, он говорил: «Ну, давай Мотю!»

Счастье – это люди. И когда судьба ставит тебя на пути таких людей и ты испытываешь их искреннее расположение, оно и приходит. И сегодня, вынимая из шкафчика какие-нибудь лекарства (он служит аптечкой), я тоже пою: «Ой, как заплачу, так сказать, фиг уймете».

Михаил Швейцер

ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕТ, А СКОРО И СОВСЕМ УЖ НЕ БУДЕТ...

С Зямой меня познакомила моя жена Софья Милькина, у которой были с ним братские отношения. Они оба были студийцами у Арбузова, она его и привела на «Золотого тельца».

Как только Зяма вышел на съемочную площадку, сел, вздохнул, начал кричать, мне стало ясно, что это не просто актер, который подходит на роль Паниковского, а нечто взятое прямо из жизни. Он был немедленно утвержден на роль, и мы мгновенно подружились. Ходили в гости друг к другу, встречались на общих торжествах... Наша дружба питалась общими интересами к искусству, литературе и поэзии. У нас всегда существовали предметы, вокруг которых возникали беседы, суждения, споры, что и делало нашу дружбу насыщенной. В любое время мы могли прийти друг к другу за сочувствием, материальной и душевной помощью...

Зямочка был очень отзывчивым человеком. Он любил людей и сильно переживал за них, всегда помогал, чем мог. Мог пойти похлопотать за кого-то, дать денег, поговорить, утешить, успокоить... Думаю, что



Михаил Швейцер и Софья Милькина

для него самого многолетним и единственным прибежищем была его жена Таня Правдина. Жизнь ведь состоит из мелочей и каждому из нас каждый день, многие месяцы и годы прибавляет проблем и сложностей, иногда житейских, иногда духовных... А Таня – человек очень сильный, доброжелательный и очень здравомыслящий. Они дружили с Соней.

У меня на стене висит Сонина скрипка, на которой она играла еще в спектакле «Город на заре», где Зяма исполнял роль Вениамина Альтмана. Поскольку Зяма играть на скрипке не умел, то на сцене он просто водил смычком, а за кулисами играла Соня...

Думаю, что звание «артист» несколько сужало бы человеческие и художественные возможности Зиновия Гердта. Чем бы он ни занимался, он во всем был одарен. Та степень жизненной правды и достоверности, которая излучалась им в ролях, будь то в кино или в театре, была настолько на грани документальности, что действительно могло создаться впечатление, будто Гердт – не актер и что пользовался он вовсе не средствами общепринятого театрального искусства и мастерства. Чудо Гердта и заключалось в том, что в его работах совершенно не было видно так называемого «искусства». Была просто яркая жизнь. При том, что сам Гердт был доверху полон искусством. Я не знаю другого такого человека, который так хорошо знал, любил и понимал бы поэзию. Он дружил с поэтами, прекрасно знал литературу и вообще не мог без нее. Брался толь-

ко за любимые литературные вещи и делал их скрупулезно, входя в полноценные соавторы. Он обладал настолько удивительным дарованием, что даже такой условный персонаж, как конференсье «Необыкновенного концерта», стал для всех совершенно живым человеком. Абсолютно все его персонажи становились частью исторической эпохи, в которую было помещено то или иное литературное произведение.

Долгое время Гердта знали как человека, озвучивающего кинофильмы, и я считаю, что к этому нужно и должно относиться серьезно. Ведь если рассудить, то именно через Гердта мы познакомились со многими замечательными киноперсонажами, которых, быть может, без его участия и посредничества мы бы и не запомнили. «Король Лир», «Полицейские и воры», «Фанфан-Тюльпан» и даже наши с ним картины, например «Бегство мистера Мак-Кинли»... Озвучивание – тоже сложная и ответственная работа, и здесь Гердт был тоже Мастером.

Когда актер начинает сниматься в кино, то происходит попадание или проходной вариант. Попадание – это когда актера жизнь навела на Вещь и он ее сыграл как Свою. И сыгранная им роль становится некой объективной реальностью, которая начинает существовать отдельно от исполнителя. Нравится успех актеру или не нравится – неважно, нужно только думать: почему? Почему?..

В случае с Паниковским, которого Зяма исполнил легко и гениально, вся страна его запомнила именно по этой роли потому, что он вывел этот персонаж, как мы пытались вывести всю картину, из уровня анекдотичности на уровень узнаваемой реальности. Паниковский получился в нашей картине таким крупным образом потому, что взят он был не из одесского анекдота, а из российской жизни. Вот почему люди, может быть даже



Одесса лето 1967
 из «Золотой теленки»
 Соня и Зяма
 Габриэлла Лобещенко и Лобещенко
 Артуров
 М. Швейцер (1998)

не отдавая себе отчета, так хорошо принимают этот образ и по сей день.

Никакой одесский анекдот не просуществовал бы так долго, если бы за всем этим не проглянула некая судьба своего времени и своей родины.

Не знаю, правда ли то, что Зяма не был доволен тем, что страна его запомнила прежде всего Паниковским, но в любом случае бесполезно сетовать или не сетовать, быть довольным или не быть довольным тем, что твоя популярность складывается из материала менее серьезного, чем тебе хотелось бы, что ты прославился не в Шекспире и не в Достоевском...

Как там ни говори и ни рассуждай, а всё решает уровень той литературы, которую берет себе на исполнение артист. А когда происходит стык двух крупных художников – драматурга и артиста, то высекаются искры и рождается талантливое произведение, которое начинает жить в людях как самостоятельный объект памяти.

Когда у Гердта начались нелады в Образцовском театре, он был в несколько выбитом состоянии. Но тем не менее нашел в себе силы и принял решение – покончил с этим делом. У Образцова больше не имел возможности проявлять себя так, как хотел, и уже перерос рамки этого вида искусства. На мой взгляд, условность кукольного театра, его формы и границы давно уже теснили Гердта, поскольку он был человеком огромных возможностей, огромного полета мысли и фантазии. Он глубоко чувствовал реальную жизнь и обладал огромной силой природным юмором. Гердт не был остряком, он просто был весь пропитан юмором жизни, замечал его и не упускал. А возможность взгляда на жизнь и ее проявления сквозь юмор очень сильно помогает человеку жить и преодолевать любые сложности. Я бы сформулировал гердтовский юмор как юмор со знаком плюс. Если он говорил о каком-то предмете или, например, об известном человеке с юмором, то это никоим образом не роняло ни предмет, ни человека. Напротив, поднимало, подсвечивало и подкрашивало каким-то особым светом.

Судьба отпустила Гердту не только мужество уйти на войну, воевать, вернуться фактически хромым на всю оставшуюся жизнь и потом не убояться всех преград и служить искусству. Она отпустила ему еще и огромные душевные силы, что в искусстве представляет собою, на мой взгляд, может быть, единственную для самого искусства пищу, потребность. Гердт был человеком огромной душевной широты и мудрости, и, я уверен, этим он и держался.

Кинорежиссеры очень зависимы от стечения обстоятельств, в смысле работы. Когда мы работали в Ленинграде, у меня по бедности не было пальто. Ходил в чем попало... И вот Зямка подарил мне шубу. Такую роскошную, бежево-белую, из искусственного меха. Она была не просто необычной, а жутко пижонской!.. Зяме она была велика, а мне пришлось в самую пору. Но эту шубу ожидала жуткая участь. Примерно

через год я поехал в ней в Магнитогорск собирать материал для документального фильма о металлургах. И пока я ходил в этой шубе по литейному и доменному цехам, она из бежевой превратилась в черную. Но не в благородно-черную, а в беспризорно-страшное одеяние. Ни одна химчистка ее, разумеется, не взяла. Таким образом, Зяма, как Паратов, как щедрый русский купец, бросил с барского плеча шубу, а я, как бестолково-нелепый Карандышев, утробил ее почем зря...

Иногда Зяма впадал в большой и настоящий гнев. По поводу чьего-то подлого поступка из круга знакомых. Вот тут он был беспощаден и немолчим и разрывал отношения немедленно.

Но иногда это возникало по недоразумению. Например, по поводу поэзии такие недоразумения могли подняться на очень высокий градус выяснения отношений. Я помню, как мы сидели у нас в большой комнате, пировали... Болтали, шутили, смеялись, читали стихи... Я думаю: все что-то читают, и я что-нибудь прочту... Прочел и сказал: «Александр Блок». Что тут случилось с Зямой!.. Сначала он затрепетал, как будто его родного дедушку или бабушку обозвали матерным словом, а потом разразился криком: «Как Блок!?! Это Пастернак!..» А я-то слегка выпимши... Начал на свою дурную голову с ним спорить: «Нет, это Блок!..» И тут же почувствовал, что не прав, а Зяма уже завелся всерьез: «Ноги моей больше не будет в этом доме!.. Пусть здесь путают Блока с Пастернаком!..» Ко-



нечно, он был прав. Через полторы минуты, за которые я успел залезть на книжную полку и проверить свою ошибку, я уже проклинал себя: «Осел! Кретин!.. Как же это я так?!»

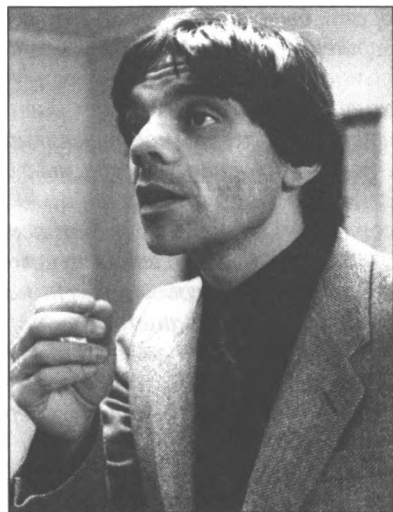
Зяма меня великодушно простил.

У меня сохранилось очень много стихов, переписанных Зямой и подаренных нам с Соней.

Он был уже очень болен, когда проводился юбилей, и мы с женой не пошли туда... Нам не хотелось видеть нашего друга в настолько дурном самочувствии. И вот умер Зямка... Умерла его подруга Соня... Танька осталась одна. Я остался один. И редко между нами теперь происходят разговоры. У Зямки осталась большая семья, а у меня никого. Я один. Умерли все, кого я любил. Через год после Зямы умер мой самый близкий друг и сорежиссер Владимир Венгеров, который, кстати, тоже был очень дружен с Зямой.

Вообще рядом с Гердтом действительно все ощущали, что существует нечто недозволенное, некрасивое, нелепое, чего не должно возникать в его обществе. Люди, впервые попадавшие в дом к Гердтам, четко ощущали, что может не понравиться хозяевам. Причем это никогда не было таким... чопорным диктатом поведения, Боже сохрани. Всё было как полагается. Гердты очень любили гостей и хорошую компанию. Просто Зяма был очень чувствителен к несправедливости. Когда обижали друзей или хороших знакомых, когда предавали или даже когда в общественной жизни случалось какое-то хамство, он всегда «вставал на дыбы». И реагировал он так, а не иначе всего лишь потому, что был воспитанным и в высшей степени порядочным человеком. Это сейчас мы уже не понимаем, что делает наше государство, чего нам еще ожидать, какой оплеухи... Предательство стало настолько обиходным и обычным, что люди просто-напросто перестали его замечать и узнавать, и понимать его как необычайно опасную для людей сущность. К сожалению, наша жизнь все сильнее пропитывается идеей предательства. Но еще более мне жаль, что почти не осталось людей, у которых еще хватает сил оставаться честными и порядочными. Гердту для этого не требовалось никаких сил. Он просто был таким, вот и всё.

О Константине Райкине



«Тася, ты мне подмаргиваешь всем телом», – говорит двенадцатилетний Костя, прерываясь в своем рассказе, обращенном к нам. Он говорит увлеченно и радостно, видя наше полное внимание, и сердится на желание Таси скорректировать накал его речи. Дело происходит в шестьдесят третьем году на берегу озера под Черновцами, где, организовавшись вместе, отдыхают: Алеша, трехлетний сын Кати Райкиной и Юры Яковлева с нянькой, Костя с Тасей, Зяма, шестилетняя Катя и я. Какое-то время проводят там и взрослые члены райкинского семейства – Катя, Юра и Аркадий Исаакович. Тася – няня, домработница, прожившая всю жизнь у Райкиных, командующая и Ромой (хозяйкой), и Аркадием, конечно, зовущая их «на ты», обожающая всех, но больше остальных – Костю, вернее Котю, иначе его никто и не называл. Не знаю, говорила ли она, будучи татаркой, по-татарски, но, даже прожив весь век в Ленинграде среди хорошо говорящих по-русски, и про себя и про других, независимо от пола, употребляла в глаголах только мужской род. Это никому не вредило, но иногда шутя и дети, и взрослые начинали говорить «как Тася», она ворчала, но хохотала вместе со всеми.

Я знала Котю и до этого лета, но никогда не общалась наедине. А тут мы вместе жили, ели, пили, гуляли. Мне было интересно с ним все время. Я не люблю определение «вундеркинд», в нем мне слышится некий негатив – ведь в «чуде» всегда есть и некоторая странность. Котя не был вундеркиндом, он сразу был талантом. Корней Иванович Чуковский, написав в своих дневниках о встрече с семнадцатилетним Костей Райкиным, употребил в описании его слово «драгоценность». И правда, ведь стань Костя не актером, а математиком, чего особенно хотели и что очень советовали, видя его редкие способности в этой науке, его школьные преподаватели, он наверняка был бы замечательным ученым. Это тоже, конечно, чрезвычайно важно, но жизнь одна – в науке отдача людям отдалена, а сейчас его еще, не дай Бог, «скрали» бы американцы. Но нам повезло. Преодолев груз такой громкой фамилии (а псевдоним

братъ было глупо – все равно все знают, что сын), он сумел стать совершенно отдельным, безусловно выдающимся артистом, дающим огромному числу людей радость участия в искусстве театра – сопереживать в веселье и драме. Сравнить, конечно же, не следует, но есть вещи, которые, по-моему, великий Райкин не смог бы – Костя ведь и трагик. А его пластика? Когда мы гуляли тем летом, он находил какие-то стенки-заборы и, взобравшись на них, при моем тихом ужасе от их высоты, показывал, как ходит лошадь, как крадется или потягивается пантера. Я не знаю второго человека, который так чувствует покой и движение, – он собой может показать вам и зонтик, и массу других «предметов», и мчащегося леопарда!

У Коти были замечательные родители. Он очень близко с ними дружил. Мама, Рома, артистка райкинского театра, но еще и скромная, с редкостно теплым, совершенно своим юмором, писательница. Про папу не буду, все знают – он великий. Так что гены – шикарные. Я их вижу главным образом в том, что, как и Аркадий, Костя играет каждый раз так, как латиноамериканцы играют джаз, – как будто в последний раз. И еще в редкостном постоянном фанатизме в работе. Так случилось, что в начале лета шестьдесят седьмого года Зяма лежал в больнице в Ленинграде, а я тревожно и неуютно жила в гостинице. Рома и Аркадий поддерживали меня, и я для душевного отдохновения иногда вечером после больницы приходила к ним. Однажды Аркадий позвал меня в кабинет и в течение полутора часов с полной отдачей проиграл мне одной (!) всю свою готовящуюся программу. «Как тебе не лень?» – спросила я. «Сколько зрителей – не имеет значения. Ты хорошо слушала, а только это и важно», – объяснил он мне. Костя – такой же! Добиваясь максимума возможного в спектаклях, он загоняет артистов до упаду, но себя больше всех.

Зяма любил Костю, радовался его успехам и очень высоко ставил его актерскую серьезность и личностную самостоятельность: «Всё, что Костя сделал, он сделал сам!»

Поэтому с честью, не по наследству, а по художественному соответствию Райкин-младший возглавляет театр, носящий имя его великого папы.

Сегодня, когда я звоню, мне очень трудно выговаривать: пожалуйста, Константин Аркадьевича – для меня он Котя, хоть и повзрослевший до того, что, обращая ко мне, деликатно отбрасывает «тетя» и говорит просто «Танечка».

Правда ведь, драгоценный мальчик!

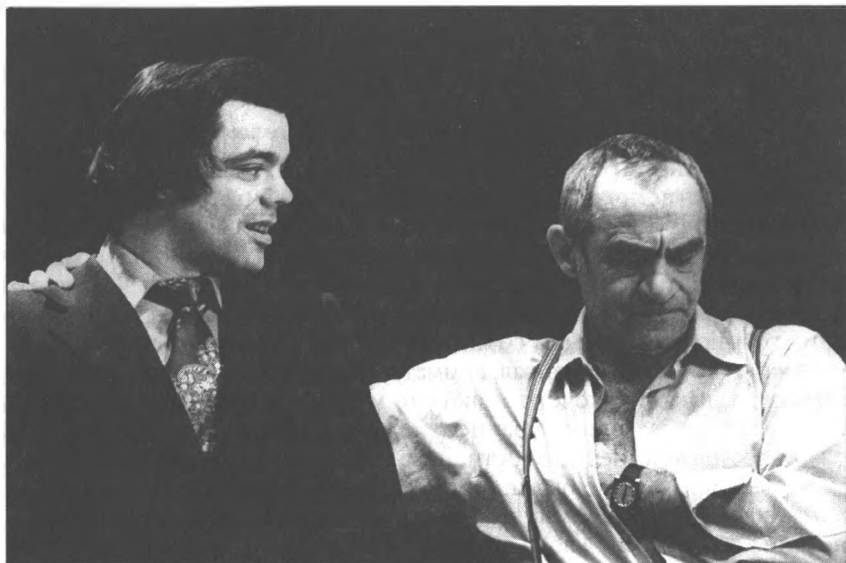
Константин Райкин**ОН ПОМОГАЛ МНЕ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ**

Я помню его с раннего детства. Он дружил с моими родителями. Всегда веселый, остроумный, очень обаятельный, очаровывающий, праздничный, артистичный, с умным завораживающим голосом... хромой, но невероятно элегантно двигающийся и превративший хромоту чуть ли не в достоинство своей походки. Он всегда естественно и на равных со мной разговаривал – не было сюсюканья и поддавок, столь обычных при общении взрослых с чужими детьми. Я почему-то, будучи еще ребенком, сразу поверил, что ему со мной очень интересно. Он действительно увлеченно со мной беседовал, внимательно слушал, а больше всего мне нравилось, как он хохочет от каких-то моих рассказов и показов. Наши отношения всегда, с моего раннего детства до последнего телефонного разговора пятилетней давности, были одинаково сердечными. Спусти много лет, когда я уже был актером, он любил напоминать мне о моих детских фантазиях. «Помнишь, – говорил он, – как ты показывал соревнования по прыжкам в воду с вышки высотой 10 000 м? Как прыгун сначала страшно боится, долго с ужасом смотрит вниз, потом, закрыв глаза, отчаянно бросается и летит. Потом потихоньку привыкает к полету, расслабляется, начинает смотреть по сторонам, летит то боком, то вверх ногами, то как будто развалившись на диване, – в общем, уже совершенно развязно и нагло потому, что судейская бригада сидит гораздо ниже самой воды и до нее еще далеко. И только подлетая к воде, он собирается, вытягивается в струнку и проносится мимо судей в идеальном виде. Я тогда сказал Аркадию: «Ты бы не смог такого придумать. Ты бы смог показать прыжок со 100-метровой вышки, ну, с 50-метровой, но с вышки в 10 000 метров тебе бы не пришло в голову».

Вообще он очень поддерживал мою веру в себя. Особенно в начале моего актерского пути, когда я, измученный самодеятвом, придавленный тяжестью отцовской фамилии, все-таки пытался выжить и так нуждался в поощрении.

Думаю, что он всегда понимал, как мне сложно заниматься этой профессией, будучи сыном Райкина.

Он приходил ко мне за кулисы после спектакля и говорил: «Никто в мире не сыграл бы эту роль так, как ты». Мне кажется, он всегда это делал специально, чтобы меня поддержать. Так же как и то, что строил свои отношения со мной подчеркнуто отдельно от отношений с моим отцом. Мы с папой очень любили друг друга и были чрезвычайно близкими людьми, но я навсегда благодарен дяде Зяме за независимую оценку моей личности. Для меня это было необходимо, особенно учитывая его



собственный огромный авторитет. А уважение и восхищение, которые он вызывал своим талантом, остроумием, интеллектом, трудно передать словами. Он был интеллектуальным символом времени. Его магический голос, переводивший фильм «Возраст любви», придавал картине едва ли не большее обаяние, чем сама Лолита Торрес, исполнительница главной роли. А когда он, переводя текст песни героини, запел вместе с ней, это производило на меня неизгладимое впечатление. Кино казалось лучше, чем было без перевода. Вообще если в фильме звучал голос Гердта – фильм не мог быть пустым.

А его знаменитые фразы, шутки, остроты, каламбуры...

Говоря про одного артиста: «Хороший актер, но есть серьезный изъян – несексуальной привлекательности». – «А это обязательно?» – «Для ведущего артиста – да!» Вспомним своих любимых артистов – у всех у них это есть...»

Зрителям на своем творческом вечере, сочувствовавшим его хромоте и предложившим ему присесть на стул на сцене: «Ничего, ничего... Вы сидите за свои деньги, а я стою – за ваши».

Ощупывая у себя чуть появившийся животик: «Комок нервов»...

Подпись под очень вежливым посланием негодяю: «Искренне преданный Вами Зиновий Гердт».

Встретившись со своим тезкой Зиновием Паперным: «Сколько лет, сколько Зям!»

А эти знаменитые застолья у него на даче или в московской квартире!..

Во-первых, сама компания! За столом собирались Булат Окуджава, Орест Верейский, Александр Твардовский, Петр Тодоровский, Михаил Козаков, Александр Ширвиндт, Валерий Фокин... Всегда очень вкусно! Жена дяди Зямы – Татьяна Александровна готовила замечательно... Но еда и выпивка – повод. Мне не столько елось и пилося, сколько слушалось и смотрелось! Господи, как было интересно!.. Какая плотная насыщенность таланта, юмора, ума возникала за этим столом! Какие замечательные звучали стихи...

Дядя Зяма совершенно уникально, неповторимо читал стихи. По моему ощущению, он читал Пастернака, Твардовского и Самойлова лучше, чем кто-либо другой. Вообще поэзия была его стихией. Он становился прекрасным, от него нельзя было оторвать глаз. Он говорил мне, что знает наизусть все стихи Пастернака. Рассказывал, что однажды на своем творческом вечере в Ленинградском Доме искусств играл с залом в игру, когда ему называли первую строчку из любимого стихотворения Бориса Леонидовича, а он наизусть читал его до конца. И все же не это самое главное и удивительное. Главное, как он их читал! Он это делал абсолютно ясно по мысли, без шаманств и подвываний, при этом невероятно лично и эмоционально. Одновременно высоко и просто.

Кто он был, дядя Зяма Гердт?

Конечно – замечательный артист. Уникально одаренный человек. Но разве только это! Он олицетворял собой духовную элиту нашего времени, общепризнанным аристократом духа от актерского цеха. Конкретно для меня он был человеком, который помог мне почувствовать себя полноценной личностью, поверить в собственную творческую состоятельность.

При нем я чувствовал себя талантливым.

Я помню наш последний телефонный разговор. Я уже знал, что он очень болен, но счел необходимым пригласить его на вечер нашего театра, посвященный памяти отца. Его 85-летию. Он быстро, как-то вскользь поблагодарил и сразу стал говорить мне необыкновенно ласковые, нежные слова про меня, мой театр, мои роли. Я слышал, что физически говорить ему трудно, но говорил он как-то внутренне покойно, светло и возвышенно.

С незабываемой добротой...

Я понял, что он со мной прощается...

Спасибо Вам, дядя Зяма...



О Галине Шерговой

Зяма знал Галю с первого дня без войны – 9 мая 1945 года, то есть за пятнадцать лет до моего появления в его жизни. У них были дивные воспоминания о бесшабашных веселых первых послевоенных годах. Я же принять участие в этих воспоминаниях, естественно, никак не могла. Галя сразу понравилась мне и тем, что поэт, и тембром голоса, и статью. Но познакомились мы по-настоящему благодаря счастливой случайности – не сговариваясь, оказались в одно время в Сочи в санатории «Актер». Галя приехала лечиться в Мацесту, а мы с Зямой, оба не любя «казенного

отдыха», прибегли к нему всего три раза за нашу совместную жизнь, и это был – первый. Мы ужасно обрадовались друг другу, потому что вокруг были в основном толстые громогласные театральные администраторы, носящие брючные ремни ниже животов.

Люди познаются не только в работе и «разведке», но иногда и в дурацких, но сложных обстоятельствах. Мы с Галей поняли ценность друг для друга, как это ни смешно, «по пьянке». Это сегодня никого не удивляет многообразие самых разных ресторанов, а почти сорок лет назад «Кавказский аул» был экзотикой. И мы, конечно, не побывать там не могли. Ожидания наши оправдались, еда и вино были первоклассные, и мы, будучи и без того в хорошем настроении, все втроем, что называется, «надрались вусмерть». Надо было возвращаться, и для сокращения пути мы, полностью потеряв бдительность, пошли к стоянке такси по крутой скользкой глинистой тропинке. Много раз падая, мы хорошо ее обтерли, при том что все были одеты в светлое. Шофер подстелил что-то на сиденья, и мы прибыли к санаторию, где у входа после ужина стояла большая группа его обитателей. Все они, естественно, знали Герда, но никто не кинулся, вероятно, совершенно обалдев от пред-

ставшей перед ними картины, помочь нам с Галей, измазанным в глине, тащить такого же, но уснувшего Гердта от машины к лифту. Очевидно, от обилия публики мы совершенно протрезвели и молча, не обмениваясь ни единым словом, несли его так, как будто это обычное, привычное наше дело.

Пустьяковая, действительно дурацкая мелочь. Но, я думаю, многие знают, как иногда из как бы несущественных деталей поступков, речи, словоупотребления складывается представление о человеке. Когда вместо «есть» говорят «кушать», а вместо «скажите, пожалуйста» – «вы не подскажите?» – я понимаю, что этот человек, наверное, по большей части «не моей крови». Так же как при большой беде ты держишься, а мелкая неудача, вроде спущенной петли на чулке или трудно надеваемого сапога, последней каплей обрушивает тебя в тяжкие рыдания. И в искусстве – легкое движение брови актера, козленок на каждой картине Шагала, неожиданная пауза у музыканта-исполнителя и многие другие подобные «незначительности» как раз так много значат.

После того проходного, в общем смешного происшествия возникла какая-то другая волна отношений. Галя, с дивным лицом, статуйностью, внешней решительностью, стоически перенесшая и без стонов продолжающая переносить дикие физические страдания, внутренне – лирический поэт да еще одарена самоиронией и тонким чувством юмора. Редкое умение ценить чужие достижения и уважать других.

Меня особенно восхищает ее уважительное отношение к близким – дочке, внучкам, мужу. От своих так трудно отстраниться! Она им – товарищ, а не начальник и поэтому истинная всему голова.

А недавно праздновали Галину и Леши (вообще-то он Александр) Юровского золотую (!) свадьбу. Это в наше-то сумасшедшее время! В моей жизни это была всего лишь вторая золотая свадьба (первая – моих родителей, которые прожили «во грехе», в незарегистрированном браке пятьдесят пять лет). Оказалось, что это событие было редкостью для многих. Счастьем было видеть радостные лица детей, учеников, коллег и друзей, отношения с которыми исчисляются десятилетиями. Мало кто так достойно живет!

Поначалу, любя Зяму, Галя приняла меня, доверяя ему, а после «пьянки», и уже много лет, у нас с ней свои, открытые отношения. А сегодня, когда Зямы нет, она редкостно понимает меня и просто – друг.

Галина Шергова

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он в отличие от известных персонажей не был чужим...

Разумеется, я должна тут одернуть себя – больно уж ударились в восточно-вычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто – он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения: 9 мая 1945 года.

В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его. Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Всё! Они с нами уже ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами.

И вправду: все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А доставалось ему достаточно всяких испытаний.

Так вот. В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть – мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго.

И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а – он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливайкой, а виночерпием.

Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем, подгоняемая зяминными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу питья: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясоед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!»

Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рож-

дение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья...

Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий – великодушный хромой бес.

Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его поведении. Даже имена реальных, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская.

Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кобылке хибаре. Жалкой и немощной. Как-то подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал:

– Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт».

Обрядить притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды шутки – удел избранных. Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так – обрядить с легкостью – Гердт умел.

Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светила питерские гонорары, мы, шикую, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг – Фатьянов, высокий, могучий:

– Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим.

На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежду «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплу выступало это самое пальто. И так во всем.

Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это: «детский лепет».

Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими одиознейшими вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самозабвенно и бескорыстно.

Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов В. Полякова и И. Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда И. Прут, огледевшись по сторонам, сказал задумчиво:

– А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили!

Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес:

– На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату – 17 квадратных метров. Понимаете – квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно.

Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой.

Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):

– Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?

Даже не улыбнувшись, он отвечал:

– До конца жизни.

– Что, как у Асеева, «из бесчисленных – единственная жена»? – мы любили разговаривать строчками.

– Отсюда – в вечность. Аминь. А может – омен, возможны варианты.

Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы

романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью.

Профессия настоящей жены – это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун... Таня – блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности.

Когда Зяма был уже безнадежно болен и терзаем болями, отхлынувшими силами, сомнениями, только она умела сказать: «Зялочка, надо». И он собирался. И как гумилевский герой, «делал, что надо». Она «учила его, как не бояться и делать, что надо». Хотя этот маленький, хрупкий и немолодой человек и сам был мужественным до отваги. Но ведь и от важных оставляют силы...

За три месяца до кончины Зяма снялся в фильме по моему сценарию. Как? Это непостижимо – ему уже был непрост каждый шаг. Видимо, Таня сказала: «Зялочка, надо. Ты должен оставаться в форме». А может, и сам он решил, что нельзя потакать недугу. Да и дружбе он оставался верен, как умел это делать всегда.



Татьяна Правдина

Он вышел на съемочную площадку, и никто даже не заподозрил, чего это ему стоило. И в перерывах он был Гердтом – праздником для всех, виночерпием общей радости.

Ночью после съемок я мысленно перебирала подробности, детали нашей многолетней дружбы. «Детали», – произнесла я про себя. Детали. И их великий бог.

Стихи читают все, и почти никто не делает это адекватно стиху. Поэты, сплошь и рядом, торопят суть в ритмах и аллитерациях, актеры пересказывают содержание. Смоктуновский уверял меня, что стихи нужно читать как прозу. Великий Качалов читал стихи удручающе-смехотворно. За всю жизнь я слышала пять-шесть человек, в чьем произнесении звук и смысл были бы сопряжены. Одним из них был Гердт. Он заключал в себе целую звуковую библиотеку поэзии.

Убей бог, не помню антуража того чтения. Потому что открывшееся мне тогда было важнее зримости окружавшего нас. Помню только, что это были времена, когда я училась в Литературном институте и школярски постигала поэтическое ремесло мэтров. А среди них были такие виртуозы стихостроения, как Павел Антокольский, Илья Сельвинский, для которых звучание слова и конструкция строки – безоговорочная подвластность материала. Казалось, мне уже открыты их секреты.

Зяма читал Пастернака. Всем ведомо, как знал он его и как любил. Он произнес:

*Великий бог деталей,
Великий бог любви
Ягайлов и Ядвиг...*

– и повторил это дважды. То ли на мгновение остановившись перед следующей строкой, то ли подчеркивая значимость произнесенного. И продолжал. Но я уже не слушала.

Тогда я еще ничего не знала про Ягайло и Ядвигу, не стояла у их каменной усыпальницы, куда поколения влюбленных несут заклинания о счастье в любви. И стихи эти, к своему стыду, слышала тогда впервые.

Разумеется, всех литературных бурсаков учили важности подробностей для повествования. И тем не менее провозглашенное Гердтом было открытием. Открытием важнейшего, что в искусстве и любви – равнозначно: ими правит Великий бог деталей. Не мастер, даже пристальный, а великий бог.

Подробности – понятие перечислительное. Деталь – самоценность каждого атома бытия в сложнейшем взаимодействии этих частиц, которыми правит их бог. Только исполненный деталей многозначный мир может стать искусством. Или любовью. Родство с этим богом – посвящение в художники.

Гердт был из посвященных. Во всех его работах детали звучания, смысла, жеста были бесчисленны и единственны для того жанра, в котором он в данный момент творил.

Жест – особый инструмент в его мастерской. Руки Гердта, красивые, разговаривающие и ваяющие. Именно ваяющие нечто из пространства, из плоти пустоты. С их помощью слово обретало вещественность, зримость. Действо наполнялось бытием и со-бытием деталей.

Да, он работал не только в разных жанрах, но и в разных видах искусства. Гетевскому Мефистофелю не претило рассказать о повадках морских котиков. В собственном закадровом тексте документального фильма, а захочется – о них же киплингскими стихами. Оставаясь тем же, особым Гердтом, и всякий раз – иным. Потому что управление деталями ему по плечу.

Стихосложением, мастерским жонглированием рифмами, он тоже владел. Причем, чуткий к феномену стилистики, был и прекрасным пародистом. Играл в чужую манеру, играл звукосочетаниями.

К юбилею Л. О. Утесова он сочинил музыкальное поздравление. Знаменитого утесовского Извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре:

«Здесь при опере служу и при балете я...»

И по-ребячи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку:

«В день его семи-деся-ти-пяти-летия...»

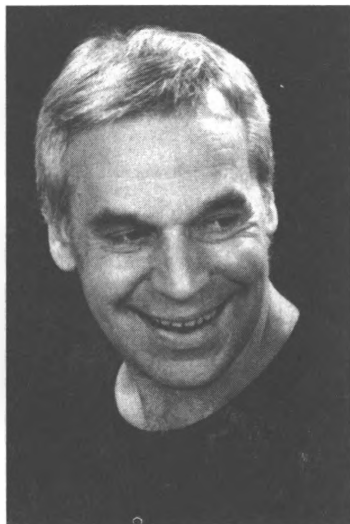
Леонид Осипович был в восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся... Впрочем, нет, не буду, не буду тасовать байки про Зяму. А то выходит какой-то дед Щукарь с изысканным мышлением и живописно-интеллигентной речью. Но и без баек – Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключен его способ общения с миром. Веселый и дружеский. Жизнь таких, как он, всегда потом расходится в апокрифах.

А то, что ему бывало трудно, невыносимо больно, что в каждой работе он проходил через борения и сложнейшие поиски, – известно только ему. Да, может быть, еще Тане. Однажды он сказал мне:

– Я вот что обнаружил: бывает так паршиво на душе, чувствуешь себя хреново, погода жуткая, словом – все сошло. И тогда нужно сказать себе: «Всё прекрасно», гоголем расправить плечи и шагать под дождем, как ни в чем не бывало. И – порядок».

Господи, какой простейший рецепт!..

О Роберте Ляпидевском



Поскольку я москвичка в нескольких поколениях, то, естественно, сначала благодаря своей просвещенной тетке Жене, влюбленной вообще в кукольный театр, а потом уже и сама не пропустила в Образцовском театре ни одного спектакля, знала имена главных актеров, художников, музыкантов. И поэтому, когда в шестидесятом году мне предложили поехать переводчицом с театром на гастроли в арабские страны, я с трепетом и огромной радостью согласилась. С трепетом потому, что, во-первых, это был мой первый выезд за границу, и, во-вторых, потому, что до этого никогда не переводила, стоя на сцене перед огромной аудиторией, – это я должна была делать на сольных концертах Сергея Владимировича Образцова и во время его вступительного слова перед спектаклями театра. «Волшебную лампу Аладдина» я через микрофон синхронно переводила в зал, и это было легче всего. А весь текст конференсье в «Необыкновенном концерте» играл на арабском языке Гердт. При этом возникло еще одно сложное обстоятельство: мною был сделан перевод на литературный арабский язык, на котором, как выяснилось при приезде в Каир, а потом Дамаск и Бейрут, никто не говорит даже в театре. Нужен был диалект, то есть разговорный язык каждой страны, на который и пришлось переходить. Потом все шутили, что сложность арабского языка и обучения ему была так велика, что не могла не закончиться тридцатилетней супружеской жизнью.

Мое знакомство с актерами, рабочими сцены, музыкантами театра в эту поездку, естественно, при всеобщей занятости было поверхностным. Наблюдая начинающийся роман, большинство относились ко мне с любопытством, ревниво и настороженно. Но несколько человек, и среди них, пожалуй, быстрее других, Робик Ляпидевский, поняли, что Гердта я у них «не отнимаю» и что вроде бы «своя». Еще в Москве, представляя меня театру, Сергей Владимирович сказал: «Татьяна Александровна», но уже по выходе из самолета в Каире, плюнул и начал звать Таней, чему Робик последовал первым.

Роберт, сын знаменитейшего летчика Анатолия Ляпидевского, од-

ного из самых первых Героев Советского Союза, имя которого в те годы было еще достаточно громким, на вопрос о его причастности к этому имени коротко отвечал: «Сын» и никогда не использовал славу отца.

Молодой, невысокого роста, но очень крепенький и ладный, веселый, даже щенячий, мне он напоминал прыгучего жесткошерстного фокс-терьера, был при этом одним из самых лучших, тонких кукольников в театре. Зяма всегда говорил, что «ремесло», «технарство» должно быть в любом деле, в том числе и искусстве, но если к ремеслу не добавляется чувство, то и результат только поделка. Он относился к Роберту чрезвычайно внимательно, потому что считал его одаренным именно в этом «странном деле вливания в куклу своих чувств и мыслей». В «Необыкновенном концерте» пианист, сыгранный Робиком, вызывал одновременно и умиление, и смех, и сострадание, потому что этот маленький персонаж, неживой, удивительным образом выражал живые узнаваемые эмоции.

Все театры, по меткому определению Ширвиндта, «террариумы единомышленников». Очень надеюсь, что бывают исключения. К сожалению, Образцовский театр таким исключением не был. Особенно ясно это стало мне, когда в семьдесят пятом году я впервые поехала на гастроли театра в Испанию в качестве жены Гердта, на его кошт. И тут я поняла, имея время на общение со всеми, что свободны от интриг и группировок, подлизывания к начальству – рабочий цех и считанное число артистов и музыкантов. Четко выполняя свою работу, так, что к ним нельзя было придраться, они и за границей вели достойную человеческую жизнь: нельзя было ходить по одному – ходили по двое и группой, но ходили, смотрели, нормально ели не только привезенную «виолу», пили испанское вино, хотя тоже должны были и одеться, и привезти домой подарки. Роберт всегда, и в эту поездку, и в последующие, был среди этих людей.

Образцова в театре звали «Хозяин». Он сам знал об этом, и, что меня удивляло, ему это даже нравилось. При всем действительно замечательном таланте он был тщеславен и не видел, что его не столько уважают, сколько боятся. Подобострастие принимал за любовь. Робик никогда не был подобострастен и, вероятно, поэтому в любимчиках не ходил. Как и Гердт. Когда Зяме после его ухода из театра «по собственному желанию», которое в большой степени совпадало с «желанием» Сергея Владимировича, задавали вопрос о причине, то максимум, что он позволял себе сказать, было: «У нас разное отношение к художественному и людям». Общаться с Гердтом, когда он стал вне театра, для его работников было небезопасно – можно было навлечь на себя гнев начальства. Стойким и верным остался замечательный умелец-электрик

Слава Сулейманов, с компанией которого я ходила на корриду в Мадриде, когда Образцов этого «не рекомендовал» (а ребята читали Хемингуэя). И конечно же, Робик Ляпидевский.

Когда в театр, к сожалению, очень ненадолго, после ухода из жизни Образцова пришел Резо Габриадзе, Роберт был среди тех, очень немногих, людей, которые поняли, какой невысказанный шанс выпадает театру для истинного художественного возрождения. Он был почти единственным, кто практически поддерживал Резо.

Остальные не оценили и успешно «дружили против».

Думаю, смею сказать, что Робик не только уважал Гердта, но и любил его и каждый раз радовался вместе с самыми жесткими рецензентами – билетерами театра, которые говорили: «Когда Вы сыграете, Зиновий Ефимович, публика – как живая» (театр-то ведь кукольный!).

Когда в октябре девяносто шестого года, за полтора месяца до кончины, праздновался восьмидесятилетний юбилей Гердта, было ясно, что без куклы-конферансье – не обойтись. Роберт мужественно, с огромным тактом, провел с этой куклой весь вечер, что в присутствии зоркого глаза ее «родоначальника» было очень трудно. Он отслужил Гердту до конца. Я помню это всегда. Спасибо ему и удачи.



Зиновий Гердт, Сергей Образцов
и Англоблов

Роберт Ляпидевский

Я УВИДЕЛ... ПРОВОДНИКА

Был у меня друг – Марик Красовецкий. Мы с ним по жизни были хохмачи, любили валять дурака, несмотря на то что во времена нашей молодости это было небезопасно. Марик был актером театра кукол Образцова, и как-то раз он мне сказал: «Робик, а почему бы тебе не попробоваться к

нам в театр? У тебя есть талант!..» – «Ну... раз ты говоришь, что у меня есть талант...» И я согласился. Поскольку был уверен, что скорее не поступлю, чем поступлю, я был смел. Работа у меня имелась, профессия – тоже, терять мне вроде как было нечего.

«Вы знаете, что кредо нашего театра – сатира и юмор, и человеку без чувства юмора у нас будет очень трудно...» – аккуратно мне заметили на первом туре. Я сказал, что из смешного у меня есть рассказ... «Ну, хорошо, хорошо... – очень вежливо кивнули мне в ответ, – пока не нужно». – «Но тогда, наверное, я должен прочесть вам что-нибудь серьезное...» – робко предположил я. Ничего серьезного у меня не было и в помине, и меня отправили на повторное прослушивание.

Марик рассказал обо мне Зиновию Ефимовичу Гердту, без которого в те времена, как я это теперь понимаю, не принималось ни одного мало-мальски важного решения, и он сказал: «Пусть зайдет ко мне. Я его прощупаю...»

Зиновий Ефимович жил тогда в сердце Москвы – в Столешниковом переулке, где можно было достать всё что угодно и получить услугу любого характера. Иначе этот переулок называли «Спекулешников». Во дворах и подвалах Столешникова были сосредоточены все металлоремонтные и ювелирные мастерские, официальные и подпольные, скорняжные ателье и так далее. Клиентура была своя, постоянная. «Фейсконтроль» мгновенно вычислял чужака, спасти которого могли только магические фамилии и пароли – тогда перед пришельцем раскрывались потайные двери. Если таковыми незнакомец не обладал, он уходил ни с чем.

Туда приходили все, начиная с охраны Берии и Сталина и заканчивая самыми матерыми ворами. И потом, в Столешникове был знаменитый винный магазин, где были все вина!.. Какие захочешь! На выбор. А рядом была не менее знаменитая табачная лавка, где можно было купить даже настоящие американские сигареты. И вот рядом с этой табачной лавочкой располагался подъезд старого дома (сейчас его отреставрировали). А в одной из комнат большой коммунальной квартиры этого дома, на втором этаже, жил Гердт.

Я нажал нужную кнопку звонка, и дверь мне открыл сам Зиновий Ефимович. Говорят, что поврежденная нога придает человеку инвалидный вид. Гердт умел ходить на своей ноге так, что она его несли. И была в этом какая-то потрясающая неординарность! Руки чуть-чуть назад, грудь вперед, белейший воротничок, отличный галстук... «Зиновий Ефимович, добрый день, я от Марика Красовецкого. Зовут меня Роберт Ляпидевский...» – «А-а-а!.. Да-да. Проходи». Я поздоровался с его женой, она мне незамедлительно улыбнулась. Мне стало вдруг ужасно хорошо и приятно.

Гердт предложил мне стихотворение Михаила Светлова «Италья-

нец». Времени на подготовку практически не было, и оттого я еще больше волновался. В результате стихотворение на экзамене я прочел, наверное, излишне патетично, забыл несколько строк и целый час прождал обсуждения моей кандидатуры. Потом вышел сам Образцов и объявил: «Мы вас принимаем. Зарплата – шестьдесят рублей в месяц. Испытательный срок – три месяца. Работу у нас в театре вы начинаете завтра. Вы согласны?»

Я был счастлив.

С того самого момента, когда мы встретились с Зиновием Ефимовичем, я влюбился в него. Кумиров и идолов я никогда не имел и терпеть не могу этого, но в тот самый момент я увидел... Проводника. Проводника в своей будущей профессии. Были и другие замечательные, потрясающие актеры в театре Образцова, но Гердт... На него ходили в театр. Спрашивали билеты на спектакли с его участием.

Бог дал Зиновию Ефимовичу замечательный тембр. Чуть хрипловатый мягкий, баритональный, бархатный тенор. Он мог обворожить любую девушку. Он был потрясающий эрудит! Как никто знал поэзию и читал её божественно. Он мог просто заговорить человека стихами. Он мог начать читать стихи в любой ситуации. Он был моим учителем, моим сенсеєм, при том что он никогда не рассуждал о профессии перед коллегами или перед молодежью, типа «искусство – это, знаете ли...» или «профессия актера – такая сложная штука...» И не был занудой. Если кто-то его хотел о чём-то спросить, то подходил к нему, и разговор проходил сугубо приватно. А Гердт был немногословен и лаконичен. «Не жми». «Здесь у тебя недолёт». «А вот здесь немножко поиграй с текстом». Вот его фразы, его «уроки». Актеры впитывали всё, что давал, точнее дарил, Гердт: знания, эксцентричный артистизм, культуру речи. Он всегда был готов куда-то бежать и что-то делать. Лень для Гердта была понятием незнакомым и неизвестным. Он был настоящим учителем, хотя никогда не ставил себе задачи кого-то чему-то научить. Он подходил и говорил буквально две три фразы: «Попробуйте так», «А что если вот так?» – и всё вставало на свои места.

На мой взгляд, мастерство актёра заключается в том, что мастер всегда знает свои границы. Гердт никогда в жизни, и уж тем более в своих ролях, не позволял себе больше, чем было нужно. Он всегда существовал мастерски точно и никогда не выходил за пределы органичности, никогда не наигрывал, никогда не добавлял отсебятины, что, к сожалению, очень часто случается с признанными талантами!.. Есть актёры, которые очень хорошо знают, что они артистичны, и начинают давить на все педали этой артистичности – и вот тогда говорят «артист играет», а иной раз и «заигрывается». Это плохо. Очень плохо...

Когда я поступил в театр кукол Образцова, у меня было ощущение, что я попал в необыкновенное общество. Все улыбаются, здороваются, очень трогательно заботятся о молодежи. Мне казалось, что я попал в настоящую храм искусства. Сейчас этого храма, к сожалению, уже нет...

Мы были младше Зиновия Ефимовича, но он был нашим другом и валял дурака вместе с нами. Он не требовал никакой дистанции по отношению к себе. Был абсолютно доступен, но не любил панибратства. Любил шутить, балагурить, но когда перегибали палку, он сразу же делал так, что человек сам осекался.

Сколько раз мы занимали у него деньги!.. Это было святое – получить зарплату (шестьдесят рублей, с вычетом из них всех налогов – за бездетность и прочих) и тут же занять у кого-нибудь еще трояк, пятерочку или десятку. Мы были молоды, спиртное стоило дешево, мы брали литр и ехали к кому-то в гости, где уже была готова какая-то закуска. Смех, анекдоты, танцы, философские разговоры... Гердт, едва уловив в глазах кого-нибудь из нас еще только мысль о том, чтобы попросить взаймы, всегда сразу же спрашивал: «Сколько и до какого?» И всегда был очень щедр. Никогда не отказывал.

Он любил женщин.

Эта страсть присуща всем нормальным мужчинам, но в нем она существовала в каком-то другом коэффициенте, в другом эквиваленте. Он был элегантен и даже экстравагантен по отношению к женщинам и абсолютно бескорыстен. Больше всего он ценил в женщине именно женщину, очаровательное создание, несмотря ни на возраст, ни на ее жизненные обстоятельства, ни на ее недостатки. В любой женщине он видел прежде всего хрупкое создание, которое нужно охранять и оберегать, ухаживать как за цветком. Внешность ни о чем ему не говорила. «Женщина, – говорил нам Зиновий Ефимович, – это не мы с вами. Это другое создание. Она несравненно выше мужчины...»

Однажды с Гердтом случилась очень смешная история.

У нас в театре работала администратор Цецилия Михайловна Воргман. Это была всеобщая любимица. Мы её звали Цилей. Добрее человека я просто не встречал. Она была добрая до абсурда. Она была уже в годах, но очень любила себя, холила, была полненькой и невероятно обаятельной. И вот однажды мы приехали на гастроли в Ярославль. А надо сказать, Зиновий Ефимович любил женщин приобнять, поцеловать, нежно взять за талию... Это у нас в театре было – как зажечь спичку!.. Никто не стеснялся, все любили друг друга как братья и сестры. Мы всегда целовались друг с другом когда встречались, когда прощались...

Наша Цецилия Михайловна как администратор всегда выезжала

вперед трупы, подготавливала гостиничные номера по заказанному списку и так далее.

И вот наш автобус подъезжает к гостинице. Мы высаживаемся, разгружаем чемоданы, кофры и через стеклянные стены гостиницы видим Цилю, оживленно беседующую у окошечка администратора. Мы ее видим, а она нас еще нет. Гердт, двинувшись вперед, вдруг оборачивается к нам, следующим за ним, подает знак, чтобы мы все остановились и заткнулись. Подкрадывается сзади к Циле и хватается её обеими руками за очень объемные ягоды. Циля обычно на такие невинные вещи реагирует очень спокойно, типа «ой, кто это?» Здесь к нам лицом поворачивается незнакомая женщина (как оказалось, профессор-химик, приехавшая на какой-то симпозиум) и... Прежде чем она успела что-то вымолвить, Гердт трагически схватился за голову, потом замахал руками: «Боже мой!!! Господи!.. Простите меня, умоляю!.. Какой кошмар!..» Мы все расхохотались, а дама, как ни в чем не бывало, говорит Гердту: «Ну что такого? Я понимаю, просто ошиблись жопой!..» Гердт, принеся тысячу извинений, объяснил даме, что она просто очень похожа на «нашу Цилю»...

Когда Цецилии Михайловне рассказали эту историю, она, рассмеявшись, сказала Гердту: «Это я тебе отомстила. Как ты мог перепутать?!»

Когда театр был на гастролях в Баку, стояла дикая жара, сушь несусветная, дули песчаные ветры... И вот однажды до спектакля актеров кто-то пригласил в гости. Там они пирнули как следует (все, в том числе и Зиновий Ефимович, были молодые), пили вкусное вино, произносили тосты... Но жара сделала свое дело. Гердта развезло так, что он буквально лыка не вязал. А спектакль – вот-вот. До начала что-то около сорока минут. Администрация в панике!..

Гердта раздели, посадили на стул во дворе и начали ведрами лить на него ледяную воду. Жаль, что никто не додумался сделать фотографии!.. Просто все были в такой растерянности, никто не ожидал что Зяма (!) может так напиться... Он пришел в себя и вот в этом страшном состоянии искусственного отрезвления от начала до конца сыграл спектакль – гениально!.. Что бы ни случилось – какая-то неприятность, какая-то неполадка, что-то не так с куклой, дурное настроение, простуда, температура, вино или грузинская чача – неважно что, – Гердт всегда играл свой спектакль на высшем уровне. Таких актеров – единицы.

Гердт на дух не переносил вранья, нечестности. Сплетни, косые взгляды – к этому он был жесток. Всегда защищал слабых. Вплоть до скандала. Я помню, как мы должны были выезжать куда-то за границу. И вдруг в списке не оказалось фамилии человека, который имеет в спектакле свою партию, который всегда делал своё дело честно и добросове-

стно, который раньше выезжал с нами без каких-либо проблем уже много лет. Оказалось, что его заменили на очень посредственного актера, которого кому-то надо было «вывезти». Гердт пошел к Образцову, выложил на стол свой загранпаспорт и сказал: «Я никуда не поеду, если не поедет вот этот человек». Сергей Владимирович, конечно, не смог никуда деться. Справедливость была восстановлена, и мы все были очень довольны такой принципиальностью. Эта была грандиозная защита.

Конечно, Сергей Владимирович Образцов по своему характеру не мог терпеть таких акций Гердта. Он понимал их по-своему, и в восемьдесят втором году Гердта вызвали в Министерство культуры. Там, в кабинете, тогдашний министр пересказал Зиновию Ефимовичу ультиматум Образцова: «Или Гердт, или я».

Пережил это Гердт спокойно и красиво, как мужчина. Переживания как такового видно, естественно, не было. Он жалел только об одном – что теряет любимую профессию, любимых партнеров, своих зрителей – после тридцати шести лет работы в этом театре. Он ушел тихо и благородно, не хлопая дверью, не предъявляя никому никаких претензий. Ушел за то, что защищал людей, за то, что при всех говорил правду, где бы это ни происходило – у себя в театре или за границей, в советских посольствах разных стран. Он мог свободно высказать свое мнение обо всей выездной системе, которая царила не только у нас в театре, но и, наверное, во всей стране.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг Сергея Владимировича Образцова в деле театра кукол, который, собственно, создал предложила именно ему Элеонора Густавовна Шпет, заведовавшая одной из главных детских организаций в стране в те времена. Сергей Владимирович за это дело взялся и создал мощный и интересный театр. Образцов был потрясающей личностью. Из художественного руководителя этого театра он очень быстро перерос в кумира, стал идиолом, спектаклям которого поклоняются уже несколько поколений. Но с Гердтом они жить вместе дальше, к сожалению, не смогли.

Уже задолго до своего изгнания Гердт знал, чувствовал, что его ждет, чем всё закончится для него... Он даже иронизировал по этому поводу и вслух иногда размышлял: кто будет руководить группой актеров (в театре существовала система групп), когда он уйдет... А когда большинство актеров вникли в суть противостояния Гердта и Образцова, в группе моментально началась анархия.

Гердт был стержнем своей группы, очень строгим и требовательным при всей своей немногословности, и актеры остерегались делать ошибки при нем. Все как бы внутренне струнились. Он был «культурой» группы во всех отношениях, и все боялись сфальшивить, никто не выкаблучивался, не выпячивался.

Были люди, которые презирали Гердта и по углам шушукались, но при нем никто не открывал рта. Злопыхатели Гердта боялись, потому что он мог им ответить. Боялись его как по-настоящему талантливого человека. А врагов у Гердта было предостаточно. И в нашем театре были такие.

Директор театра при Образцове был очень недоволен остроумиями Гердта. Это был такой... многозначительный человек, который «носил себя». Бывший артист, работал у Охлопкова. Придя к нам в театр, он сразу понял, что от того, как и насколько он будет улаживать Сергея Владимировича, зависит его карьера, карьера его жены и так далее. И он очень много подливал керосина в отношения Образцова с Гердтом: «Ну, Сергей Владимирович, голубчик, ну до каких же пор вы будете терпеть всё это?!»

Зиновий Ефимович всегда признавал и любил только правду. Терпеть не мог явного лукавства. Не любил пристрастия к актерам, в плохом смысле этого слова. А у Образцова было пристрастие именно к Гердту, причем очень ревнивое пристрастие.

Конечно, талантливому человеку живется намного труднее, чем среднеодаренному. И недаром существует поговорка: «Таланту надо помогать, а бездарь и сама пробьется». На самом деле это так. В нашем театре были актеры очень талантливые, но они не умели за себя постоять. Они делали свое дело настолько профессионально, что за это нужно было, например, моментально повысить зарплату. Любой хороший художественный руководитель видит это сразу или ему кто-то подсказывает. Гердт всячески старался помочь таким людям, которые не выпячивали себя, а посему оставались в тени. Зиновий Ефимович частенько вступал в конфликтные отношения с Образцовым по этому поводу. Это происходило на художественных советах, собраниях, обсуждениях. Он часто вставал и говорил: «Вот этого человека нужно обязательно поощрить, наградить. Посмотрите, как он делает свое дело!.. Талантливым людям нужно помогать, их нужно любить...»

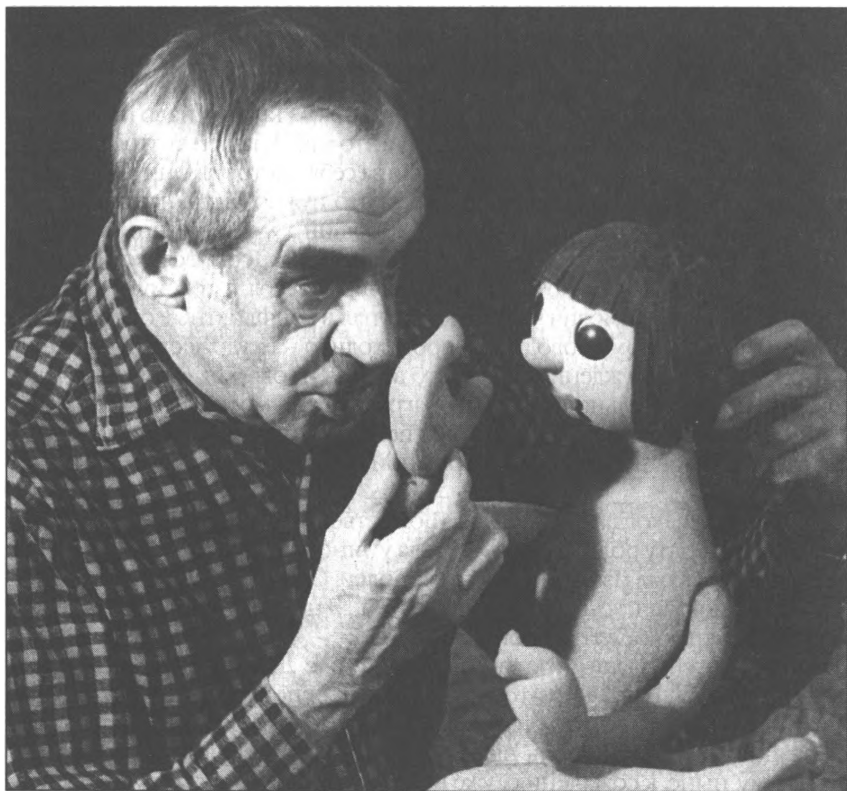
Уход Зиновия Гердта стал огромной потерей для нашего театра.

Поначалу, когда мы делали «Божественную комедию», Образцов предложил Гердту роль Дьявола. А тогда у Зиновия Ефимовича почти весь репертуар состоял из отрицательных ролей. Он сказал Образцову: «Сергей Владимирович, во-первых, у меня нога... Я не смогу прыгивать с подмостков, быстро бежать менять костюмы...» – «Ну, и что, подумаешь... – ответил Сергей Владимирович, – пусть у нас Дьявол будет немножко прихрамывать... В этом что-то есть!..» Начали репетировать. Но Гердту самому не нравилось то, что он делал. Короче говоря, Гердт все-таки убедил Образцова отдать ему роль Адама. Роль Дьявола перешла к Грише Толчинскому, ныне, к сожалению, уже покойному, а потом эта роль перешла ко мне, и я играю ее и по сей день.

Думаю, что Зиновию Ефимовичу просто надоело уже играть всяких чертей и дьяволов. Адама он сделал дивно и роскошно. Это был алмаз. Как он произносил каждое слово!.. Это было не просто красиво. Его Адам был не просто юношей, первым мужчиной на земле. Гердтовский Адам был человеком, которому безумно интересно жить, познавать себя и окружающий мир. Познавать Еву, искушение через нее... Эта роль у Гердта получилась как нить. Как путь.

Он направо и налево раздавал свои краски, свои «дивиденды», свои находки, фразки. Передавал свое нутро. Не опыт, не профессию, а именно свое нутро. Кто хотел – всегда получал очень много от Гердта.

Когда Зиновий Ефимович брал в руки куклу, она у него жила и работала. С мастерами он обсуждал каждую деталь куклы. Рычажки, педальки рта, всякие тяжести – одним словом, всё, каждый миллиметр тела куклы –



С куклой Адама. «Божественная комедия». 1961

чтобы кукла была в руке как бы продолжением этой руки. Чтобы нигде ничего не терло, не мешало, чтобы рука чувствовала себя как в отлично сидящей перчатке, чтобы не было никакого сопротивления. От этого очень сильно зависит игра актера. Если что-то мешает в кукле, уже все мысли идут туда, уже монолог существует сам по себе, ты – сам по себе, а кукла – сама по себе. Гердт был в этом смысле педантом, и этой его профессиональной дотошности можно было только позавидовать. «Подточи мне здесь и вот здесь, а здесь чуть затяни...» Это должны были делать все актеры, которые работали с куклами, но... кому-то было просто лень, кто-то не имел времени на такие тонкости, а кто-то говорил, что может сыграть чем угодно, хоть палкой...

Зиновий Ефимович всегда был человеком рисковым. Он всегда что-то пробовал, шел ва-банк, не боялся идти наперекор кому бы то ни было. Он ничего не боялся. Любил жизнь и очень хорошо понимал, что смерть – ее естественное продолжение, и при всем том, что уходить никому не хочется, бояться смерти – неумно.

Я считаю, что он прожил замечательную, красивую жизнь и сумел построить ее как демиург, окружить себя только такими людьми, которые ему нравились, с которыми ему было приятно и интересно.

Он обладал способностью моментально создавать вокруг себя определенную компанию – на съемочной площадке, или в Доме творчества, в театре за кулисами и так далее. Он любил рассказывать хохмы, анекдоты, театральные байки, похождения и всё такое прочее, и чтобы всё это как-то упорядочить, была создана программа «Чай-клуб». Он не мог жить без гостей, без застолий, чай ли это был или коньячок – неважно!.. Он очень любил людей, любил знакомиться с новыми собеседниками, но больше всего на свете, я думаю, Зиновий Ефимович любил свою жену Таню. И поэзию.

С Таней Зиновий Ефимович познакомился, когда театр поехал в турне: Ливан, Сирия, Египет. Таня пришла переводчицей. Она должна была работать с Гердтом – то есть помочь ему разобраться с арабским текстом, правильно поставить произношение, научить мелодике языка. Это был 1960 год, и с тех пор они уже не расставались. Это был союз двух мудрых людей. Не было никаких сюзюканий, никаких особенно присматриваний друг к другу. Это всё было пройдено обоими в прошлых жизнях. Я думаю, что для них эта встреча стала самым большим подарком судьбы.

Катю, дочь Тани от первого брака, они фактически воспитали вдвоем. Зиновий Ефимович очень нежно относился к Кате и отдал ей всю свою нерастрченную отцовскую заботу и любовь.

О Лидии Либединской

И Лидия Борисовна, и я родились и всю жизнь живем в Москве. И что называется, «в одном кругу». И по возрасту недалеко друг от друга. А познакомились «на склоне лет». Зяма же знал Лиду тысячу лет, и когда мы обе на него набросились за его незнание, что мы не были знакомы, согласился, что это его «недогляд».

Потому что с первой минуты нам обоим было легко не только разговаривать, но и с пониманием молчать. Так редко бывает!

Зяма очень тонко чувствовал фальшь высокопарности, и если и употреблял превосходные степени, то всегда с долей иронии. А вот о Лидии Борисовне (и еще, пожалуй, о своей теще, моей маме), выражаясь «высоко», говорил серьезно. Рассказывая о ней, он не забывал упомянуть: «Дворянка, настоящая, никогда не хвастающая этим званием, а только всей своей жизнью доказывающая его суть».

Главным в этом высказывании было «настоящая», потому что, когда в последние годы появились «дворяне», «дворянское собрание», он ужасно сердился, говоря: «Посмотри, какие напыщенные, пустые, малопорядочные, понятия не имеющие о том, кто такие русские дворяне. Эти сегодняшние похожи скорее на Анатоля Курагина, он ведь тоже был “дворянин”».

Внутренняя аристократичность Лидии Борисовны проявляется во всем: совершенная естественность, дивная русская речь, доброжелательное, равное отношение, без чиновочитания и превосходства, ко взрослым и удивительно уважительное к детям.

Глядя на ее открытое, приветливое лицо, кажется, что этот человек жил и живет без особых трудностей. А это далеко не так – выпала на ее долю, как и большинству порядочных людей, масса сложных и трагичных событий. Из всех людей, которых я знаю, у нее больше всех детей – дочерей, внуков, а теперь и правнуков. Как-то, по-моему, на телевидении, Лидию Борисовну спросили: «Вот у Вас столько обожающих Вас детей. Как вообще надо детей воспитывать?» – «Детей не надо воспитывать вообще, с ними надо дружить», – был ее ответ.

Такая, казалось бы, простая формула, но, по-моему, заключающая в себе всю философию педагогики, да и вообще жизненной позиции.

С ней всегда всем легко и интересно. Даже зятья, что в российской действительности редкость, внимательны к ней, а значит, любят. Ее знаменитый зять Гарик Губерман, подиучивая над ней за верность традициям в накрывании стола и приверженность к «своей» чашке, восхищается ею.

Не хочется впадать в высокопарность, но не знаю, как выразить иначе: когда общаешься с Лидией Борисовной или думаешь о ней, надежда на то, что «Россия выдюжит», в душе крепчает.

Лидия Либединская

**МЫ ЛЮБИМ ВАС,
ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ!**



Вспоминается яркий весенний день: сижу на скамейке возле нашего дома в Лаврушинском. Из дверей сберкассы Охраны авторских прав, куда перечисляют гонорары, выходит Зиновий Ефимович, Зяма, Зямочка, как с нежностью называли его друзья. Вот радость-то! Обнялись, расцеловались.

– Ты что здесь сидишь? Ждешь кого-нибудь или ключи забыла?

– Да нет, солнышко-то какое, загораю...

– Загораешь?! Молодец! А у тебя деньги есть?

– Есть.

– Жаль... И хватает?

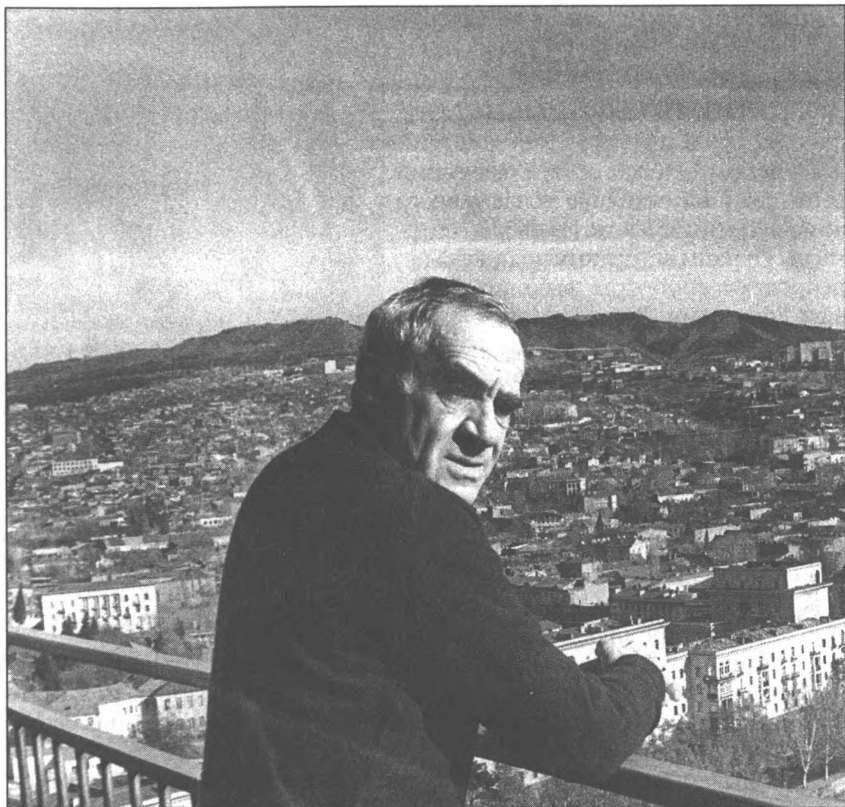
– Даже на гостей хватает! Зайдем, пообедаем...

– Жаль, тороплюсь. А у меня лишние, хотел поделиться!

«Лишних» денег у него никогда не было, всё зарабатывалось изнурительным актерским трудом, а вот желание отдать, одарить, обласкать было всегда. И он отдавал, всего себя отдавал, одаривал всех нас своим высоким искусством.

...Плывем большой группой на теплоходе из Москвы в Петербург, с нами Зиновий Ефимович и его очаровательная жена Татьяна Александровна. Подолгу стоим и сидим на палубе, глядя, как проплывают мимо то низкие, открытые, то холмистые, лесом покрытые берега, небольшие селения, а то и вовсе одинокие бревенчатые избы, мирно пасутся пестрые коровы, доносится лай собак – сельская идиллия. В такие редкие минуты, когда кажется, что ничего плохого не может случиться на земле, даже разговаривать трудно, и только стихи могут соответствовать душевному состоянию. И Гердт читает стихи – Блока, Самойлова, Твардовского и, конечно, Пастернака. Сколько же он знает стихов, а ведь никогда у него не было стихотворных концертных программ, он не учил их наизусть специально, просто поэзия – часть его души, его жизни. Слушаешь его и хочется одного: чтобы никогда не кончались эти благословенные мгновения.

Но вот наш теплоход причаливает к какой-нибудь небольшой пристани, начинается обычная суета, и едва ступаем на берег, как Гердта уже



окружает толпа людей. Одни просят у него автограф, другие – разрешения сфотографироваться с ним, третьи подводят детей: «Скажите им что-нибудь, ведь они всю жизнь будут помнить, что видели живого Гердта!». И он терпеливо исполняет все просьбы... А продавцы сувениров готовы всё подарить ему или хотя бы продать за полцены, и я уже слышу, стоит Зиновию Ефимовичу отойти в сторону, как они с гордостью говорят другим покупателям: «Да что вы торгуетесь, у меня это сам Гердт купил!» – и покупатель тут же сдаётся.

И ещё я всю жизнь буду помнить несколько счастливых дней, которые мы прожили вместе с Гердтами в Иерусалиме, в квартире моей дочери и её мужа поэта Игоря Губермана.

Зиновий Ефимович приехал тогда в Израиль, чтобы принять учас-

тие в спектаклях русского театра «Гешер» и тем самым помочь недавно организовавшемуся театральному коллективу. Играли они сначала в Тель-Авиве, а потом давали несколько спектаклей в Иерусалиме. «Зяма не любит гостиниц, можно ли остановиться у вас?»

Ответ угадать нетрудно. И вот уже на другой день вечером Игорь встречает Гердтов на междугородной автобусной станции. А потом долгое, за полночь, застолье, смех, шутки, нет-нет да и заглянет в дверь, словно невзначай, а на самом деле чтобы хоть одним глазком взглянуть на Гердта, кто-нибудь из соседей и тут же деликатно исчезнет. Зиновий Ефимович – неистощимый рассказчик, слушать его можно бесконечно. Но он просит Губермана почитать стихи, и тот, хотя за столом стихи почти никогда не читает, не может отказать ему, и застолье всё длится и длится...

А утром втроем – Татьяна Александровна, Зиновий Ефимович и я – идем гулять по Иерусалиму. И тут происходит то же, что и на приволжских пристанях. Буквально каждый третий прохожий останавливается в изумлении, потом протягивает руку или раскрывает объятия и задает один и тот же вопрос:

– Вы навсегда или в гости? – и тут же сокрушенно покачивая головой: – В гости? Всё равно – СПАСИБО! – и торопливо лезет в карман, доставая записную книжку. – Распишитесь, а то ведь не поверят...

Не будет уже путешествия на белом теплоходе по волжским просторам, не будет прогулки по узким улочкам Вечного города Иерусалима, веселых застолий и серьезных, подчас до грусти, разговоров, но встречи будут, обязательно будут, надо только ждать их. И недавно я такой встречи дождалась: четыре вечера подряд на третьем канале телевидения Зиновий Гердт читал стихи Бориса Пастернака.

Передачи назывались просто: «Гердт читает Пастернака». Он сидел в саду на скамейке, в такой знакомой домашней куртке, и под звуки веселой весенней капли (последней в его жизни), читал так, как всегда читал стихи своим друзьям, вдруг перебивая сам себя воспоминаниями, рассказами, читал, наслаждаясь каждой строчкой, каждым поэтическим звуком. Нет, написать об этом гениальном чтении невозможно, где найти такие слова?

Мы Вас очень любим, Зиновий Ефимович, слышите нас?..

Об Эдуарде Скворцове

Моей мамой был высказан одобренный не только Зямой и мною, но и многими другими постулат: «Хороши только те родственники, которые сумели стать друзьями».

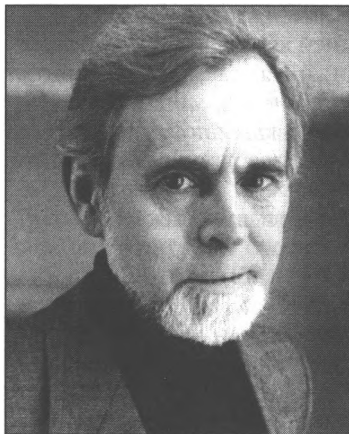
Именно так, счастливо, сложились отношения Зямы с младшим из двух сыновей его старшей сестры, Евгении Ефимовны.

С самой Женей да и с их братом Борисом душевных отношений не было, а были лишь вежливые родственные связи.

Эдик же (Эдуард Викторович) не только унаследовал от Гердта, хоть и косвенным образом (племянник), физический склад, но и существует на той же волне жизни, что и Зяма.

Профессор, физик-математик, доктор в обычном понимании «точных» наук, он внутренне глубоко гуманитарен. Это не сочетание «физиков-лириков», а объемно одаренная человеческая сущность. С Зямой их делала близкими одаренность обоих рафинированным чувством юмора, редкой музыкальностью и, конечно, поэзия.

И с Эдиком, и с его замечательной женой Юлей, и даже чаще, чем с ними, с их наредкость удавшимся сыном Артемом, Темой, у меня и теперь сохраняется дружески-родственное общение. Они живут в Казани, но оказываются часто много ближе других. И я знаю, что это не только в память о Зяме, а просто мы истинно доверяем друг другу.



Эдуард Скворцов

ДЯДЯ

То, что у меня есть необыкновенный дядя, я усвоил с далекого детства. Первую встречу с ним помню довольно смутно. Проездом из госпиталя на костылях прикованный веселый человек с усиками, похожий на Чарли Чаплина. Этот кадр мелькнул и пропал. Следующая экспозиция – уже много позже, в Москве. Мой дядя, оказывается, действительно актер, причем широко известный, несмотря на то что большую часть своих ролей прово-

дит за ширмой. У него уникальный, мгновенно узнаваемый тембр голоса, богатые интонации, которыми он легко и изобретательно распоряжается, зрителей и слушателей он покоряет своим юмором и доброй иронией. А еще он – один из авторов уморительного кукольного «Необыкновенного концерта».

Как-то в пятидесятых годах мне повезло прокатиться с ним в трамвае. И я ощутил, что такое народная слава – пассажиры принялись шептывать друг другу: «Смотрите, смотрите – Гердт!» А ведь эпоха была дотелевизионная.

Сейчас мало кто это помнит, а тогда в правительственных концертах, транслируемых по радио из Колонного зала Дома союзов, завершающим номером, как правило, выпускали Зиновия Гердта. Гердт клал всех на лопатки своими остроумными, смешными пародиями, которые были отнюдь не пересмешничеством, но подражанием, а талантливыми шаржами на любимые народом персонажи. Позднее в кругу семьи он обычно уклонялся от воспоминаний об этом периоде своего творчества, но нет-нет да и запевал вдруг знакомым утесовским баритоном: «...Вот уж стосимидиситипитилетие управляю я четверкой лошадей...»

Общаться с дядей Зямой мне было легко – разницы в возрасте, составлявшей почти четверть века, не ощущалось. Но я с удивлением отметил, что все близкие друзья и добрые знакомые, которых у него было множество, обращаются к нему так же интимно – «Зяма», и в этом нет никакой фамильярности, но есть особая теплота и даже нежность – как реакция на обаяние его личности.

В 62–63-м годах Зяма взял меня с собой, отправившись в «писательский» дом на Аэропортовской улице – в гости к своему старинному другу Михаилу Львовскому (этому человеку я глубоко благодарен за поистине королевский подарок – магнитофонную ленту, открывшую мне Юлия Кима). За разговорами засиделись допоздна, вышли из подъезда в тихую звездную ночь, и Зяма немедленно начал:

*Тихо над Альгамброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памба,
Спит...*

Тут я едва сдержал острое желание закончить до боли знакомые прутковские строки – и правильно сделал, – потому что Зяма после небольшой паузы величественно завершил декламацию своим неповторимым рокотом: «...литература!»

Финал был непредсказуем и ошеломляюще точен, не говоря уж о том, что Зямина рифма оказалась более богатой, чем в оригинале. В этот момент Зяма помог мне понять, что такое творческое отношение к жизни.

Способность творить, подобно фокуснику, вытаскивающему кури-

цу из пустоты, Зяма мог продемонстрировать когда и где угодно. В чистом виде этот фейерверк мысли и радости жизни легче всего было наблюдать за утренним домашним кофе, обычно превращавшемся Зямой в брекфешт-шоу. Шутки, розыгрыши, мгновенные мизансцены сменяли друг друга, все это было смешно и неизменно свежо – возникало у тебя на глазах.

Вот Зяме по ходу дела понадобился известный анекдот – и анекдот звучит ново, подобно классической пьесе в постановке талантливого режиссера. Вбрасываю на поле показавшуюся забавной рифму «Бертолуччи – лучше». Зяма пробует ее на зуб и, не раздумывая, чеканит:

Быть Гайдаем – хорошо.

Бертолуччи – лучше.

В Бертолуччи б я пошел –

Пусть меня научат!

Едем в гости к Рине Зеленой. Открывает дверь хозяйка, приглашая войти. Зяма шагает через порог и вдруг, схватившись обеими руками за щеку, с мучительным стоном начинает медленно вытягивать нечто из уголка рта. «Что с тобой, Зямочка?» – в ужасе восклицает Рина. Он мотает головой и продолжает тянуть из своих недр нескончаемую змею, оказывающуюся... стальной рулеткой. Мгновенное облегчение и напоминание – с Зямой, как с петергофскими фонтанами, нельзя расслабляться!

Зяме суждено было родиться свободным. Обстоятельства жизни – давление советского режима, тяжелое фронтовое ранение и многое другое, – разумеется, на него воздействовали, но это фундаментальное свойство его личности они изменить не могли.

Придя в театр кукол и став актером, Гердт формально влился в среду лиц, по рукам и ногам повязанных текстом и волей режиссера. Но эту рабскую актерскую зависимость он с удивительной легкостью и естественностью преодолевал. «Необыкновенный концерт» оказался необыкновенно популярным, и его пришлось играть более пятисот раз. Так вот, Зяма превратил рутину в пятьсот вариаций Гердта на собственную тему, как классный джазмен, не повторяясь ни разу. В ролях «Концерта» он резвился, как ребенок. Однажды по пути на дачу мы заехали с ним в театр. Он провел меня в темный зал: «Подожди, у меня сейчас номер». Я привычно увлекся действием, как внезапно кто-то тронул меня за плечо, и знакомый голос прошептал: «Поехали». Так мне и не суждено было узнать, кого же он изобразил за ширмой на этот раз. Не исключено, что колоратурное сопрано. Или цыганку в хоре.

На другом «Концерте», когда конферансье вальяжно обратился к служителю: «Эдуард Викторович, ликвидируйте нам рояльчик!» – публика, похоже, зная текст наизусть, зашушукалась, а я чуть не лопнул от гордости.

Зямина свобода лезла из него отовсюду. В глухие советские годы,

выезжая с театром за границу, он в составе труппы во внерабочее время не бегал по магазинам в поисках дешевого ширпотреба, а бродил по улицам, смотрел кино, потягивал aperitifs в кафе – словом, наслаждался нормальной жизнью. На худсоветах в театре мог высказаться нелিপцприятно и жестко в адрес кого угодно. Жил без оглядки на ГБ. Шутил как хотел. Не задумываясь, встречался за кордоном с опальным Виктором Платоновичем Некрасовым. Дома у него на ночном столике обычно вперемешку со свежими номерами «Нового мира» и «Знамени» лежали последние самиздатовские книжки. Борцом-диссидентом не был, но, скажем, Роя Медведева я видел у него в квартире не раз.



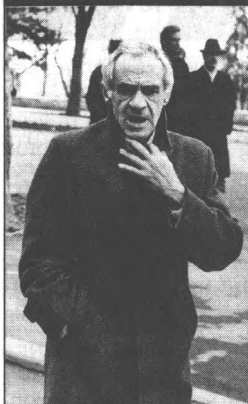
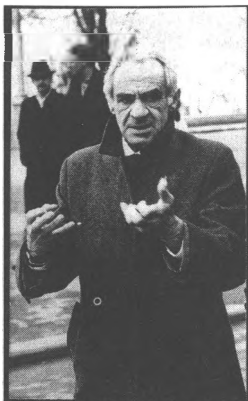
*Знаменитый конферансье
Аплумбов*

Свобода сказывалась и в его позиции по традиционному щекотливому для страны вопросу о «пятом пункте». Эту нашу неизбывную проблему для себя он решил раз и навсегда. К антисемитам относился со смесью гнева и брезгливости. Помню его строгое выражение лица, когда они с женой тщательно одевались к официальному приему в израильском посольстве. Но никогда не приходилось слышать от него конструкций вроде «мы, евреи». Он жил не среди представителей той или иной национальности, а среди людей, тем самым как бы приглашая их относиться друг к другу так же.

Игру он воспринимал как способ существования – и не изменил своему принципу до конца. Но «только этого мало», и Зяма не играл, когда посреди будничного разговора без предисловий вдруг начинал читать что-нибудь из Пастернака, Самойлова... Не знаю, как это воздействовало на других, но у меня по телу бегали мурашки – казалось, Зяма твердит стихи самому себе. Для него это чтение было эстетической и нравственной подкачкой, своего рода молитвой, очищением от реалий бытия. А вместе с ним ввысь возносились и слушатели.

Все годы, какие довелось общаться с Зямой, прошли передо мной чередой его неустанного интенсивного труда. Зяму постоянно рвали на части какие-то люди, бесчисленные звонки, телеграммы. Он всегда куда-то торопился, но никогда не опаздывал. Не припомню, чтобы он когда-либо пожаловался на усталость, сказал, как ему всё обрыдло и как хочется забыть это «должен, должен» и просто власть повалиться.

Зяма был мужественным человеком, настоящим мужчиной. Его правила исключали подробное изложение того, как и что у него болит.



Только близкие и посвященные знают, какие адские муки он выдерживал, чтобы не сорвать последние выпуски «Чай-клуба». Он всё умел делать руками, любая задумка по хозяйству завершалась у него всегда ладно, ловко. Любо-дорого было наблюдать за тем, как он упаковывает вещи. Талант проявлялся во всем, за что бы он ни взялся.

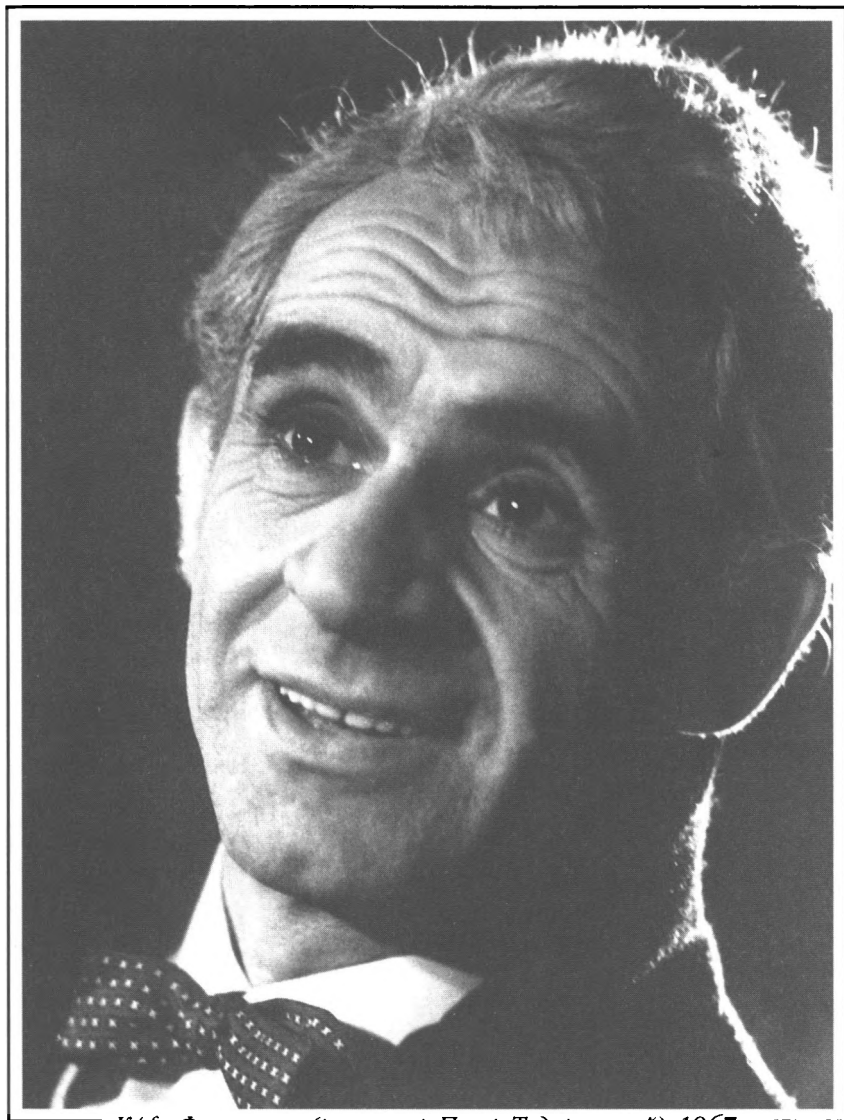
И вот о чем нельзя не рассказать, чтобы двинуться дальше. Тем Зиновием Ефимовичем Гердтом, которого все мы знаем и любим, он стал под воздействием многих лет общения с женой, Татьяной Александровной Правдиной.

Нашли они друг друга не сразу. Помню ту радостную и подлинно творческую атмосферу, в которую я окунулся, очутившись впервые в их скромной квартирке, где они радушно предоставляли мне кров и ночлег буквально в ногах своего ложа. Наши вечерние разговоры о Солженицыне, о бурных событиях театральной и литературной жизни велись без каких-либо скидок на мое юношество и затягивались до двух-трех часов ночи. А утром – подъем, запах хорошего кофе, бодрящая интеллектуальная зарядка за завтраком и – вперед!

Таня в строгом соответствии со своей фамилией высказывалась прямо, по существу и высоко держала нравственную планку. Так было всегда и не могло не дать свои плоды. Очевидно было и взаимное обогащение супругов. У них быстро выработался общий эстетический и этический вкус, стиль жизни. Это сказывалось во всем: в оценках явлений и событий, в естественной манере поведения, в одинаковой открытости людям, в понимании природы и смысла юмора, в простоте и продуманности обстановки в доме – размер квартиры при этом не имел значения, – в функциональности и элегантности одежды, в мелочах быта, даже в едином пристрастии к сигаретам. В их дом люди всегда стремились – там было свободно, интересно, весело, вкусно есть, пить и жить.

Не надо думать, что при этом Зяма и Таня полностью растворялись один в другом. Они представляли собою яркие индивидуальности, и

Это же Гердт!



К/ф «Фокусник» (режиссер Петр Тодоровский). 1967

Всего Зиновий Гердт сыграл 72 роли в кино и на телевидении. Однако артиста кинозрители узнали до того, как он появился на экране

*«Была когда-то на свете
преlestная страна,
и называлась она Франция...»
С этих слов начинался фильм
«Фанфан-Тюльпан»
и «закадровая» слава Гердта*



*«Как объяснить, почему не только мне,
а множеству искушенных и неискушенных
кинозрителей итальянский комедийный
артист Тото, заговоривший по-русски
голосом Гердта, вдруг напомнил о Чаплине,
когда сам великий Чарли на экране
не произнес ни слова?»*

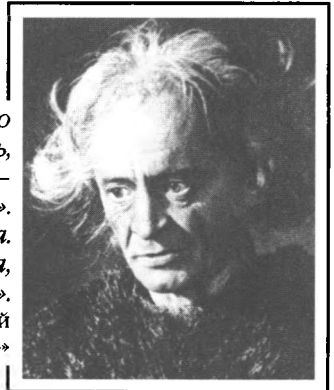
Михаил Львовский

*«Сегодня – после дней страшнейшего
кризиса всего фильма, когда казалось,
что Ярвета озвучить невозможно, –
пришла надежда. Гердт «заговорил».*

Я услышал верный тон звука Лира.

*В этом вся трудность: звук Лира,
такой же, как его взгляд».*

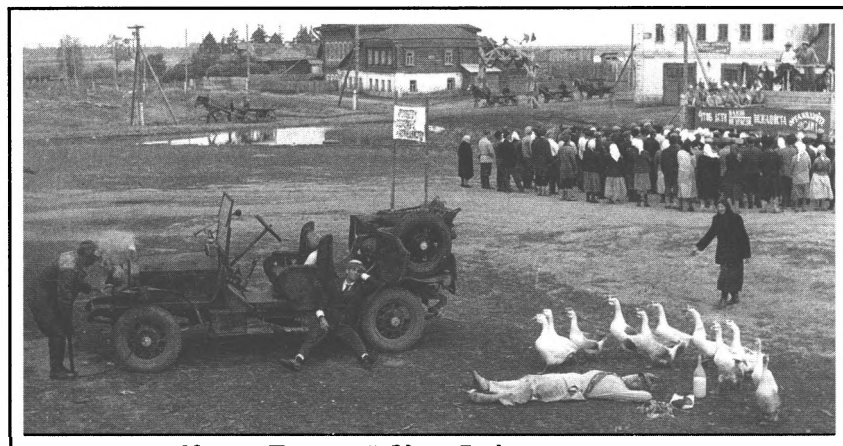
Григорий Козинцев. Из рабочих записей
к фильму «Король Лир»



«Золотой теленок». 1967

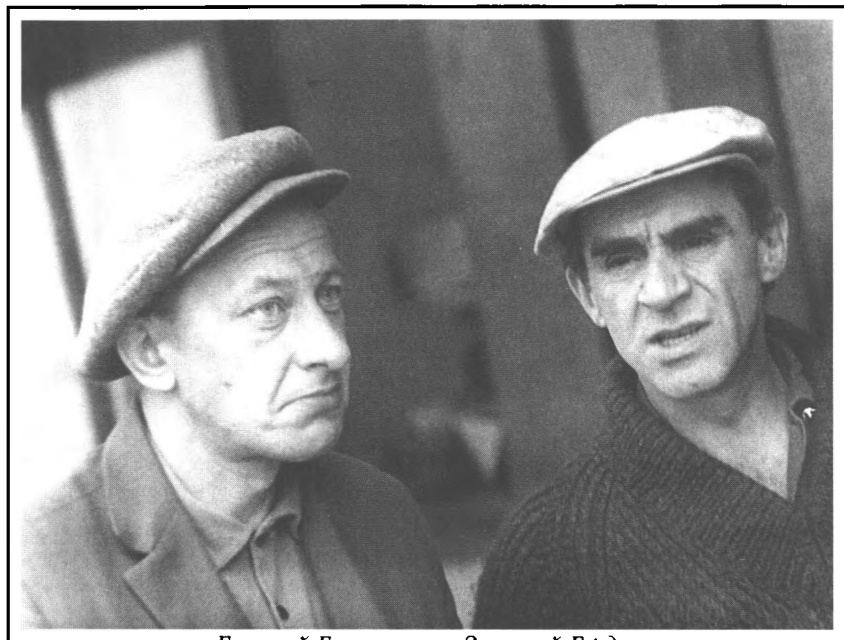


Одесса. (Фотография подарена Швейцером Гердту к его юбилею в 1991 году)



Юрьев-Польский. Здесь Гердт воровал гуся

«Золотой теленок». 1967



Евгений Евстигнеев, Зиновий Гердт

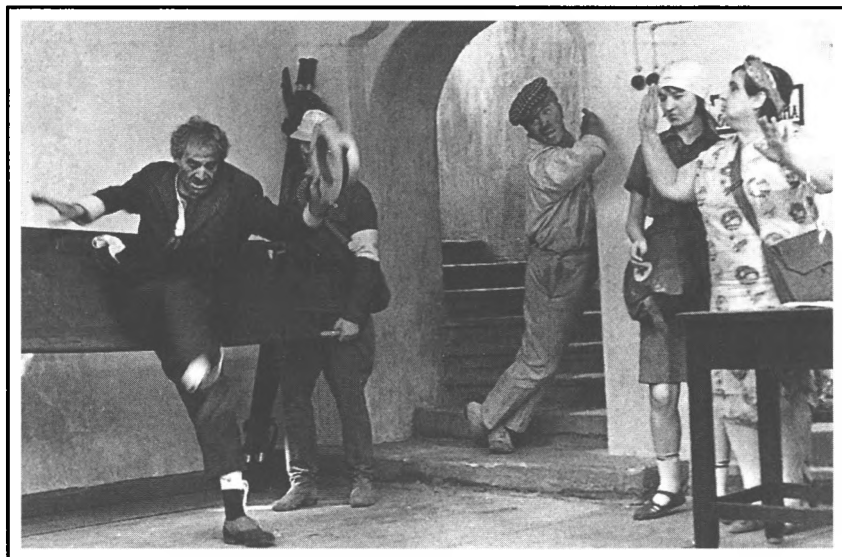


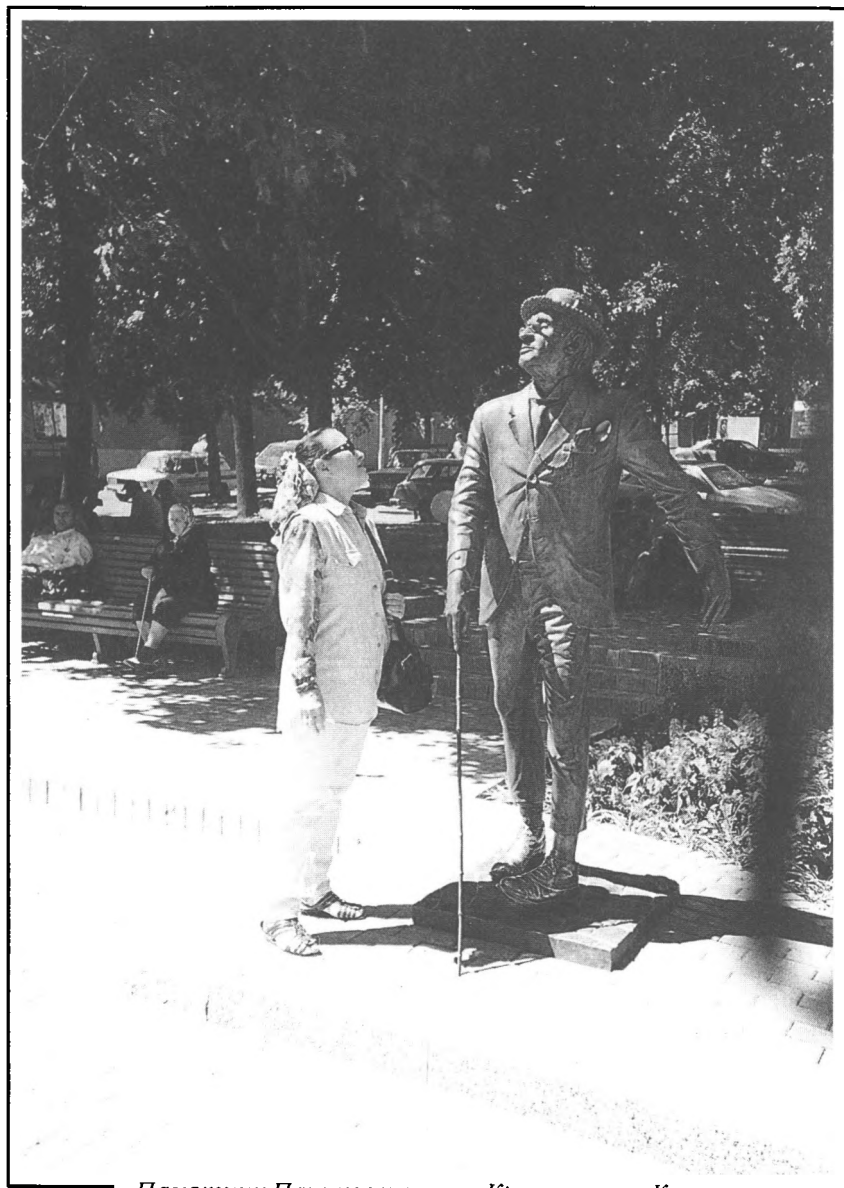
Зиновий Гердт, Леонид Куравлев, Сергей Юрский

«Золотой теленок». 1967



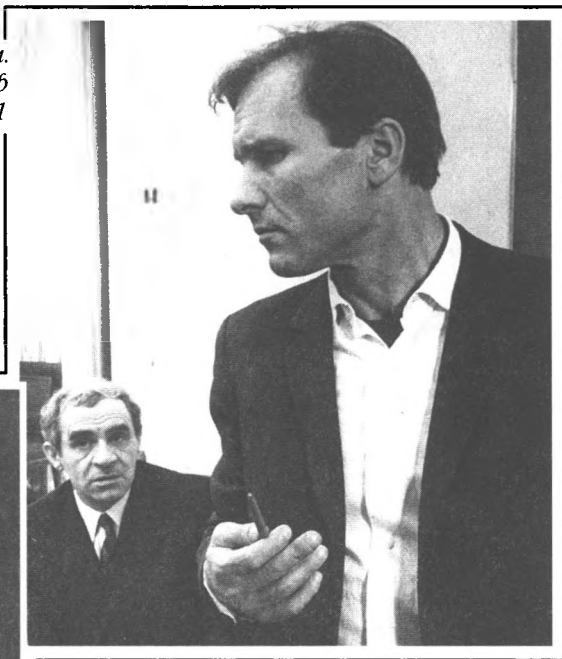
Сергей Юрский, Зиновий Гердт





Памятник Паниковскому на Крещатике в Киеве

*С Василием Шукшиным.
На съемках к/ф
«Печки-лавочки». 1971*



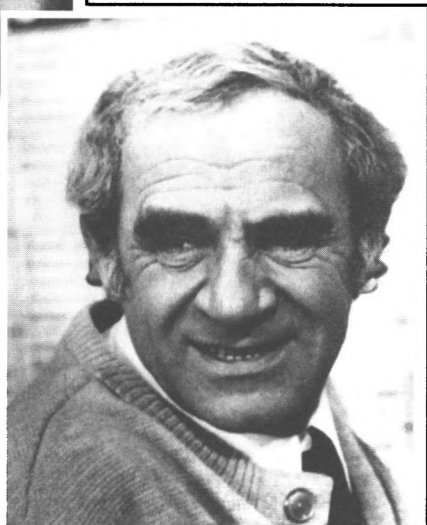
*К/ф «В тринадцатом часу ночи»
(режиссеры Л. Шепитько, Э. Климов). 1969*



*С Зоей Федоровой в к/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса» (режиссер Р. Быков). 1974*



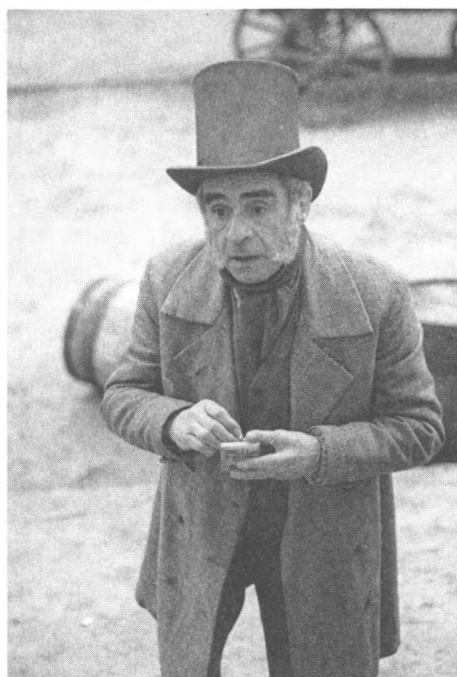
В к/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров»
(режиссер В. Титов). 1971



В к/ф «Розыгрыш»
(режиссер В. Меньшов). 1976

Это же Гердт!



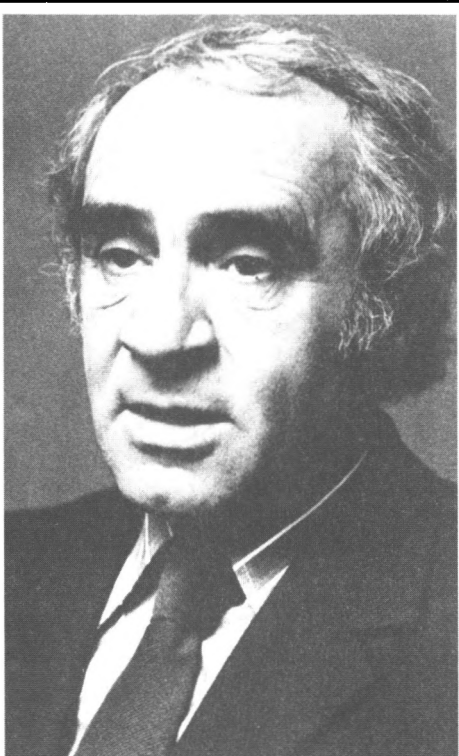


*Т/ф «О бедном гусаре
замолвите слово...»
(режиссер Э. Рязанов). 1980*



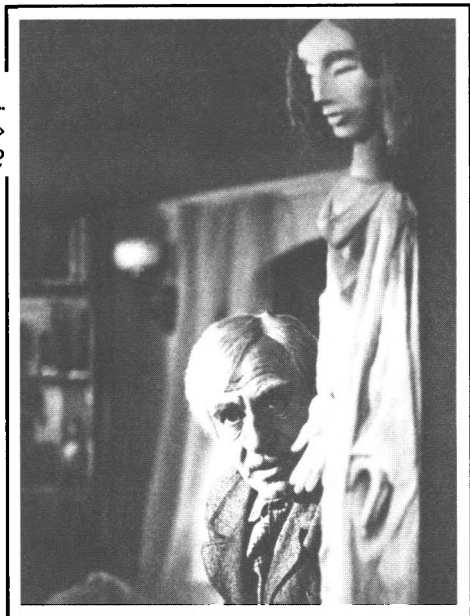
К/ф «Соловей» (режиссер Н. Кошеверова). 1979

*К/ф «Ключ без права передачи»
(режиссер Д. Асанова). 1976*



К/ф «Пацаны» (режиссер Д. Асанова). 1983

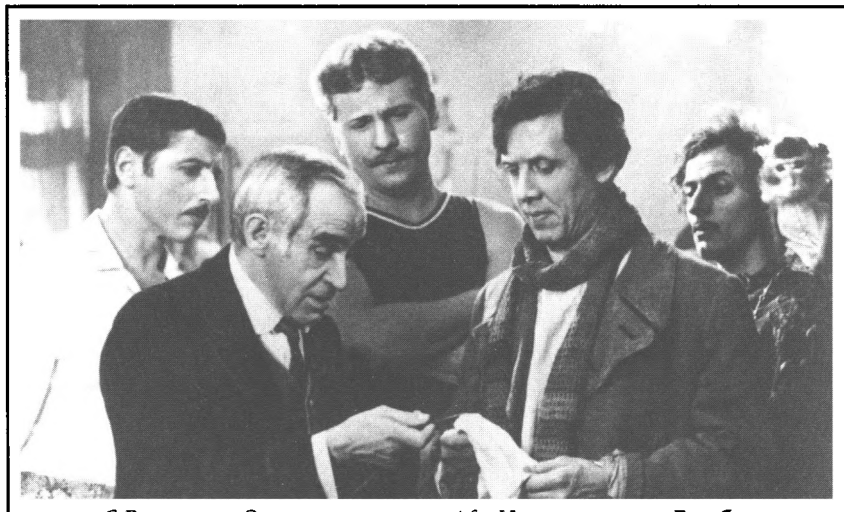
*К/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
(режиссер С. Кулиш). 1982*



К/ф «Ослиная шкура» (режиссер Н. Кошеверова). 1982

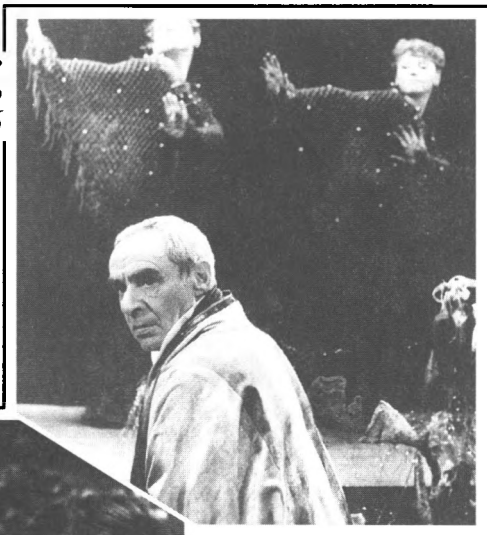


*С Михаилом Козаковым в к/ф «Герой ее романа»
(режиссер Ю. Горковенко). 1984*

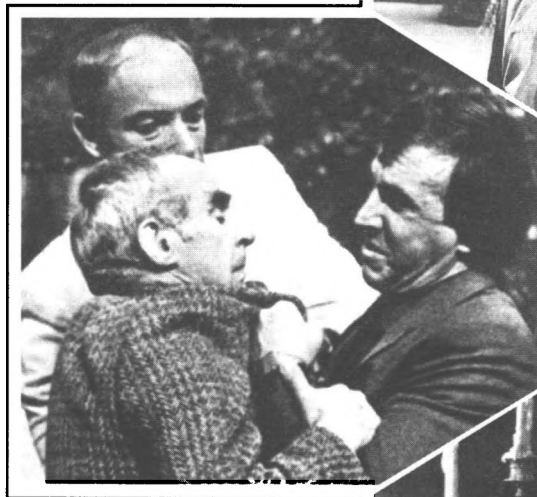


*С Валерием Золотухиным в к/ф «И вот пришел Бумбо»
(режиссер Н. Кошеверова). 1984*

К/ф «На золотом крыльце сидели» (режиссер Б. Рыцарев). 1986



С Валентином Гафтом и Владимиром Стекловым в к/ф «Воры в законе» (режиссер Ю. Кара). 1988



К/ф «Биндюжник и Король» (режиссер В. Алеников). 1989





К/ф «Я вас дождусь» (режиссер Я. Сегель). 1983



В перерыве между съемками фильма «Я Иван, а ты Абрам»



*С Владимиром Машковым в к/ф «Я Иван, а ты Абрам»
(режиссер И. Зоberman, Франция). 1993*



*На съемках к/ф «Иван Чонкин»
(режиссер И. Менцель, Прага). 1994*

их соприкосновение, а порой и столкновение неизменно являло собой биение жизни.

Характерен эпизод из семейной хроники Гердтов, свидетелем которого я быть не мог, но представление о его содержании имею из рассказов непосредственных участников. Обсуждая некую проблему, эмоциональные супруги достигли такого накала беседы, что дружно пришли к выводу: пора разбежаться. Все слова



*Татьяна Правдина, Зиновий Гердт
и Наина Ельцина на концерте
в «Палас-отеле». 1996*

уже были сказаны. Таня нервно ходила по комнате. Зяма стоял, отвернувшись к окну. И тут Таня раздумчиво произнесла: «Так, что же мне надеть...» Зяма расхохотался, и инцидент лопнул как мыльный пузырь.

Это был тот счастливый случай, когда муж ярко талантлив, а жена всё понимает, организует, вдохновляет, направляет и не проявляет интереса к собственному публицити, всегда оставаясь в тени. Если угодно, Зяма жил «под шорох твоих ресниц», а Таня – «in the shadow of your smile»¹.

Появляясь у Гердтов два-три раза в год, я заставлял обычно одну и ту же картину: Центр управления добрыми делами в действии. Руководитель Центра (Таня) отдает короткие команды оператору (Зяме), сидящему за пультом (телефоном): устроить заболевшему А. консультацию профессора, оставить для Б. испрашиваемую сумму, организовать В. и Г. билеты в Большой театр, пригласить к себе на жительство провинциала Д., наконец, помочь мне же заготовить мясо для отправки в голодную Казань – и так далее. Все это совершалось как бы играючи в те немногие паузы между напряженной работой, когда Зяма оказывался дома, причем процесс, раз и навсегда отлаженный, шел с высоким КПД. Самодовольством или гордостью за содеянное благо у Гердтов никогда и не пахло, – наоборот, для них такой режим, со стороны казавшийся тяжеловатым, был будничным и привычным. Один Бог знает, сколько им в течение долгой совместной жизни удалось сделать для людей.

Как бы ни сложился день, около пяти вечера Зяма приезжал домой,

¹ В тени твоей улыбки (англ.).

усаживаясь за стол, говаривал что-нибудь вроде: «Ну, на обед я сегодня заработал!» – и с аппетитом истинного гурмана поглощал всегда отменно вкусно приготовленные домработницей Нюрой или хозяйкой блюда. Засим, довольный и благодушный, затягивался сигаретой и, отдохнув немало, снова исчезал допоздна.

Курил с нескрываемым наслаждением – по всей квартире в разных местах были расставлены бесчисленные пепельницы, привезенные со всего света в качестве сувениров. «А вот эту вещичку я попросил разрешения взять на память у распорядителя в знаменитом отеле. Он вежливо ответил, что у них подобное не принято, но, когда мы уходили, незаметно сунул ее мне в карман». Для обаяния Зямы границ не существовало.

Главным предметом в квартире, вне сомнений, был телефон. Домой Зяма в течение дня звонил при первой возможности, вникал в мельчайшие детали текущей обстановки, меняющейся с каждым часом. Первое, что делал, когда прибывал в любой пункт на земном шаре, а ездил он постоянно, – дозванивался до Тани и докладывал, что с ним всё в порядке. Обмен несколькими энергичными фразами – Антей припадал к своей Земле, – и нормальная жизнь восстановлена.

Как-то я попытался представить себе, каким мог бы быть памятник Гердту: еще небритый Зяма сидит в халате за круглым столом, в левой руке сигарета, правая – на телефонной трубке. Множественные приятельские контакты были милы его сердцу. Нюра как-то сказала: «Когда гостей два-три дня нет, – Зиновий Яфимыч ходит по квартире ску-ушной!» Но он четко разграничивал приятельство и дружбу и подчеркивал, что понастоящему близких друзей у него совсем немного.

Когда Ильф и Петров утверждали, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, они, очевидно, имели в виду Зяму. Наследуя у отца с матерью их хромосомы, дальше каждый хромает сам. Неудивительно, что для Зямы автомобиль стал вторым домом, где он провел заметную часть своей жизни. И обращался он с автомобилем так же уважительно и бережно. Забавно было наблюдать постоянные разборки супругов – занятых автомобилистов по поводу их индивидуального поведения за рулем. Случилось так, что, направляясь на консультацию Зямы с доктором, они подвезли и высадили нас с сыном возле храма Христа Спасителя. Дверца захлопнулась, и под взаимное ворчание Гердты укатили, а мы переглянулись, отчетливо понимая, что видим Зяму живьем в последний раз...

Уход со службы в театре подействовал на Зяму благотворно: у него буквально освободились руки, что в его возрасте послужило заметным облегчением, он стал еще меньше актером и еще больше – Зиновием Гердтом. Предложения следовали одно за другим, и было из чего выбирать.

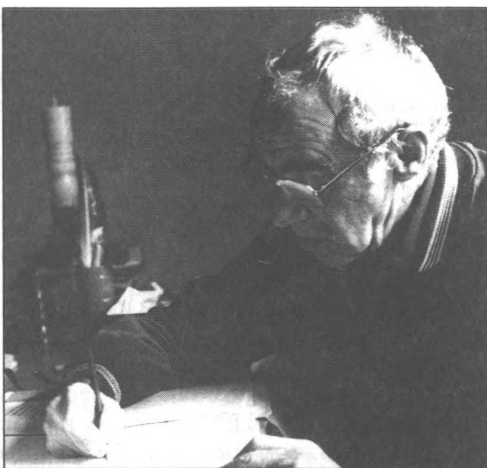
Я не раз подступался к Зяме с вопросом: почему бы ему не взяться за книгу воспоминаний, – позади водоворот жизни, столько встреч с ле-

гендарными людьми, да и ма-стерское владение словом при себе. Он неизменно отнекивался, никак не объясняя свое равнодушие к этой теме. Наконец я понял, что, действительно, сидя за столом, исписывать страницу за страницей – не для него. Он должен просто жить. А кто-то обязан догадаться фиксировать эту жизнь.

Говорят, в соборе, где служил Мессиа¹, автоматически включалась звукозаписывающая аппаратура всякий раз, когда маэстро садился за орган. Только так мудро и надлежит обращаться с национальным достоянием. А Зяма без преувеличения был им.

Эх, установить бы видеокамеру и снимать, снимать Зяму – прежде всего дома, за бесконечными телефонными разговорами, беседами с друзьями, великолепными импровизациями за праздничным столом, наконец, просто на кухне за трапезой с женой. Долгая совместная жизнь привела к такой диффузии супругов, что в их пикировках, остроте которых позавидовали бы профессионалы – специалисты по диалогам, обе стороны нисколько не уступали одна другой.

Вот сцена, увиденная уже глазами внучатого Зяминого племянника. Таня хлопочет у кухонной стойки, Зяма устроился поодаль на кушетке и подозрительно затих. Таня подымает на него глаза и лицезреет такую картину: Зяма, нацепив на самый кончик носа очки и слегка высунув язык,



¹ Оливье Мессиа^н (1908–1992) – французский композитор, органист, музыковед.

ползает пальцем по строчкам рекламной газетки – на сей раз изображает из себя старого маразматика и ждет не дожидается, когда же на него обратят внимание. «Зяма! – с экспрессией говорит Таня. – А я и не знала: да ты, оказывается, актер!» Эффект достигнут – и все удовлетворены.

Да, куда там убогим заморским сериалам! Нарезанных кусочками фрагментов из жизни Гердтов хватило бы на годы увлекательнейшего видеоряда.

Идея фиксации Зяминой жизни, пусть и в сильно урезанном виде, все же воплотилась в его «Чай-клубе». Тот, кто получил возможность наблюдать эти чаепития, думаю, согласится, что при всем великолепии собрания приглашенных гостей именно ведущий создавал неповторимый аромат и вкус передачи.

О голосе Гердта можно писать отдельно. Скажу лишь, что для меня его тембр, интонации так же необходимы, как голоса Армстронга, Фитцджеральд, Рэя Чарлза, Утесова и Кима.

Доведись этому человеку жить в иные времена и в ином пространстве – он не потерялся бы в людском муравейнике. Но нам повезло: Гердт оказался нашим соотечественником и современником. Избери он профессию слесаря или токаря – это был бы Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Из него мог бы получиться прославленный учитель или замечательный музыкант. Но он стал актером – и это еще одна удача для всех нас.

Люди любят актеров, персонифицируя в них идеальные человеческие качества, зачастую вовсе незаслуженно. Лишь единицы среди популярных в народе – действительно значительные личности, способные дать многим что-то сверх своих профессиональных ролей. Вместе с тем существует и горстка людей, которым в небольшом обществе приличествует платить хорошие деньги за самый факт их существования. Гердт удивительным образом принадлежал и к той, и к другой группе этих редких экземпляров человеческого рода.

Принято считать, что у него было мало выдающихся ролей – и единодушно делается исключение для роли Паниковского. Действительно, бесспорно, Зяма достиг в его образе чаплинских высот. Но, не называя здесь других серьезных актерских работ, берусь утверждать, что главную роль, к которой Зяма долго шел, он сыграл всего один раз. Это – уникальная роль Зиновия Ефимовича Гердта в пьесе его жизни.

Воздействие личности Гердта на окружающий мир заметно выросло особенно в последние его годы, когда он часто появлялся на телеэкранах не в обличье очередной роли, а сам по себе. Как-то получалось, что всем было понятно: вот талантливый и порядочный человек, который делает нас добрее и чище. Гердт превратился в глазах людей в нравственный эталон. И отношение к нему от бывшего радостного узнавания подня-

лось до подлинной всенародной любви. Тем самым Гердт занял свое особое место в российской культуре.

Спустя год после Зяминого ухода в больницу, где мне нужно было прооперироваться, жена услышала, как пробежавшая по коридору медсестра взволнованно закричала: «Знаете, кого сейчас будут оперировать? Племянника Гердта!»

Последняя Зямина осень в Пахре. Сидя с очередными гостями на веранде во главе стола, как обычно, выпивает рюмочку, оживленно ведет беседу, шутит, пускает свое знаменитое «ха-ха-ха». И вдруг внутри него щелкает какой-то тумблер – мгновенно уходит в себя, лицо абсолютно отрешенное, незнакомое. Пока гости курят, уединяется на диване. Сажусь рядом. «Мало сделал», – произносит Зяма. Говорю: «Подумайте, а много ли найдется в Москве людей вашего возраста, с которыми молодых талантливых ребят так тянуло бы пообщаться?» Он молчит, потом отвечает устало: «Пожалуй, ты прав». Но мысли где-то далеко. Подведение итогов – дело тяжелое...

Свою миссию, как и Зяма, Таня тоже исполнила до конца. Когда обсуждался сценарий вечера, посвященного его восьмидесятилетию, Зяма упрямо требовал, чтобы Таня была рядом с ним на сцене. Когда же она от этой не свойственной ей роли категорически отказалась, разразился жуткий скандал, режиссер был в шоке, а программа висела на волоске. В конце концов разум взял верх, Зяма признал свою неправоту, а Таня за кулисами осуществляла его физическую и психологическую поддержку.

Те, кто смотрел передачу по ТВ, очевидно, поняли, что прощаются с Гердтом, а когда в конце вечера он, уже никем не поддерживаемый, вышел на сцену, это выглядело чудом.

Да оно и было чудом, потому что никаких сил стоять на ногах у него не было, а держался он, как выразилась Таня, на «кураже». И подобно олимпийскому чемпиону, концентрирующему всю свою энергию перед решающим полетом над планкой, Зяма, твердо стоя на авансцене, пронзительно завершил встречу словами своего любимого друга Дезика Самойлова:

*О, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую...*

Мало кому это удастся, но Гердту – удалось: он ушел на своей высшей точке.

О Петре Тодоровском

С Петей Зяма познакомился очень просто. Тодоровский решил ставить фильм по сценарию Александра Володина под названием «Загадочный индус» (картина потом получила название «Фокусник»). Выбрав Зяму на роль сатирика (ту, что потом сыграл Владимир Басов), Петя оставил на служебном входе театра Образцова сценарий для него. Прочитав дома сценарий, Зяма вручил его мне. Закончив чтение, я сказала: «Мне кажется, ты должен играть здесь совсем не сатирика. Ты – этот самый фокусник».

При встрече Зяма сказал Пете, что сценарий безусловно замечательный... Завязался разговор, после которого на следующий день Петя позвонил Зяме и сказал: «Вы знаете, я хочу, чтобы вы играли главного героя, Кукушкина». Зяма засмеялся, и Петя спросил: «Почему вы смеесть?» – «Потому, что Таня сказала мне то же самое».

Дальше у Пети начались большие сложности с осуществлением этого проекта. 1967 год был не самый плохой, но и не самый лучший для того, чтобы еврей играл главного героя, но Петя стоял на своем. Были сделаны пробы, выбран паричок, грим... Зяму удалось-таки отстоять.

Съемки шли своим чередом, когда Петя вдруг сказал: «Давайте соберемся! На гитаре поиграем...» Зяма, очень удивившись, спросил: «А вы играете на гитаре?» Ответом Пети было: «Но как!» И далее общение их было неразрывным до конца Зяминых дней.

Их связывала не только работа – Петя снимал Зяму ещё и в «Городском романсе», и в «Военно-полевом романе», – но и постоянная нужда друг в друге, обоюдная восхищенность музыкальностью каждого, одна стилистика юмора.

Мы дружили семьями, общались повседневно. Во время съемок «Городского романса», которые происходили рядом с нашим домом в Новых Черемушках, Петин сын – четырехлетний Валера (сегодня маститый Валерий Петрович), оставленный на попечение няни нашей дочки Кати, которая уже ходила в первый класс, в ожидании ее прихода из школы прибегал каждые пятнадцать минут на кухню с вопросом: «Тетья Нюра, сколько часов?» Дети продолжают общаться и сегодня. А я твердо знаю, что и Пете, и его жене Мирре недостает Зямы и я могу на них положиться.

Петр Тодоровский**О, МАЙН ГЕРДТ!**

Ночь. Зима. Две человеческие фигурки в окружении толстенных колонн Большого театра кажутся совсем крохотными, придавленными, одинокими.

– Мой муж, – звучит под сводами голос «Прекрасной женщины» (актриса Алла Ларионова), – переживал всё важное

и неважное. Он получил инфаркт и умер. Дайте мне слово, что вы не будете таким!

– Даю. Я буду жить вечно! – разносится чуть хриловатый, до боли узнаваемый голос любимого артиста.

Это – Зиновий Гердт (эпизод кинофильма «Фокусник»).

И действительно, невозможно было представить, что этот великий жизнелюб, остроумный, доброжелательный, невероятно талантливый человек когда-нибудь уйдет из жизни. Главный его талант – всегда оставаться человеком. А это уже подвиг!

Всякий раз, выходя из своей дачи на Южную аллею, мне кажется, что вот-вот из знакомого переулочка появится фигурка Зямы. В своей неизменной кепочке, которая ему очень шла; он отставит чуть в сторону свою левую изуродованную войной ногу, дождетя, пока я подойду, и обязательно произнесет: «Интуиция, дорогой Петя, рождает невероятные фантазии. Как ты догадался, что я направляюсь к тебе?»

Эх, Зяма! Если б ты только знал, как мне не хватает тебя... Не хватает наших прогулок, разговоров, твоих размышлений по поводу сценария, который я собираюсь ставить, твоих шуток, импровизаций, не хватает твоих стихов, необыкновенной музыкальности и просто человечности.

Наше знакомство произошло совершенно случайно. (Хотя что бывает случайно в этой жизни? Ведь случайность, как нас учили классики, это часть закономерности.) Подхожу как-то к проходной студии и вижу: навстречу мне идет сам Гердт, которого я, конечно, знал и как замечательного эстрадного артиста, и как знаменитого кукольника, а уж после фильма «Фанфан-Тюльпан», где его закадровый, ни на чей не похожий, притягивающий своим интимным обаянием голос придал фильму типично французский шарм, а его интонация как нельзя лучше соединилась с жанровым решением всего фильма, Зиновий Гердт стал знаменитым на всю страну.



Ну вот. Протягиваю невольно руку, представляюсь. И вот что говорит мне знаменитый актер: «Если вы такой же добрый, как ваш фильм «Верность», считайте, что мы с вами давно и хорошо знакомы».

...Потом последовали тридцать лет счастливой дружбы с Зямой, с его очаровательной Татьяной Александровной, с Катей, с этой поистине интеллигентной, хлебосольной, замечательной семьей, с их многочисленными друзьями, невероятно интересными людьми, зачастую не имеющими никакого отношения к искусству.

Однажды мы с Зямой ехали к нему на дачу на его стареньком, вáренном-переваренном «Москвиче». В этой «коломбине» любой звук отдавался, как в пустой цистерне. Ехали мы, кажется, после какого-то сабантюя, слегка поддатые... Вот едем мы, значит, по пустынной зимней дороге где-то во втором часу ночи и то ли от избыточной энергии, то ли от фонтанирующего жизнелюбия в две глотки орем «Очи черные», Зяма – первым, я – вторым голосом. Дуэт! И, видимо, из-за отсутствия аккомпанемента Зиновий начинает жать на педаль газа в такт нашему пению... Машина несется рывками: то как взбесившаяся лошадь, то вдруг останавливается посреди дороги, когда мы уж слишком затягиваем последнюю ноту. Эта система аккомпанемента нам так понравилась, что, не доехав до дачи километров шесть, в моторе что-то забарабанило, машина дернулась и, заглохнув, остановилась. Полетело сцепление.

Ночь. Мороз градусов пятнадцать. Вокруг ни души. Стали рыться в багажнике в поисках троса (Зяма утверждал, что у него должен быть еще не распечатанный импортный трос), но его в багажнике не оказалось... Две-три случайные машины готовы были взять нас на буксир, но и у них не было троса (в те времена водители не боялись останавливаться посреди ночи!).

Так мы, замерзшие, просидели в ледяной машине до шести утра, пока водитель полуторки (у него нашелся толстый канат), узнав артиста, не отбуксировал нас на дачу.

Проснулись мы за полдень, разбудил сосед по даче (у него не завелась машина, попросил прикуриватель). Помню, открыв багажник, первое, что я увидел, – новенький, в яркой упаковке французский трос... Мы долго смеялись!

В 1967 году мы с Зямой снимали фильм «Фокусник» по сценарию замечательного драматурга и еще более замечательного человека Александра Володина.

Гердту была предложена роль сатирика, которую впоследствии блестяще сыграл Владимир Басов. Как сейчас помню, подъехали мы к театру Образцова (тогда он еще стоял на Тверской). Мой ассистент по актерам пошел в театр, чтобы узнать, прочел ли Гердт сценарий и готов ли он

к разговору со мной. Сажу в машине, жду. Неожиданно распахивается дверь театра и к машине без головного убора, в одном пиджачке, ступая по скрипучему снегу, направляется Гердт.

...Мы беседовали долго. Зиновий хвалил сценарий, восторгаясь замечательно выписанной ролью главного героя, завидовал актеру, которому будет предложена роль фокусника.

Слушая его, я вдруг подумал: вот передо мною сидит совершенно незаигранный, очень своеобразный, не примелькавшийся на экране актер (в памяти нашего поколения еще сохранились образы цирковых эстрадных актеров тридцатых годов, которые придумывали себе экзотические псевдонимы вроде Лео, Арго и прочие...). Я слушал Зиновия и вдруг подумал: так вот же он, фокусник!

...Потом вся съемочная группа была в гостях у Гердтов. (У них тогда была крохотная двухкомнатная квартирка в хрущевском доме.) Это был, может быть, один из самых веселых вечеров в нашей жизни: гитара, песни, анекдоты и... стихи. Зиновий читал запоем и все на заказ: Блок? Пожалуйста! Пастернак? Ради Бога! А Пушкина – всего, всего. Потом выяснилось, что у Зямы идеальный музыкальный слух. Стоило мне что-то начать играть, как он тут же подхватывал мелодию вторым, а то и третьим голосом (обстоятельство, которое нас еще больше сблизило).

И вот снимаем мы «Фокусника». Изю дня в день, с утра до позднего вечера, и всё по зимней Москве. И, как часто бывает у нас в кино, простаиваем: то забыли на студии костюм для актера, то забарахлила камера на морозе, то еще что-нибудь. Актер загримирован, сцена отрепетирована, а снимать не можем – не приехал лихтваген, осветители не могут дать свет...

Такой, знаете, обыкновенный маразм, когда всё готово к съемке, а снимать нельзя. И съемочный день зимой короткий, и план рушится (по тем временам невыполнение плана лишало группу премиальных).

Топчемся мы, значит, постукиваем каблуками, швыряем друг другу ледышки в ожидании злополучного лихтвагена. И как-то незаметно начинаем с Зямой словоблудить на мелодию популяр-



*Зиновий Гердт и Ольга Гобзева
в фильме «Фокусник». 1967*

ной по тем временам песни Никиты Богословского: «Он ее целовал, уходя на работу...» И пошли импровизации: «...Он ее иногда, уходя на работу, а когда приходил, он ее никогда», или: «Он ее как-то раз нехотя на работе, а потом приходилось почти каждый день», «Он ее запирали, уходя на работу, а когда приходил, отпирать забывал...» и тому подобное...

А вскоре театр Образцова уезжает на гастроли в Ленинград. Нам ничего не остается, как следовать за главным героем фильма.

Жизнь Зиновия Ефимовича в Ленинграде складывалась непросто: целый день у нас на съемочной площадке, вечером – спектакль (иногда и дневной), радио, телевидение...

Однажды мы снимаем сцену «Салон интеллектуалов», съемки в мастерской художника Ланина. Это большая трехкомнатная квартира, стены снесены, образуя обширное пространство, увешанное иконами, окладами, предметами старинной утвари, карнизами – всё, естественно, вывезено из северных деревень!..

В восемь утра Гердт уже в гриме, сцена отрепетирована, даю команду: «Мотор!» – и вижу, как Зиновий Ефимович, хватаясь за сердце, с криком валится на диван.

...Кто-то сует ему в рот нитроглицерин, кто-то вызывает по телефону «Скорую»... В мастерской повисло страшное слово: инфаркт.

Наконец, в мастерскую входит плотный, розовощекий, с огромным лбом, без паузы переходящим в лысину, доктор. Он просит мужчин поудобнее уложить Гердта, снимает кардиограмму, и пока медсестра делает Зяме укол, доктор набирает номер телефона, чтобы договориться о госпитализации больного. И представьте себе, человек не выговаривающий

букву «Р», в зловещей тишине произносит следующую фразу: «ЗдРавствуйте! С вами Разговаривает Врач карДиологической бРигады ДзеРжинского РайздРавотдела гоРода геРоЯ ЛенингРада РапопоРт АРоН АбРамович».

И вдруг раздается веселый смешок. Выслушав тираду врача, где почти в каждом слове была буква «Р», Зиновий не удержался и рассмеялся...

Помню, сносили Зяму на носилках по узкой лестнице (лифт не вмещал носилки). Я шел следом, у его изголовья. Не-



ожиданно Гердт задирает ко мне голову и тихо: «Петя, есть вариант! Он ее целый день, не ходя на работу».

Какое счастье! Значит, будет жить курилка!

Приглашение Гердта на роль фокусника было большой удачей.

Дело в том, что знакомство Зиновия Ефимовича с автором сценария Александром Володиным произошло в Ленинграде, в разгар съемок фильма. По случаю такого события мы втроем зашли ко мне в гостиничный номер, на стол была поставлена бутылка армянского коньяка...

Естественно, пошли разговоры о характере главного героя. Кто он? Что собой представляет как личность, какова его жизненная позиция и, конечно, его отношение к женщинам?..

Не помню уже, кто из них первый, кажется, Володин, начал читать Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь...» Неожиданно Гердт подхватывает: «Не надо заводить архивы, над рукописями трястись...» – уже в два голоса декламируют автор сценария и актер, играющий главную роль.

Дальше были только стихи. Взахлеб, перебивая друг друга, стоя они читали Заболоцкого, Мандельштама, Цветаеву, Самойлова... Разгоряченные, словно пронизанные вспышкой молнии, как это случается при любви с первого взгляда, они упивались поэзией, радостью узнавания друг друга... Я сидел с разинутым ртом, лишь успевая переводить взгляд с одного на другого, и понимал: это было начало большой человеческой дружбы.

Думаю, знакомство Гердта с Володиным помогло ему в работе над образом фокусника. Ведь в этом образе Володин, конечно же, изобразил самого себя. Можно считать, что Зиновий Ефимович сыграл самого Володина, его совершенно отдельный характер, его своеобразное видение мира и, главное, его кристально чистую жизненную позицию.

Ведь фильм был о человеке, который готов потерять в жизни всё: работу, «прекрасную женщину» и, может быть, даже собственную дочь, но сохранить свое человеческое достоинство (что резко не понравилось прошлому кинематографическому начальству!), оставаться самим собой, быть верным своей жизненной платформе.

Вторая встреча с актером Гердтом у меня произошла на съемках фильма «Городской романс». В этой истории была выписана эпизодическая роль «лучшего Гитлера III Белорусского фронта». Я долго не решался предложить Зиновию эту роль. Актер крупный, роль маленькая, согласится ли?

Согласился. Когда на эпизодическую роль приходит большой актер, приходит личность, то образ маленького человека, плановика-экономиста, который в годы войны пел солдатам неизменно на «бис» смешные и язвительные куплеты про Гитлера, а среди таких же исполнителей

считался «лучшим Гитлером III Белорусского фронта», становится в ряд с главными персонажами фильма, вырастает в яркую, порой драматическую фигуру, в человека, олицетворяющего послевоенное время. Он весь в прошлой жизни, но тогда он был востребован и, главное, молод!

В одном эпизоде Гердт так и говорит: «Эх, молодость! Как легко быть счастливым в молодости!»

Моя третья встреча с актером Гердтом случилась на фильме «Военно-полевой роман». И снова небольшая роль администратора окраинного кинотеатра, и снова Гердтом сыграна яркая человеческая судьба.

В годы войны он спасает от голода молодую женщину. Он любит ее, но теперь, после войны, понимает: женщина живет с ним только в благодарность за прошлое... Он боится потерять любимую женщину, каждую минуту ждет, что она может оставить его. Под психологическим прессом Зиновий Гердт блестяще проживает эту драматическую историю.

Так что знаменитая сентенция о том, что не бывает маленьких ролей, а бывают маленькие актеры, еще раз убедительно подтвердил своим мастерством замечательный, дорогой моему сердцу Зяма Гердт.



Однажды мы с Зямой полетели на Кубу: в Гаване шла ретроспектива моих фильмов. Делегация – два человека: я – руководитель, Зяма – делегация! На всю жизнь осталась в памяти эта изумительная поездка, эти солнечные дни, проведенные с Зямой. Ну, во-первых, кто бы к нам ни обращался, какие бы вопросы на многочисленных встречах со зрителями, на пресс-конференциях ни задавали, Гердт поначалу отшучивался; мол, вот мой руководитель, он всё знает, за

всё отвечает, а я рядовой член делегации. «Петр Ефимович! Разрешите отойти ко сну? Петр Ефимович! Позвольте мне одному прогуляться по набережной? Разрешите ответить на заданный вопрос?..»

А я ему: «Хоть вы, Зиновий Ефимович, и пребываете в дружественной нам стране, но имейте в виду: шаг вправо, шаг влево – побег, прыжок вверх – агитация!»

...Гуляем мы с Зямой по дачному поселку. Встречаем Эльдара Александровича Рязанова.

– Завтра, – говорит Эльдар – семидесятилетие Михаила Ромма. Давайте что-нибудь сочиним ему!

– Есть идея! – воскликнул Гердт. – Мы сочиним куплеты завистникам с электрички Москва – Потылиха.

Не откладывая в долгий ящик, идем на дачу к Гердту. Беру гитару, наигрываю известную мелодию, которую пели калеки, слепые, нищие в электричках после войны. Через два часа куплеты были сочинены.

Вот некоторые из них:

*Послушайте, граждане, дамы, мужчины,
Мы жить здесь не будем елей.
За что? Почему? По какой же причине
Устроили сей юбилей?*

*Был смолоду Мишика смысленый парнишка,
Парижскую книжку извлек,
У Ромма у Мишки хватило умишки:
Он сдобную пышку испек.*

*А как юбиляр поступил с Кузьминой,
Пусть знает советский народ.
Он сделал артистку своею женою,
Все делают наоборот.*

*Художник меняет любовные фазы
От переполнения чувств,
А он с Кузьминой не развелся ни разу,
Какой он работник искусств?!*

*И только однажды всю силу таланта
Он в кинокартину вложил,
Когда с Козаковым на улице Данте
Убийство одно совершил.*

*В картине своей полудокументальной,
Где в общем-то есть артистизм,
Он всем показал нам довольно банальный
И обыкновенный фашизм.*

*Естественно, Ромм все покроет банкетом
На тысячу новых рублей,
Но так как мы правду пропели в куплетах,
То нам не сидеть средь гостей.*

*Пойдем же к буфету и а ля фуршетом
Отметим его юбилей.*

Семидесятилетие Михаила Ромма отмечали на уровне всего лишь заместителя министра кинематографии, так как незадолго до этого будущий юбиляр вместе с Твардовским и Тендряковым подписал письмо в защиту Жореса Медведева, посаженного в психушку.

Сцена Дома кино, где чествовали юбиляра, была завалена дерматиновыми папками, не более. Когда же мы втроем – Гердт, Рязанов и я – пели эти куплеты, в зале стоял несмолкаемый хохот. Кузьмина, вытирая слезы, жестами просила дать передышку, так что нам приходилось после каждого куплета останавливаться.

Что-то подобное Гердт когда-то сочинил к юбилею Леонида Утесова. Запомнился мне лишь один куплет:

*...другие мальчишки играли в картишки,
Рогаткою целились в глаз,
А этот пацанчик стучал в барабанчик,
Хотел Государственный джаз.*

Мы с Зямой идем мимо вереницы свободных такси (невероятное зрелище по тем временам)! Помните, километр проезда в такси стоил аж десять копеек! И вдруг повышение – двадцать копеек! И вот москвичи, не сговариваясь, два-три дня игнорировали такси – небывалое единение. В городе полно свободных такси!

Ну вот. Идем мы с Зямой мимо вереницы свободных машин. Шофер одной из них кричит Гердту: «Хозяин, поехали?!» Гердт, не останавливаясь, с ходу: «Нет-нет! Я – в парк!»

Как-то захожу к нему на дачу, вижу, сидит Зяма во дворе за столиком под тентом, а на столе толстенная, немножко уже потрепанная книга. «Что читаешь?» – спрашиваю. Гердт взглянул на меня и, словно оправдываясь, говорит: «Пушкина».

Пушкина, которого он мог читать наизусть от корки до корки! И вот сидит восьмидесятилетний человек и читает Александра Сергеевича.

Я думаю, разбуди Гердта в три часа ночи и спроси: «Ну-ка, Зяма, седьмая строка из поэмы Давида Самойлова «Снегопад»?» И можете не сомневаться – он тут же начнет с седьмой строки.

Это был замечательный человек, великий актер, великий знаток и ценитель российской словесности, широкой души, умница и талантище.

Прошло уже почти пять лет, как тебя нет, но ты, Зяма, и сейчас живее всех живых. Помнишь, я тебе сочинил к семидесятилетию:

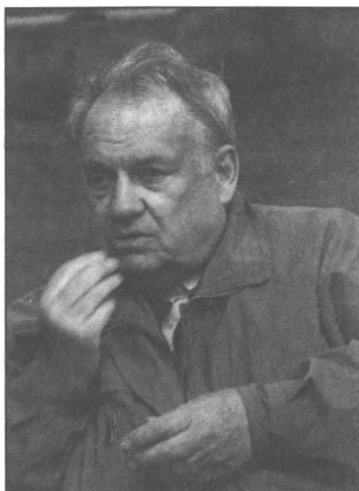
*Зяма, ты непотухший Фудзияма,
Зяма, тебе творить и долго жить,
Зяма, твой предок явно обезьяма,
Спасибо, Зяма, как хорошо с тобой дружить!*

Спасибо тебе за все хорошее!

Об Эльдаре Рязанове

Очень странная вещь: оказалось, что рассказывать о близких людях (знаменитых и нет), с которыми продолжайешь общаться повседневно, гораздо сложнее, чем о тех, с кем видишься редко, или о тех, с кем, к несчастью, не увидишься никогда.

Поэтому в помощь себе приведу слова Гердта об Элике, написанные им в 1987 году в статье «По поводу одного "По поводу..."»: «Детскость, абсолютное неумение врать, не деланная, а природная раскованность, натуральный демократизм и многое прочее из таких же категорий...»



И ещё: «Дело в той необъяснимой вещице с названием «Дар». Поразительное, редкостное человеческое свойство, отданное носителем всему обществу и, таким образом, становящееся национальным достоянием...»

Характеристика чрезвычайно высокая, но замечательно то, что она необыкновенно справедлива.

Какой Элик товарищ!

Вообще кто такой – товарищ? Я думаю, что это действующий друг. То есть не просто расположенный, любящий тебя человек, а человек, с совершенной естественностью принимающий участие в твоей жизни. Его не надо просить.

Он товарищ и в семье. Я знаю всех его жен. Все они замечательные женщины. После долгой супружеской жизни с Зоей, с которой соединился еще в юности, Элик так достойно расстался с ней, что они до конца дней (к сожалению, не так давно Зои не стало) были друзьями. А второй своей жене, Нине, редкостной любви, отслужил с нежностью и преданностью так, что нам, завидуя, следует этому учиться. Ничуть не умаляя и не предавая памяти покойной Нины, ни с кем не советуясь, будучи верен только внутреннему своему чувству, Элик женился на удивительной Эмочке. Внешне шумная и решительная, Эмма Валериановна на самом деле человек чрезвычайно тихий и тонко чувствующий. Так что не только талантливый, но умный и добрый Эльдар Александрович опять правильно влюбился и привел в круг друзей настоящего товарища.

Элик не может быть без дела. Несмотря на полную неразбериху и смещенность понятий в нашей сегодняшней жизни, у него есть позиция – творчество. Не важно, что это – кино, стихи, проза. Поэтому он оптимист и рядом с ним легче дышишь и крепче стоишь. Уверена, так будет до конца. Дай Бог ему и всем нам.

Эльдар Рязанов

«ТЫ ЗНАЕШЬ, МЫ БЫЛИ ВПОЛНЕ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ...»

Зялочка, Зяма, Зиновий Ефимович. Одним словом – Гердт.

Мы подружались году эдак в 1967-м, когда они с Таней купили дачу на Пахре и мы стали соседствовать.

Я Зяме очень обязан тем, что он открыл мне Бориса Пастернака, приобщил к его стихам.

Вообще стихи были, пожалуй, одной из главных точек нашего соприкосновения. Мы даже сочиняли вместе всякие дурацкие вирши, в основном для юбилеев наших замечательных, любимых нами деятелей искусства, хотя всерьез этим никогда не занимались.

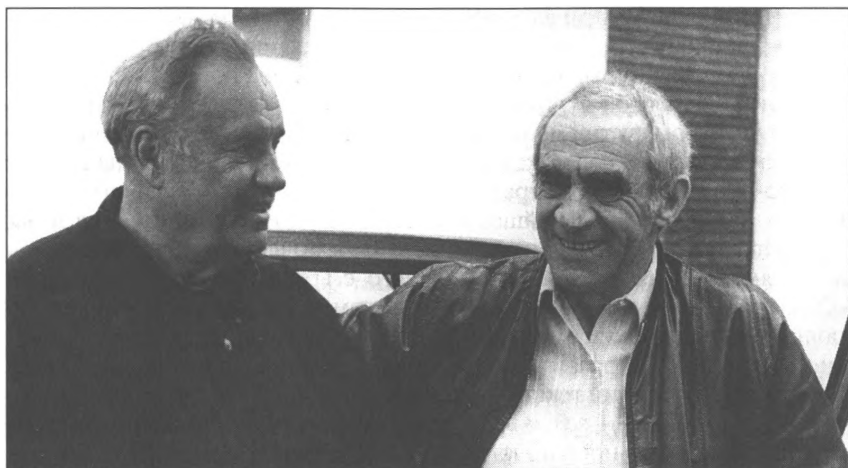
Помню, во время «пражской весны», летом 1968 года, мы гуляли по пахринским аллеям и валяли дурака:

*Епишев и Гречко
вышли на крылечко,
завели гуманный разговор:
мол, что это за субчик
Александр Дубчек?..*

И что-то дальше в этом роде... Нам казалось тогда, что чехам удасться выскочить из соцлагеря. Но когда наши танки обрушились на Чехословакию, мы смолкли. Стало не до шуток. Было горько и стыдно осознавать свою принадлежность к стране палачей...

В 1969 году мы оба бросили курить, поддерживали друг друга в этом, но Зяма оказался слабаком, а я удержался и держусь до сих пор.

Потом был семидесятилетний юбилей Михаила Ильича Ромма, который олицетворял для нас совесть кинематографа. Мы решили сочинить для него куплеты. Но не панегирические, а, наоборот, как бы разоблачительные. В этих незатейливых стишках мы якобы выводили Ромма на чистую воду. Назывались они «Куплеты завистников» и исполнялись на расхожий мотив, что поют нищие в электричках. Вышли на сцену До-



ма кино втроем, аккомпанировал Петя Тодоровский. Вообще-то его профессия – кинорежиссер, но он необыкновенный музыкант-самородок.

Наше выступление не прошло незамеченным. И когда Юре Никулину стукнул полтинник, мы с Зямой взгромоздились на сцену ЦДРИ с куплетами в честь великого клоуна. Правда, стихотворный размер и мелодия были теми же, что и для Ромма. И даже некоторые строфы, имевшие обобщающий характер и где осуждались организаторы очередного юбилея, что, мол, устраивают его слишком рано, тоже остались неизменными.

Вот один из куплетов о Никулине:

*Когда он вернулся с войны переростком,
в искусство пытаясь пролезть,
театры Москвы защитили подмости,
за что и хвала им, и честь...*

Наше безоблачное дружество продолжалось долго, лет пятнадцать. Ходили друг к другу в гости, отмечали вместе новогодние праздники, не пропускали дни рождений. Один из любимых рассказов Зямы был о том, как на день рождения Тани, который приходился на 9 мая – День Победы, меня выкрали из клиники лечебного питания, где я худел. Хлебосольный стол, орава гостей, уйма спиртного. А я на жесткой диете, уже похудел килограммов на двенадцать. За столом я очень активно осуждал обжорство гостей, стыдил их за неумеренную страсть к закуске. Сам, разумеется, не пропускал ни одного тоста, каждый раз пил до дна, но закусывал всего-навсего тоненьким ломтиком зеленой редиски – кто-то привез ее на пиршество из Средней Азии. Конечно, я совершал своеобразный подвиг и, как водится, подпирал его идеологическими высказываниями. Упился как

никогда в жизни. Но при этом продолжал витийствовать о пользе голодания, заплетающимся языком воспевал воздержание... Что происходило дальше, я помню плохо. Больше по рассказам. Жена повезла меня обратно в клинику лечебного питания. И зажав в кулаке рубль, чтобы сунуть вахтеру, дабы он пустил меня обратно в больницу, я чудовищными зигзагами, спотыкаясь и падая, кое-как добрался до койки в своей палате. Не помню, что я вытворял за праздничным столом своих друзей, но это почему-то произвело сильнейшее впечатление на именинницу и ее мужа. Они регулярно вспоминали об этом случае и почему-то всегда смеялись.

Зяма был на первой читке нашего с Гришей Гориним сценария «О бедном гусаре замолвите слово...». П отом он сыграл в нем небольшую роль продавца попугаев, запуганного и замордованного российским антисемитизмом. Сыграл, как всегда, сочно, смешно, трогательно. Эта работа да еще авторский текст в фильме «Старики-разбойники», прочитанный им виртуозно, – вот и вся наша совместная творческая работа, не считая самодеятельности, о которой я уже упоминал.

Зяма был очень разборчив в знакомствах. У них за столом никогда нельзя было встретить человека хоть с мало-мальски сомнительной репутацией. Как-то инстинктивно, а может, вполне сознательно в их жизни существовал какой-то отборочный фильтр. Зяма и в еще большей степени Таня, которой свойственна некоторая категоричность, всегда очень чутко реагировали на несправедливость, нечистоплотность, недобросовестность как идеологическую, так и личную. В их доме я познакомился и сдружился со многими порядочными людьми.

Зяма очень любил произносить тосты и, обладая литературным дарованием, вкладывал его в монологи о друзьях. Тосты были многословны, остроумны, замысловаты, но всегда сердечны. Правда, чем дольше продолжалось застолье, тем менее связной становилась речь хозяина. Но это не делало его менее привлекательным...

Однажды у нас с Зямой произошла страшная размолвка. Ссоры не было, просто я прекратил с ним дружеские отношения. Перестал звонить, приходиться в гости. Как бы отрезал его, вычеркнул из своей жизни. Случилось это вот почему. В 1984 году я закончил свою киноленту «Жестокый романс». Картина встретила восторженный зрительский прием и резкую отповедь критики. Практически все газеты – «Правда» в статье М. Швыдкого, «Труд» пером В. Вишнякова, «Литературная газета» устами Е. Суркова, Д. Урнова, Вл. Гусева, «Советская культура» опусом В. Туровского, «Комсомольская правда» откровениями А. Дроздина – не оставляли от фильма и от меня как постановщика камня на камне, размазывали по стенке. А в это же время в лавине зрительских писем – пожалуй, их при-

шло около двух тысяч – выражались благодарностью, восторги, писались добрые, душевные слова, содержались самые высокие оценки ленты. Несовпадение мнений многих критиков и публики было невероятным.

К сожалению, Зяме моя лента не понравилась. Но узнал я об этом не из личной беседы, хотя мы встречались регулярно, а из телевизионной программы «Киноафиша», в которой Гердт был ведущим. Он поведал о своем неприятии «Жестокое романса» многим миллионам людей. Это поразило меня.

Естественно, Зяма имел право на свое мнение, и, конечно, ему могла не понравиться моя кинокартина, причем любая. Это никак не повлияло бы на наши отношения, если бы он сказал об этом мне лично. По моим моральным правилам, я сам никогда не выступил бы публично с неприятием произведения своего друга, товарища, единомышленника. Я сообщил бы ему об этом только наедине. Может быть, даже и умолчал, дабы не наносить травму близкому человеку. Выступить же публично с критикой, особенно тогда, когда шла всесоюзная травля фильма, и присоединить свой голос казалось мне чудовищным, недопустимым. Обида была нанесена смертельная, и я прервал с Зямой всяческое общение.

Зиновий Ефимович, видимо, решил, что я воспринимаю только хвалебные отзывы и оскорбился потому, что ему не понравилось мое произведение. Но дело было не в этом – далеко не все мои ленты ему или иным друзьям нравились, однако это никогда не имело для меня значения. Огорчался, конечно, но и всё. На нашу дружбу подобные ситуации никак не влияли.

Несколько лет мы не общались, хотя при встречах, конечно, раскланивались.

Когда пришел юбилей Зямы – семидесятилетие, Петя Тодоровский, очевидно, не зная о наших рухнувших взаимоотношениях, предложил, чтобы мы по традиции написали и спели на вечере в Доме кино «Куплеты завистников», подобные тем, что мы исполняли на юбилеях М. Ромма и Ю. Никулина. Я превозмог себя, ибо любил Гердта. Мы сочинили частушки и среди многих спели и такую:

*Войну на себя он работать заставил,
как пользу извлек он хитро:
нарочно он ногу под тулю подставил,
чтоб ездить бесплатно в метро.*

Но я не остался на банкет, не подошел к юбиляру, не поздравил его лично, видел его только со сцены. Как бы выполнил долг и ушел.

Размолвка продолжалась. Но мы оба горько страдали от этого...

И все же мы нашли в себе силы распутать сложный узел, оказались мужчинами в трудной ситуации. Наша дружба в последние годы стала особенно нежной и крепкой...

Я уже говорил, что у Зямы и Тани был открытый дом. В новогодние праздники десятки людей чередовались за накрытыми столами, и среди них были не только знакомые. Однажды около трех часов ночи один из гостей обратился к Тане:

– Простите, а вы кто будете?

– Я вообще-то хозяйка, – ответила Таня. – А вы кто?..

А потом началась болезнь. Таня скрывала почти от всех эту страшную тайну. Зяма по-прежнему ездил на съемки, на творческие выступления. Но теперь Таня всегда сопровождала его, готовая в любую минуту прийти на помощь.

Прежде Зяма, который никогда не жаловался на здоровье и на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» – неизменно отвечал: «Шикарно!», стал вдруг признаваться, что самочувствие у него неважное.

В августе 1996 года, за месяц до восьмидесятилетия моего друга, я понял, что обязан сделать о нем телевизионную программу, чтобы ее показали в день юбилея, 21 сентября.

Постепенно все близкие узнали о его болезни. Угасание шло неумолимо. Мы часто навещали его в этот период и вместе с моей женой Эммой были свидетелями, как день ото дня жизнь уступала, давая дорогу смерти...

Помню, как он, известнейший, любимейший актер, фронтовик, мечтал о маленьком автомобильчике с автоматической коробкой передач. У него не сгибалась нога, и водить такую машину ему было бы значительно легче. Когда он был смертельно болен, угасал, удалось, наконец, купить ему машину с такой коробкой скоростей. Он мечтал выздороветь и поездить на ней. Однажды, после того как я навестил его и собрался уходить, Таня сказала:

– Зяма, что ты стоишь? Иди, открой гараж и отвези Элика домой.

Таня в мучительные месяцы его страданий вела себя потрясающе. Она знала, что болезнь неизлечима, что дни Зямы сочтены, но она не делала из него больного. Хочешь курить – кури, хочешь выпить рюмку – выпей, она его не ограничивала в том, что было как бы вредно. Но что могло быть вредным для человека, чья жизнь кончалась? Зяма открыл гараж, вывел маленький «опель» и отвез меня к дому, до которого было триста метров. Потом развернулся и уехал обратно. Я долго смотрел ему вслед.

Как-то я его спросил:

– Зяма, а что ты хотел бы такого, чтобы еще исполнилось в твоей жизни?

Он ответил, как ребенок:

– Знаешь, я хотел бы пожить еще немного, чтобы можно было поездить на этом чудесном автомобиле с автоматической коробкой скоростей. Это волшебно, он стоит на горке, а я не нажимаю на тормоз...

У меня сдавило горло:

– Ты обязательно поездишь, Зяма, обязательно.

Я не врал тогда во спасение, я верил, что чудо еще возможно, но...

Чуда не свершилось...

Телевизионная съемка была назначена на первые числа сентября. Я тревожился, как она пройдет, ибо Зяма был уже очень плох. Но когда он вышел в сад к съемочной группе, где уже были установлены камеры и софиты, я был поражен. Перед нами предстал элегантный, я бы сказал, франтоватый, безупречно одетый артист. На нем был галстук-бабочка и, как всегда, черные туфли (обувь другого цвета он не признавал и никогда не носил). Я же пришел на беседу к другу без галстука, и Зяма распорядился, чтобы мне выдали галстук из его гардероба. Сам выбрал тот, который лучше всего подходил к моему костюму, и подарил мне его. Я этот галстук теперь надеваю в тех случаях, когда иду на торжество к кому-нибудь из дорогих мне людей.

Передача была показана 21 сентября вечером по первой программе. Но больной организм юбиляра, утомленный шумихой, потоком поздравителей, вручением ордена, нахлынувшими друзьями, не выдержал нагрузки, и Зяму уложили в постель. Когда по «ящику» показывали нашу программу, он спал. В это же самое время на даче за сдвинутыми столами человек, пожалуй, семьдесят, а может, и поболее отмечали восьмидесятилетие Зямы. Виновник торжества в соседней комнате был погружен в глубокий сон и не слышал тех нежных, красивых слов, которые звучали в его честь на этом печальном и одновременно веселом празднике...

Наша телевизионная беседа показалась мне очень живой и насыщенной информацией. Зяма разговорился и поведал немало нового о себе. Многие в передаче не вошло из-за жесткого лимита времени, который ОРТ не изменило даже ради смертельно больного народного артиста. Я хочу привести здесь запись нашей дружеской «болтовни», ибо моим собеседником был умный, ироничный, тонкий, веселый, легкий, блестящий человек. Зиновий Ефимович как профессионал высочайшего класса при виде телевизионных камер и осветительных приборов словно напрочь забыл о страшном недуге и провел разговор безупречно: оживленно, с юмором, говорил точно, афористично, метко, свободно шутил. Но как только выключились съемочные аппараты и погасли софиты, куда всё подевалось!?

Это была для меня очень трудная беседа. Я знал, что разговариваю с обреченным человеком, причем очень близким и любимым. Но показать, что я знаю о смертельности недуга, нельзя было ни в коем случае. Надо было сохранить обычную беспечность, шутливость, дурошлепство, свойственные нашему обычному общению.

Конечно, при чтении пропадут неповторимые гердтовские интона-

ции, необыкновенный тембр его голоса, которым говорили с экрана многие зарубежные и отечественные актеры, который звучал в образцовских спектаклях, проникал в души при чтении закадрового авторского текста в кинофильмах. И все-таки из этой беседы – его последнего телевизионного интервью – мы узнаем неизвестные факты из его, казалось бы, всем известной жизни. Поэтому я приведу большую часть нашего разговора, ибо никто не расскажет о себе лучше, чем сам Зяма. Иногда я буду сопровождать некоторые фразы ремарками, но в основном это будет стенограмма интервью, которое состоялось ранней осенью на его дачном участке...

– Здравствуйте, дорогие мои телезрители! Герой сегодняшней нашей программы – мой близкий друг. И, признаюсь, я отношусь к этому человеку крайне неравнодушно.

Поэтому, несмотря на то что он достиг весьма почтенного возраста, уж извините, я буду обращаться к нему на «ты» и называть его просто Зяма. Потому что речь пойдет о Зиновии Ефимовиче Гердте.

– *Очень оригинальное начало*, – засмеявшись, поддел он меня, сразу же облегчив мою задачу и задав интонацию.

– Зяма, итак, тебе 80 лет. Ты просто молоток и молодец. Скажи, пожалуйста, вот восемь десятков лет, прожитые тобой, – это для тебя как много разных жизней? Или это всё пролетело, как один большой день?

– *Ты знаешь, скорее всего второе твое определение. Один прожитый день – и одна ночь.*

– Ночь тоже была? – со значением спросил я.

– *Да, да. Ночь тоже имела место*, – также со значением ответил Зяма.

– Но, надеюсь, ночь была не однообразная?

– *Нет, нет*, – успокоил меня друг.

Мы немного похихикали.

– *Против природы не попрешь*, – объяснил Зяма и начал рассказывать. – *Однажды мы приехали в Пярну, и Дезик Самойлов показал сборник новых стихов, отпечатанный на машинке. И сказал мне: «Выбирай, какое стихотворение тебе посвятить».*

Я сидел, долго-долго вчитывался. И было там одно, которое меня просто совершенно сразило трагизмом, чувством, поэтической интонацией. Ну, всем-всем, что было в этом огромном поэте. Оно кончается:

А под утро отлет лебединый,

Крик один и прощанье одно.

Вот я дождал до единого крика и единого прощания. Когда этот рубеж наступит, нам не дано предугадать, как говорил Тютчев.

– Надеюсь, это произойдет очень нескоро... – вставил я.

– *Прощаться с такой долгой жизнью надо или очень подробно, или мгновенно.*

– Я предпочел бы второй путь.

– *И я предпочел бы второй.*

– Зямочка, скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Все ведь думают, что ты – природный интеллигент, элитарная, так сказать, кость, голубая кровь, артист, друг многих известных кумиров нашего века. А никто ведь, по сути дела, и не знает, что ты просто-напросто фэзэушник. Пролетарий. Ты осуществил типичную американскую мечту. Или, если хочешь, советскую. Ты selfmademan – человек, который сам себя сделал. Из простых рабочих стал знаменитым артистом. Вот расскажи о семье, о родителях, о том, как всё началось...

– *Родители... Понимаешь, папа был удивительный человек. Ортодоксальный еврей. Ходил в синагогу и выполнял все обряды...*

– А в каком городе это было?

– *В Себеже. Это маленький городок на границе России и Латвии.*

– А сейчас он где?

– *В России. Через 13 километров Зилупе, уже Латвия, потом Резекне. В Себеже жило 5000 человек. Эти 5000 разделялись примерно на три равные части и три конфессии. Был замечательный православный храм, на горке. Его потом взорвали. Не немцы.*

– Кто бы это?

– *Да, кто бы это? Была синагога, такая деревянная, обширная, но синагога.*

– А ее не взорвали?

– *Нет. Фашисты сожгли. Они сожгли и всё еврейское население, которое не успело убежать. Это я знаю.*

– А третья религия?

– *Третья – польская. Костел и польская община. Мы, мальчишки, знали все три языка. Можешь себе представить, я идиши знал! Мог написать письмо на идише. Даже стихи какие-то опубликовал в местной газете по поводу коллективизации. Мне было лет тринадцать. Стихи восторженные, конечно...*

– Если мы вспомним произведения Шолом-Алейхема, который описывал еврейские местечки, – это похоже?

– *Нет, потому что у Шолом-Алейхема – мононациональные местечки. А тут было трехнациональное...*

Так об отце. При том что он был очень набожный, у него была какая-то природная русская грамотность и каллиграфический почерк. Ему бы писать на банкнотах. Знаешь: банковские билеты...

– Но писали, увы, другие.

– *Да. Писали другие. Больше никаких не было знаний. Он был мелкий служащий. То здесь, то там, какое-то было «Заготзерно». Он ездил по деревням, заготавливал какие-то вещи. Был нэт. Он брал подряды, брал у*

местных лавочников деньги и ездил в Москву за товаром для них. В одну из таких поездок он взял меня. И на Сухаревском рынке разрежали ему пиджак и выкрали всю сумму денег, которую ему давали. И он был в долгах. Никто не подвергал сомнению, что его обчистили, но долг ему не простили. И он всю жизнь был в долгах.

– Сколько вас было детей?

– Четверо. Я последний.

– Кстати, Гердт – это фамилия или псевдоним?

– Это псевдоним. Точнее, это мамина фамилия. Мама, родив двух сыновей и двух дочерей, никаким образом не воспрепятствовала тому, что оба сына и обе дочери женились и вышли замуж за православных. Папы уже не было, он, вероятно, страдал бы. У старшего брата была жена, мы жили в одной комнате, и это было всегда очень тяжело.

– ...Это уже было...

– ...в Москве, в бараке Тимирязевской академии. Там было ужасно. Невестка постоянно ссорилась с моей сестрой. И мама при всех обстоятельствах была на стороне невестки. Потому что она живет в чужом доме...

Знаешь, я сейчас не в очень здоровом виде, и как-то прислонился я к Тане... очень страдал. И вспомнил себя трехлетнего, и как мама взяла меня, что называется, на ручки, и прочитала строчки из какого-то хрестоматийного русского стихотворения, которое я помню только частично:

Бедный мальчик весь в огне,

Всё ему неловко.

Ляг на плечико ко мне,

Прислонись головкой...

Я так плакал, как в детстве, а это было, ну, дней десять назад...

Мама знала очень много русских стихов и романсов. У нас был рояль, очень дешевый, и мама умела подбирать ноты и пела. Я помню ее романсы. Они сейчас не исполняются. Хотя имеют великую силу обаяния. «Дитя, не тянися весною за розой». Ты таких не знаешь, а я знаю.

– Зяма, в Москве ты работал слесарем. Откуда появилась эта тяга стать артистом? Как это произошло?

– Это произошло не с кондачка и не спонтанно. Дело в том, что у нас в школе, в Себеже, был директор господин Ган. Я участвовал в школьных кружках. Единственную склонность, которую Ган во мне обнаружил, он записал в аттестате: «Имеет склонность к драматической игре». В меня это запало.

– Это называется «Ган в руку».

– Да, можно сказать, «Ган в руку». Склонность к драматической игре, думаю, возникла от чтения стихов. У меня была тяга ко всему напечатанному в столбик.

– Это потому, что ты был ленив. Запоминать длинные строчки труднее, чем короткие.

– Стихов в голове было всю жизнь очень много. Но я тогда не читал вслух даже дома, тем более публично, только про себя. И ночью, перед сном, читал. Запоминал очень легко. И когда я поступил в фабрично-заводское училище, там был ТРАМ – театр рабочей молодежи. При всяком заводе были ТРАМы. Был даже лозунг: «Приходи к нам в ТРАМ». Я пришел к ним в ТРАМ. Мне сказали: «Ты стишок какой-нибудь знаешь?» Я знал. И меня приняли. Я даже помню, что читал. «Повесть о рыжем Мотэле» Иосифа Уткина. Кстати, я помню свое первое любовное стихотворение.

– А прочитать можешь?

– Да. Одну строфу. Я не мог даже любовное, лирическое стихотворение написать как серьезное. Девушка одна на школьном вечере под аккомпанемент фортепиано пела: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Красивейшая вещь. Мне показалось, что она неправильно поет. Но все равно она была обладательницей моего сердца и тайно любимой. А стихотворение кончалось так:

Зачем ты вышла в платье белом?
Зачем в вечерней тишине
При мне, красавица, ты пела?
Не пой, красавица, при мне!

– Ты хочешь сказать, что ты ее любил?

– Да. Я не хотел острить. Получалось само собой.

– Работая электриком, ты уже серьезно хотел стать артистом?

– Не обязательно артистом. Но при театре. Чтобы была атмосфера. В этот ТРАМ пришел Глушек, потом Арбузов. Потом это преобразилось в Арбузовскую студию. В 1938 году. Спектакль был один сначала – «Город на заре».

Миша Львовский поступил в Литинститут и там свел меня с замечательной плеядой предвоенных московских поэтов, с которыми мы подружались. Это Сева Багрицкий, Павел Коган, Кульчицкий, Суворов...

– Все они погибли?

– Да. Всех повыбила жизнь. А вот Дезик Самойлов остался моим другом на всю жизнь. Эта дружба стала для меня приближением к поэзии, к большой литературе.

– Ты как бы никогда не чувствовал себя чистым артистом? Твои пристрастия были на стыке поэзии и драматургии?

– В студии я играл главную роль, которую сам себе придумал. У всех были главные роли, и все себе придумывали. Но я был еще и осветитель главный!

– Потому что был электрик в жизни?

– Все мои прожекторы были из банок монпансье, такие большие банки из-под леденцов. Туда я монтировал патроны, лампы, и все это горело, все это светило.

– Это умение делать руками у тебя сохранилось и прошло через всю жизнь?

– Руки помнят, но уже охоты нет. Уже тяжело махать молотком и пилой. Все это теперь вызывает одышку. Но я все знаю, как надо, что надо сделать, что куда приложить и по пальцам себя не ударить.

– Когда ты был в студии, ты уже не работал слесарем-электриком?

– Кроме трех-пяти человек, в студии все трудились. В это время я работал, по-моему, уже не на «Метрострое», а на Главпочтамте, на Мясницкой. Просто монтером.

– Сколько раз ты к этому времени уже женился? Извини за хамский вопрос.

– К этому времени я ни разу не женился.

– Значит, эта страсть пришла потом?

– Это не страсть. Это привычка, – поправил меня Зяма.

– Как ты попал на войну?

– Студийцы были освобождены от службы в армии. Потому что нас сразу сделали фронтовым театром. Обслуживать войска и госпитали. Но десять человек, одна девушка и девять мальчиков, будем говорить – мужчин, отодвинули привилегию и пошли солдатами на фронт добровольно. Я помню, мы пришли в райком комсомола, почему-то на Мясницкой, будучи уверенны, что мы все попадем в какую-нибудь одну часть. Ничего подобного. Нас не то что развеяли – распотрошили! Меня определили в саперы, поскольку у меня как бы техническое образование. Сначала в Болшево, в военно-инженерное училище. Через несколько месяцев я был выпущен младшим лейтенантом, и направили меня под Воронеж. На Дон, между Старым и Новым Осколом. И я приехал и увидел первых убитых. Это было так страшно, Эльдар! Нельзя рассказать! Лежит мальчик, у него черное лицо, и по этому лицу ползут мухи, и ему не доставляет это никакого неудобства. Ты представляешь себе? При том что лето и жутко пахнет. Человеческое тело разложилось. Нестерпимо отвратительно пахнет, понимаешь? Я очень перепугался!

– А ты попал в саперную часть?

– Сначала еще не было саперной части. Был полк, стрелковый полк, 81-й полк 25-й стрелковой дивизии. И уже тогда был гвардейский. И я сразу же стал гвардейцем. Довольно быстро я сошелся с одним замечательным человеком. Он был ответственный секретарь партии в полку. Парторг, короче. Иван Абрамович Агарков, проректор Харьковского университета. Не то математик, не то физик. Совершенный,

идеальный человек. Могу тебе сказать по секрету, что он открыл мне глаза на Сталина. Это было в 42-м году!

– Не боялся?

– Меня – не боялся. Он в меня поверил. Он говорил: «Когда ты в атаке, не кричать нельзя. Потому что слишком страшно. Надо орать. И «Ура!» – это не призыв идти вперед, – хотя это тоже, конечно, – но вначале, как импульс, как синдром – отвлекать себя от страха быть убитым. Потому что рядом упал человек. «За Родину!» – кричи. Мы воюем за освобождение нашей Родины от немецких фашистов. А вот второе, за кого, не надо».

– Он тебе объяснял что-то о Сталине?

– Объяснял. Что он тиран. Как раз это слово было произнесено. Я, конечно, молчал...

– И сколько же ты пробыл на фронте?

– С января 42-го по февраль 43-го. 13 февраля – ясный, потрясающий день. Снег искрит, и стоит такая будочка железнодорожная между Белгородом и Харьковом. И со мной рядом стоит комиссар полка, Николай Ефимович. Вдруг мы видим танк, и вспыхну, и как мы оба падаем. Он ранен в глаз, а я в ногу. (Николай Ефимович – тьфу, тьфу, тьфу – жив, мы переживаемся.) А от опушки леса мы были метрах в четырехстах. И как нас ранило, видела с опушки Верочка Веденина, наша санитарструктор. Она меня и тащила на своих женских плечах. Знаешь, при таком ранении очень интересное ощущение, как будто оглоблей ударили по ноге. Не больно, а как бы чем-то круглым, деревянным. Я упал. И вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. И тут я понял, что ее у меня нету. И увидел себя на костылях, на Страстной площади, у Страстного монастыря, входящего через переднюю площадку в трамвай.

– Так сразу?

– Да, в этот самый миг. Пустоватый дневной трамвай, и две старушки смотрят на меня и говорят: «Какой молодой!» И мне было жалко себя, и гордость была, что я вхожу с передней площадки.

– И как же Вера тебя тащила? Хорошо еще, что ты не очень тяжелый...

– На плащ-палатке. Четыреста метров до леса. Она была белая от изнеможения, день солнечный, жарко. Где-то уже возле самой опушки подбежали еще двое мужиков.

– Она тебя тащила под огнем?

– Абсолютно. Вера нередко звонит мне. И я ей звоню. Она моя возлюбленная дама.

– Она спасла тебе жизнь.

– Она сделала меня тем, что я вот с тобой разговариваю. – Зяма

засмеялся. – Смешно это все, смешно. Мы знакомы не первые двадцать лет. А так серьезно никогда не разговаривали. Занятно...

– Я слушаю тебя с огромным интересом!

– Мы с тобой очень много говорили о стихах. Это наша общая страсть. Мы и сошлись на этом, кстати сказать.

– Ко многим стихам приохотил меня ты. Расскажи о встрече с Александром Кочетковым.

– Это был поэт, который принимал участие в гражданской войне на стороне белогвардейцев. Жил в Грузии. Грузины его покрывали. Я встретил его в Тбилиси, в старинной гостинице. Лифт не работал, и мы увидели друг друга на лестнице. Перепутать его лицо с лицом человека какой-то другой профессии было невозможно. Он – поэт. Это было написано на его челе. У него был не лоб, а чело. И не глаза, а очи. Светлые-светлые, голубые, выцветшие очи, очень красивые.

– Сколько ему тогда было лет? И в каком году вы встретились?

– Году в пятидесятом. А Кочеткову было лет пятьдесят пять. И это был ангел. Я пошел за ним, он представился, пока мы шли. Мне нужно было на четвертый этаж, а ему – на седьмой, потому что дом был семиэтажный. Он жил на антресолях, точнее, на чердаке, в каком-то чуланчике. И там его ждала ангелица. Ангел и ангелица, муж и жена. Совершенно той же породы существо, понимаешь? Это производило сильное впечатление. Я каждый вечер после спектакля приходил к нему. Приносил что-нибудь съестное, как бы случайно. Вино какое-то пили. И он читал стихи. «Балладу о прокуренном вагоне» он прочитал во время нашей шестой встречи. Это великое стихотворение. В основе была история, которая случилась с поэтом. Он должен был приехать поездом, который потерпел крушение. Но не поехал. И он представил себе, что бы случилось, если бы он поехал тем поездом.

Нечеловеческая сила, в одной давяльне всех калеча,

Нечеловеческая сила земное сбросила с земли.

И никого не защитила вдали обещанная встреча,

И никого не защитила рука, простертая вдали.

С любимыми не расставайтесь... Эта строка стала названием пьесы Александра Володина, а стихотворение вошло в твою картину «Ирония судьбы...» И его знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется русскими стихами...

– И тем не менее давай вернемся к разговору о тебе. Итак, ты получил ранение, и после этого сколько ты пролежал в госпитале, что случилось с ногой? У тебя нога своя ведь, не протез?

– Да, своя. Потому что я попал в госпиталь через три месяца после ранения – Белгород был отрезан от континента, от Большой земли.

– И где же ты был все это время?

– Меня несли из деревни в деревню, на станцию Ржаво. Сто километров несли целый месяц восемь баб. По четыре человека на носилки. Это чудовищная эпопея.

– Об этом никто не знает. Я никогда не слышал, что тебя несли восемь баб сто километров.

– У молодых людей сейчас естественное отторжение от воспоминаний о войне. Если оно не изложено художественно. То есть в стихах или в повести. Я сам не всё выношу из военных воспоминаний, если это не написано Василем Быковым, или Виктором Астафьевым, или Борисом Васильевым. Ну, представь себе, лежал я в Белгороде в госпитале, была крошечная комнатка, метра два с половиной. Помещались только моя кровать и табуретка. Я должен был бы лежать в гипсе, но в Белгороде не было гипса. Никаких лекарств, кроме красного стрептоцида. И никаких перевязочных средств. Была шина. Шина металлическая, проволочная, и она выгибалась по форме сломанной ноги. А там выбито восемь сантиметров живой кости, над коленом. Вздохнуть или там чихнуть – не дай Бог, я терял сознание от боли. Я не спал, потому что знал, что умру, если усну. Днем я иногда засытал. Затем меня перевезли в Курск, там сделали первую операцию. И я был счастлив: ничего не болит, лежу весь в гипсе почти до шеи, кроме пальцев левой ноги. И жуткий голод. Меняю сахар на хлеб, чтобы как-то насытиться. Потом меня привезли в Новосибирск. Там я перенес три операции. В Новосибирске был такой же



В госпитале. 1944

стокий военный хирург, который говорил, что чем больше раненый кричит на столе, тем меньше он страдает в койке. Мне без наркоза, под местной анестезией он долбил эту кость. Три раза! Негодяй, жуткий негодяй! Я боялся этого! Боль жуткая. Но, действительно, через час уже не так больно, чем когда после наркоза. Потом меня привезли в Москву. И вот здесь были главные операции. Шесть штук. Всего было одиннадцать операций. В общей сложности я пролежал в госпитале четыре года. Выпускали несколько раз, на костылях, а потом я возвращался, потому что только-только начинающее срастаться опять обламывалось. Окончательно я вышел в 47-м. На костылях я был просто виртуоз, должен тебе сказать. Танцевать мог. Что угодно. Шимми, буги-вуги.

– И когда ты отбросил костыли?

– Отбросил костыли? Это в моей жизни будет следующее.

– Нет-нет. Тогда отбрасывают копыта... – уточнил я. – Лежа в госпиталях, ты думал, чем станешь заниматься?

– В Новосибирск часто приезжали фронтовые театры. И однажды в госпиталь приехала кукольная группа. Я лежал в первом ряду как лежащий – нога вперед. И смотрел не столько на кукол, которые слишком резко расправлялись с фюрером – Бог знает, что они с этим Гитлером творили. Я смотрел на занавесочку, ширму. За ней, думалось мне, не видно, как ходят актеры. Театр-то там существует!.. Уже в Москве я пришел к Образцову... (Длинная пауза.)

..Я стоял, откинув костыли, на одной ноге, стараясь не упасть. И Образцов задал мне совершенно идиотский, но с его стороны, в общем, разумный вопрос: «Не знаете ли вы какого стихотворения?» – Гердт засмеялся. «Какого стихотворения?» – «Какое выучили!» Я стал читать, неважно что, я читал длинное стихотворение, комиссия его не знала. После была пауза, очень долгая пауза. Образцов сидит, крутит вихор. Другие тоже сидят. И вдруг кто-то говорит: «Надо, пожалуй, еще что-нибудь». Я говорю: «Хорошо».

– Им просто захотелось послушать первоклассное чтение...

– И что бы я ни прочитал, просят еще. Я читал минут сорок пять, всё, что в голову приходило, потом перешел на монолог Чацкого: «Карету мне, карету».

Потом сказал: «Вы знаете, я устал. Я на одной ноге все-таки». Образцов говорит: «Хорошо. Вы выйдите, мы тут порассуждаем и вас вызовем». Я вышел, закурил. Папирosa не попадает в зубы. Потом подумал: «Да ну вас, Господи! Что такое? Там, за дверью, они решают, хороший я или не хороший. Да пошли они!» И помню, собственно, куда их послал.. Куда ни пошлешь, все будет правильно. Наконец, оттуда выбежал Сима Самодур и говорит: «Пожалуйста, войдите». Я вошел, и Образцов мне сказал: «Ну что ж, вы принимаетесь в стаю». Они тогда ставили «Маугли»

и разговаривали только на этом языке. В этой стае я пропался худобно тридцать шесть лет. Верой и правдой служил этому чудному делу. Кукольному театру обязан был многим. Сейчас я о нем слышать не могу. Просто из-за человеческого материала, который там скопился, я не принимаю его на девяносто процентов. Ну да Бог с ними! Я их не сужу.

– Ты ушел оттуда сам?

– *Я ушел сам, но Образцов хотел, чтобы я ушел. Просил об этом.*

– Как говорят, двум орлам в одном гнезде не сидеть!

– *Да, и пришлось одному орлу – мне – улететь!*

– С театром ты объездил многие страны. И я знаю, что тебя посылали на гастроли на три дня раньше, нежели придет весь театр. Ты выучивал конференс – обычно это был «Необыкновенный концерт» на языке той страны, будь то Венгрия, Китай, Египет, я уж не говорю о Швеции или какой-нибудь там Португалии. Мало того что ты выучивал весь текст на языке страны, ты еще узнавал местные новости и сочинял злободневные шутки. Это говорит о том, что у тебя были неслыханные языковые способности. Этого, кроме тебя, сделать никто не мог..

– *Ну, это делают очень многие,* – великодушно сказал Зяма.

– Ты видел фактически весь мир. Я встречался с тобой кое-где, на каких-то капиталистических параллелях и меридианах. У тебя никогда не возникало чувства жалости, что ты родился в России и именно в это время?

– *Я без паузы могу тебе сказать – нет. Никогда. Больше того. Я тогда привык врать, даже без презрения к самому себе, про нашу демократию. Про то, что я живу в совершенно свободной стране. Как только я туда перемещался, я отвечал так: «Да вы что? Господа, какой антисемитизм? Вы что, офигели? Посмотрите на меня!» Я врал упоенно. Я был как бы главный добровольный нештатный агент КГБ во всех этих поездках. Патриот, словом.*

– Все мы тогда были, в сущности, рабами. Рабами на длинном поводке, которым разрешались поездки за рубеж. Этакая убогая сытость раба.



До войны. Еще совсем целый..

У меня в фильме «Вокзал для двоих» герои бегут в тюрьму добровольно, сами. Этот эпизод для меня был очень важен. Это символ! Все мы бежали обратно в этот концлагерь. Понимаешь? Возьмем то время и нынешнее время, есть для тебя разница? Рад ты тому, что наступило нынешнее время? В той тюрьме мы оба были привилегированными рабами, нас выпускали за границу, нам давали звания или ордена. Нас выделяли. Но все равно во всех нас гнездились страх, боязнь, что нас в любую минуту могут раздавить, как вошь или комара, прихлопнуть. Ты рад, что ты дожид до другого времени?

– *Сегодня я всей силой души ненавижу роптание по поводу того, что не у всех есть деньги на икру. Тогда у всех были деньги на колбасу по два двадцать и надо было стоять сутки в очереди, чтобы «достать» эту колбасу. Я презираю то время. Я презираю свое рабство.*

– Как ты себя чувствуешь в сегодняшнем времени?

– *Прекрасно себя чувствую. Я еще много езжу, и нет места, в любом городе, деревне, поселке, где бы меня на улице дети, взрослые или старики не приветствовали и не желали добра и долгих лет. Что-то я для них значу. Если говорить серьезно о моем нынешнем предназначении, оно состоит в том, чтобы анонимно делать кому-то что-то хорошее. Впервые, никого не обидеть. Случаем или походя, как-то так, сгоряча. Я должен делать кому-то жизнь легче, но делать это анонимно. В замечательных американских музеях под каждой картиной написано: «Дар Рокфеллера», «Дар Дюпона». Вот если бы я был миллионером, я бы подписал: «Дар одного богатого человека».*

– Зяма, я знаю, что ты совсем не богат. Будем считать, что твое желание подарить дорогого стоит. Но давай вернемся к профессии. Работая за ширмой, ты был как бы анонимен, никому не известен. Знали твой голос через персонажей кукольного театра. А потом твой голос зазвучал с экрана. Художественных фильмов, французских, итальянских. Ты стал сочинять и сам читать тексты документальных лент. Мы стали узнавать не только твой голос, но и твои сценарии. У тебя была манера ироничная, легкая. Сначала тебя узнали по голосу и полюбили. Это ведь поразительно. А потом к голосу стало приклеиваться и лицо. Короче, ты начал входить в кинематограф. Сначала в закадровый, а потом пришел твой черед, когда ты вошел в кадр. Первая роль была – Паниковский?

– *Большая роль – да. Собственно, с кино как с видом деятельности меня свел кукольный театр. Был такой спектакль «Чертова мельница», где я играл черта первого разряда, такого легкого, быстрого, саркастического. И режиссер Васильчиков, который занимался дублированием зарубежных фильмов, как-то мне позвонил: «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром есть некий голос историка, который комментирует шутя всё, что происходит на экране. Попро-*

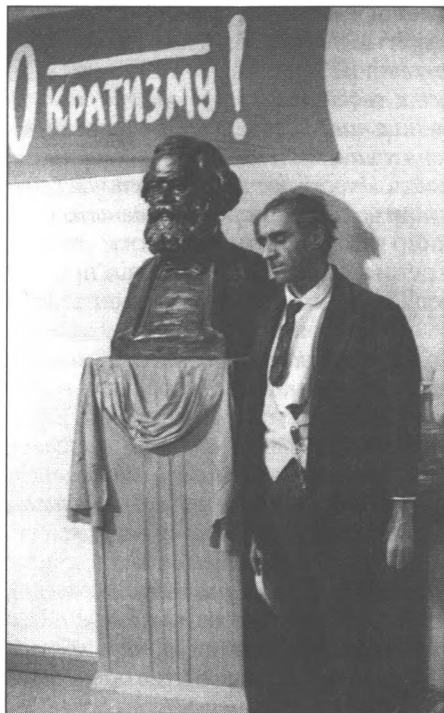
буйте прочитать этот рассказ в манере вашего черта». У меня была манера черта, представляешь? Я создал манеру.

– Манера черта в нас заключена подчас...

– *Я переделал текст поближе к своей этой чертовской манере, прочитал, и вышел фильм «Фанфан-Тюльпан». И тогда все вы, русские режиссеры, уже тоже стали звать меня и на сочинение, и на произнесение моих комментариев к разным фильмам. Из всех республик. Фильмов было много. И я стал богат. Платили по тем временам огромные деньги.*

– К переходу из закадрового кино в кадр тебе мешала нога? Это мешало, наверно, сознанию и многих режиссеров тоже. Как же так, пригласить хромого артиста? Только на роль хромого можно пригласить! Тебя мучило это?

– *Мучило до каких-то пор. Но потом я заметил, что публика не замечает моей хромоты. А я ее замечаю только тогда, когда хожу по лестнице. Особенно если спускаюсь. Тут вижу: опять я хромым. Черт побери, как неудобно быть хромым! Что касается «Золотого теленка», то на роль Паниковского я попал случайно. С Мишей Швейцером мы знали и любили друг друга с незапамятных времен. И он пригласил меня посмотреть, как он снял кинопробу Ролана Быкова на роль Паниковского. Какой я артист, можно долго спорить. Но какой я зритель! Я зритель международного класса. Я так хохотал! Хоть столечко смешного, и я валюсь из кресла. Таня не любит со мной ходить в кино, в театр. Говорит: «Прекрати. Веди себя прилично, на тебя все смотрят». Ничего не могу поделать. Чуть трогательно, и я обливаюсь слезами! Так что я очень хохотал. Поздравил Швейцера. Через две недели зовет меня опять Миша на студию. А он для меня приготовил роль бывшего грузинского князя, ныне трудящегося Востока Гигиенишвили. Грузина сыграть! У меня в голове тысячи грузинов, и все разные. Хорошо. Потом опять зовет меня, но не по поводу грузина. Он пробует Вячеслава Невинного, очень милого человека, замечательного артиста, на роль Балаганова. А меня он просит вместо Ролана, который улетел куда-то на съемку, произнести текст Паниковского, одним словом, подыграть. И дали мне канотье, дали тросточку, текста три или пять реплик. Невинный, естественно, волнуется, а я совершенно не волновался. Что мне-то волноваться? Итак, сняли, всё, до свидания, спасибо. Славочка, дай вам Бог! Через три дня приходит Миша. Лица на нем нет. У него вообще маловато лица, знаешь, одни тревожные глаза. Есть такие люди, во всех случаях жизни они надеются только на худшее. Я говорю: «Что стряслось?» – «Стряслось. Ты это будешь играть. И Быков тоже так считает». К чести Ролана, он мне позвонил и полчаса уговаривал, что это должен играть я. Это поступок! Я ему многое за это прощаю, но не всё.*



– Замечательно, как ты входишь в райисполком и снимаешь шляпу перед бюстом Маркса.

– *Отсебятина, конечно.*

– Еще одна из самых крупных твоих ролей в кинематографе – это «Фокусник». И встреча с Петей Тодоровским тоже очень важна.

– *Петю пригласили на «Мосфильм» из Одессы. Он был провинциальный режиссер. О скромности Пети и робости его тебе известно. Он совсем не может быть на виду, не умеет. Жутко стеснительный человек. Не тусовщик.*

И он получил сценарий Володина «Загадочный индус», где главная роль предназначалась опять же для Ролана Антоновича Быкова, которым Володин восхищался в предыдущем своем фильме «Звонят, откройте дверь».

А Петя, будучи скромным и провинциальным человеком, не прислал ко мне ассистентку, а

сам пришел в театр к концу спектакля. Мне в этом сценарии была предложена ролька сочинителя эстрадных реприз. Потом в фильме его играл Володя Басов. Мы посмотрели друг другу в глаза, и он спрашивает: «А это что у вас с ногой?». Я говорю: «А это, понимаете ли, была заварушка с 41-го по 45-й с немцами». – «Вы же должны играть главную роль. Эта роль про вас написана, про артиста», – говорит Тодоровский.

Я говорю Пете: «Кто же мне даст?» – «Я вам дам. Я главный, я режиссер-постановщик».

И пошла большая мутотень с назначением на роль. Все были против. Главк, Комитет, худсовет... А потом Тодоровский со мной сделал фотопробы, снял несколько эпизодов на киноплёнку. Потом показал и убедил всех, что я могу играть. А дальше началась эта вечная, даст Бог, дружба с Петей. Я играл в нескольких его картинах, на любые эпизоды соглашался. Так сложилось, что мы с ним близкие люди.

А что фильм «Фокусник» увидели немногие, это не наша вина. Это



Зиновий Гердт и Петр Тодоровский на съемках фильма «Фокусник»

беда советского общества. Кто-то имел право ограничивать его от чего-то художественного.

– Теперь расскажи о своих друзьях-поэтах. Начнем с Давида Самойлова.

– Когда Самойлов поселился на постоянное жительство в Пярну, примерно в сотне с лишком километров от турбазы, где мы летом отдыхали, мы каждый год с Таней и с Катей ездили туда, в Пярну.

– Раз уж зашла речь о Самойлове, я прочитаю одно стихотворение, которое он посвятил Зиновию Гердту. Ибо тебе самому читать стихи, тебе же посвященные, как-то неловко.

Артист совсем не то же, что актер.
 Артист живет без всякого актерства.
 Он тот, кто, принимая приговор,
 Винится лишь перед судом потомства.
 Толмач времен расплющен об экран,
 Он переводит верно, но в итоге
 Совсем не то, что возвестил тиран,
 А что ему набормотали Боги.

– Красиво, – оценил еще раз Зиновий Ефимович.

– Замечательно. Не всякому артисту такое посвящено. И это напи-

сано замечательным, просто великим поэтом. Так что ты должен гордиться. Ты гордишься?

– *Теперь буду.*

– Раз пошла такая пьянка, хочу упомянуть, что у Булата Окуджавы есть замечательное стихотворение «Божественная суббота, или Стихи о том, как нам с Зиновием Гердтом в одну из суббот не было куда торопиться».



*Булат Окуджава, Эльдар Рязанов, Зиновий Гердт,
Юлий Ким, Белла Ахмадулина*

– *Какая прелесть!* – это было любимое определение Гердта.

– Теперь очередь рассказа о Твардовском.

– *Отношения с Александром Трифоновичем начались на правах соседства. Потом они переросли в дружбу до самых последних дней его жизни. Твардовский произвел огромную перемену в моих оценках очень многого. Прежде всего поведенческого. Как человек ведет себя в обществе.*

Как-то раз мы сидим на веранде – еще были живы Танины родители, – входит Твардовский, и у него в руках что-то плоское, завернутое в газету. Шуня, Танина мама, говорит: «Садитесь, Александр Трифонович, выпейте кофе». «Я-то кофе пил в шесть утра, а сейчас пол-одиннадцатого. Ну, не стану вам мешать». И ушел. И когда он уже был около калитки, Таня ему говорит: «Александр Трифонович, вы оставили папочку». И он, не оборачиваясь, вот так ручкой сделал. Знаю, дескать, не случайно оставил.

Мы развернули эту бумагу, газету. И там была пластинка «Василий Теркин на том свете» в исполнении автора. И на портрете Василия Теркина, нарисованном Орестом Верейским, были написаны мне хорошие, совсем хорошие слова... В этот день меня поздравили со званием народного артиста. Подумаешь, что такое народный артист! А тут меня сам Твардовский похвалил, признался в каких-то чувствах!

– Ты помнишь шестидесятилетие Твардовского, 21 июня 71-го года, когда журнал у него уже отняли? Было много очень народу. Приехали из других городов. Прозаики в основном. Поэтов не было никого. Поэтов он не очень читал, правда?

– Нет, он любил Маршака, к примеру.

– Маршака – да, но его уже не было в живых.

– Тогда кто-то сказал: «Пусть Зиновий Ефимович скажет слово». Я как-то даже не растерялся. И сказал, что поэт – не регистратор событий. Он их превосхищает, поэт видит гораздо дальше и раньше непознато то, что происходит в жизни, в обществе, в чувствах, вообще со всеми делами. Он предвидит!

Он предвидел наше вторжение в Чехословакию.

Как переживал Твардовский это событие, рассказывать не надо. А потом в журнале «Новый мир» появилось стихотворение. Хотя об этом там одна строчка... А всё остальное замечательно, светло, по-стариковски так.

*В чем хочешь человечество вини,
Иль самого себя, слуга народа.
Но ни при чем природа и погода.
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни,
Торжественны, теплы, почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы,
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.
Перед какой безвестною зимой,
Каких еще тревог и потрясений,
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой.*

Вот какое потрясающее стихотворение! «И где-нибудь, наверно, в пражском парке»...

– Зяма, теперь поговорим о тебе как о театральном артисте. Ты пришел на театральную сцену благодаря Валерию Фокину, бывшему тогда твоим зятем. Но, думаю, не это было главным в ваших взаимоотношениях, ибо они сохранились и по сей день. И началось это, по-моему, в спектакле «Монумент» театра «Современник». Как случилось, что Валерий предложил тебе пойти в театр?

– Валерию было противно, что все воспринимают меня как комика, и только. Мне это было тоже довольно неприятно. Валерий ставил пьесу «Монумент» эстонского драматурга Яна Ветемаа и мне предложил вполне драматическую роль сильного, мощного человека, при всем моем тщедушии. Мне это было крайне интересно и увлекательно. Потом была роль в «Костюмере», в театре имени Ермоловой, где Валерий был главным режиссером. Он привез пьесу, здесь дал ее перевести Померанцевой. И мы убрали из пьесы одну линию: костюмер любит актера чувственно. Мне это было неинтересно. Мне было интересно другое, как человек любит талант, служит таланту. Партнером моим был Всеволод Якут, замечательный актер. Мы были дружны лет сорок до этого. Но только по линии выпивки.

– Кстати, о выпивке. Ты любишь это дело?

– Сейчас нет. Но выпито за жизнь много. И с охотой, и с удовольствием.

– Думаю, что после этого признания мне ты стал еще ближе большому количеству зрителей.

– Расскажу тебе потрясающий случай. На нашей улице Строителей был магазин, где продавали водку. И стояли бешеные многотысячные толпы. Шла «борьба с алкоголизмом». И стояли такие, знаешь, народные мстители, ветераны, которые наблюдали очередь. Не дай бог кто без очереди! А книжечку инвалида показать – об этом речи быть не могло. А за углом водочного магазина отделение милиции. И я, на что надеясь, сам не понимаю, иду в это отделение. Там дежурная часть, какие-то бомжи, пьяные, какие-то падиши женщины...

Дежурный милиционер сидит, качается в кресле. «Товарищ Гердт, какие проблемы?» Я говорю: «Видите ли, у меня к вам не совсем обычная просьба». Тот понял с полуслова: «Сережа, сходи с Зиновием Ефимовичем в магазин, пожалуйста».

– Милиция знала о твоих наклонностях.

– Шикарно! Он даже не выслушал мою не совсем обычную просьбу.

– Значит, пользовался ты популярностью, свое «личико» показывал?

– Конечно, конечно.

– Зяма, что с твоей точки зрения является определением порядочного человека? Вообще и в наши дни в частности?

– Я думаю, это как матерный язык. Все знают, но делают вид, что не знают. Что такое порядочный человек, все знают. Следует этому лишь горсточка.

– Думаю, ты ошибаешься. Огромное количество людей в нашей стране даже не подозревают, что такое порядочный человек.

– Не может этого быть.

– Может, к сожалению.

– Знал бы я с самого начала, не стал бы тебе давать никаких интервью, раз ты такой пессимист... Я думаю, что порядочный человек – это который знает, как надо поступать, верит в заповеди и пытается следовать им. Пытается следовать им. И мучается, когда делает что-то не по совести.

– Как ты сам себя оцениваешь, состоялся ли ты? Выполнил ли свое предназначение, для которого родился? Или не состоялся? Какие у тебя сожаления? Что бы тебе хотелось осуществить, но ты не смог, не успел, не хватило пороха, таланта, силы воли, не знаю чего... Попробуй сделать собственную творческую самооценку.

– Я знаю, что должен ответить, а именно то, что сам чувствую. Но Таня, моя жена, меня осудит. Она считает, что это кокетство.

Я, конечно, не состоялся. Я даже не убежден, что занимался тем, чем должен был заниматься всю жизнь.

– А что, нужно было работать электриком?

– Скорее всего каким-нибудь народным заседателем в суде, где нужно определить, что справедливо, что несправедливо.

– Народный заседатель обязан быть порядочным человеком, но это не профессия. Это состояние души.

– Что касается лицедейства, мне очень хорошо известно, что такое гений. Первая, конечно, Инна Чурикова. У нее есть вещи, когда она играет, движения души, которые я понять могу, а изобразить не могу. И догадаться, что они есть, без нее я бы не мог. При том что я знаю многие тайны нашей профессии. Я отлично знаю, как нельзя играть. В этом смысле мог бы быть даже преподавателем – объяснять, как не надо играть.

– А у тебя у самого есть актерские штампы?

– Видимо, есть. Я их не стыжусь, потому что не все их обнаруживают. Я-то знаю, потому что каждый раз чуть-чуть их модифицирую. Понимаешь, о чем я говорю?

– Очень хорошо понимаю. Когда делаешь творческий портрет актера на телевидении, собираешь сцены из разных фильмов, которые выходили в разное время, и вдруг видишь, что у исполнителя было всего три ужимки и две припрыжки. А когда смотрелось порознь, то казалось, что он артист большого диапазона.

У тебя бывает при встречах с людьми чувство, как бы сказать, ну что ты вот этого не заслужил, такого обожания, любви, преданности, которые тебе высказывают? Или ты это принимаешь естественно?

– В подобных случаях я пользуюсь много лет одной фразой. Когда мне говорят: «Вы мой кумир. Я вас обожаю», я отвечаю: «У вас очень хороший вкус. А те, у кого вкус похуже, те просто в восторге!»

– Скажи, Зяма, чувствуешь ли ты себя счастливым? И вообще что такое счастье, с твоей точки зрения?

– Я сравнительно недавно догадался, что счастье – вещь мгновенная, моментальная. Быть постоянно в счастливом положении невозможно, мне кажется. Каждую секунду происходят какие-то огорчения.

– Ну а все-таки, если говорить о жизни вообще?

– Жизнь, по-моему, несчастливая вещь. Человек чем дольше живет, тем больше понимает, как он несовершенен и что не преодолеть ему самому каких-то внутренних барьеров. Есть наработанный имидж, улыбка. И не только у актеров.

– Нарработанный имидж – это ведь тоже один из штампов. Ты счастлив тем, что ты жил, что ты живешь?

– Да, я счастлив, что я жил до... вот еще полтора месяца тому назад. Сейчас я глубоко несчастлив от того, что я неполноценен, что я хвораю, и я вот лечусь, и я надеюсь, даст Бог, что великая наука медицина меня вызовет из тяжкого недуга.

– Подобное я слышу от тебя впервые. Я просто помню, как на протяжении десятилетий на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» – ты все время говорил: «Восхитительно». Всегда!

– Да. Сейчас у меня нет сил выговорить это слово.

Я назначил эту съемку на час дня. Почему не в одиннадцать? Потому что мне нужно для того, чтобы подняться и сесть, два с половиной часа. Себя утумкать, побриться... Если я это делал раньше за пять минут, сейчас уходит тридцать пять.

– Зямочка, я знаю, что ты был женат не один раз. Предыдущих жен я не знал. А последняя жена, она как-то задержалась в твоей биографии. Больше чем на тридцать лет. Я бы хотел, чтобы ты сказал что-то о Тане. Понимаю, вопрос, конечно, страшный.

– Нет, это не страшный вопрос. В народе говорят: человек выиграл судьбу по трамвайному билету, знаешь? Конечно, Таня – человек особый, человек совершенно самоотверженный. И отношение к дружбе у нее ничуть не ниже, чем отношение к любви, если не выше. Именно Таня открыла дивный закон, что дружба величественней любви, ибо любовь бывает неразделенная, а дружба неразделенная не бывает. Это действительно огромное откровение. Правда ведь? А все остальное ты знаешь сам. В очень большой степени она меня воспитала. Есть вещи, которые я раньше делал совершенно запросто. Сейчас это невозможно.

– Ты ее немножко боишься?

– Нет. Я боюсь потерять ее доверие ко мне, глубокую уважительность, где-то там в глубине души. Не было случая, чтобы я сомневался, что, мол, вот я истратил что-то, отдал, как Таня к этому отнесется?

– То есть свои поступки ты проверяешь тем, как она отнесется к ним?

– Это уже подстудно, я не думаю об этом. Но я знаю, что Таня поступила бы так же...

– Спасибо тебе, Зяма! И дай тебе Бог здоровья, здоровья и здоровья, здоровья, здоровья и здоровья!

– Дай тебе Бог! Спасибо тебе за добрые слова. Ты знаешь, я смотрю на тебя и вспоминаю нашу с тобой жизнь. Она была не вся соткана из роз. Там были и тернии, но мы их преодолели. Я очень хорошо помню и очень люблю твою маму покойную, Софью Михайловну. Люблю твоего отчима, дядю Леву. Я люблю нашу юность. Ты знаешь, мы были вполне порядочные люди.

– Почему ты говоришь в прошедшем времени?

– Ну, даст Бог, так сохранимся навсегда.

– Зямочка, у тебя сейчас есть неслыханная возможность сказать что-то твоим зрителям, людям, которые прожили с тобой много лет.

– Милые люди! Не было случая за тысячи встреч с вами, не было ни одного случая, когда бы я вас не ставил чрезвычайно высоко, когда бы я не считал вас самыми высокими ценителями всего, что я могу сделать.

Для того чтобы это не звучало пустой фразой, я приведу вам маленький пример.

Однажды в Одессе первый концерт мой должен был быть в 12 часов дня на Канатном заводе, в цехе. Канатному заводу 130 лет. Это самое грязное производство на всем Черноморском побережье. И рабочие там работают в смоле и гадости, Бог знает, в каких чудовищных условиях. А я им должен говорить про Пастернака.

И я с такой тревогой спросил: «Зачем вы сделали мне выступление?» Но это нельзя было переменить, выступление организовали в обеденный перерыв. И я пришел. Я очень робел. Народу было полно. Женщин больше, чем мужчин. И люди, одетые в просмоленные, продегтяренные робы.

И уже выйдя на самодельную сцену, я понял, что ни одного слова из своей лексики, из манеры говорить не переменяю. Я буду с ними вести беседу, как разговариваю с академиками в Московском Даме ученых. И о Пастернаке, и о Твардовском. И о Феллини, о котором они первый раз слышат. И Пастернака, конечно, они никогда не читали. Концерт должен был идти 45 минут, он шел час пятнадцать – продлили время. И это был самый лучший мой концерт в жизни. Самый величественный, что ли. Как вам сказать? Это тронуло меня до глубины души. Люди были счастливы тем, что я обращался к ним как к равным. А мы равны, вот в чем дело. Мы с вами равны. И я не хочу быть выше Вас, я хочу достичь Вашего понимания, хочу, чтобы я был понят Вами. Храни вас Господь! Дай вам Бог! Спасибо!

Когда мы уже закончили съемку, я сказал:

– Я сегодня многое услышал в первый раз!

Зяма немедленно откликнулся:

– Я тоже сегодня многое услышал впервые..

Об Эдуарде Успенском

Был еще один человек, кроме меня, кому Зяма прощал отсутствие музыкального слуха. Это Эдик Успенский.

Мне, наверно, следовало бы сказать – Эдуард Николаевич, но я надеюсь, что он не рассердится за то, что я называю его так, как его звал Зяма. А Зяма позволял себе называть уменьшительными именами только людей, с которыми дружил: Миша (Львовский), Петя (Тодоровский), Элик (Рязанов) и многие другие, – или тех, которыми, как в случае с Эдиком, восторгался. Зяму восхищала азартность Эдика, его хулиганство, естественность – несомненное свидетельство таланта.

Вообще Зяма довольно часто отказывался от кажущихся привлекательными и даже «выгодных» предложений выступить, сняться, участвовать... Так, в 1995 году он отказался от восьми (!) гастрольных поездок по Америке, но мгновенно согласился сниматься в фильме в промозглой, декабрьской Одессе. Только потому, что это была обожаемая Одесса. И никакие рациональные соображения в расчет не шли, а работало только чувство. Так же, без размышлений, он ни разу не ответил отказом на какое бы то ни было предложение Эдика. Отбрасывая все дела, он мчался к Эдику так, что я всегда говорила: «Наверное, ты кого-нибудь при нем убил».

Телевизионная передача Успенского «В нашу гавань заходили корабли» – одна из лучших. Думаю, потому, что делается с широтой и легкостью, на которые способен только талант.



Эдуард Успенский**«ЭДИК, ВЫ МЕНЯ ВТЯГИВАЙТЕ...»**

Зиновия Гердта знала и любила вся страна. Знал его и я. И как актёра театра Образцова, и как киноактёра, и как прекрасного телеведущего, но познакомиться как-то не доводилось. И вот однажды меня неожиданно включили в состав культурной делегации для поездки в Литву. Тогда такие поездки не очень были загружены мероприятиями, и участники делегации большую часть времени тратили на прогулки, болтания в гостинице, сидения в ресторане или кафе... И, будучи предоставленными сами себе, мы познакомились с Зиновием Ефимовичем и провели очень много времени в разговорах и беседах.

В то время я имел огромное количество всяких конфликтов с горкомом партии, с ЦК КПСС, с киностудией им. Горького, с Госкино СССР, с Комитетом по делам печати, со всякими выездными и невыездными комиссиями и прочее. Допустим, меня приглашает финское издательство, а из страны не выпускают. Получив отказ, я сразу писал письма во все инстанции с просьбой объяснить: почему меня не выпускают? Если я шпион – то какой разведки?.. И в эти игры я играл довольно долго. Чтобы добиться своей цели, я целыми днями был занят письмами в газету «Правда», в Госпартконтроль и проч. Не знаю почему, но Гердту было интересно слушать про все эти мои похождения и сражения. Ему жутко понравились эти истории, и он мне предложил: «Эдик, в следующий раз, как только вы начнете какую-нибудь акцию, вы меня втягивайте...»

Мне это, разумеется, очень понравилось. Вроде бы такой человек... известный и вполне благополучный, и вдруг хочет каких-то скандалов в жизни, борьбы за правду... Одним словом, меня это приятно удивило, потому что даже друзья и приятели всегда осуждали меня за мои скандалы. Мол, чего тебе нужно от жизни, сиди тихо, помалкивай... Иногда я сам чувствовал себя сумасшедшим. А Гердт вдруг всё это дело искренне одобрил и поддержал. И когда бы мы с тех пор ни встречались, он всегда очень живо и нефальшиво интересовался: «Эдик, ну как у вас дела?.. Расскажите, что у вас нового, какой очередной скандал, какая еще история с вами приключилось?..»

Но, конечно же, не всё время тратилось нами на обсуждение моих проблем. Мы просто болтали о жизни, об искусстве, о спектаклях, о поэзии... Он мог тут же прочесть массу стихотворений наизусть, мог просто засыпать анекдотами, мог сорваться с места, чтобы немедленно найти хорошего вина, мог тут же начать какую-нибудь игру или подбить на розыгрыш... С ним всегда было интересно и весело.

Когда мы с Элеонорой Николаевной Филиной задумывали передачу «В нашу гавань заходили корабли», то жизнь нас поставила в условия (денег не было ни копейки, радио платить не хотело и все в том же духе), когда нужно было придумать такую форму передачи, чтобы привлечь к участию в ней людей самых высоких. Характер нашей передачи был сомнительный – возвращать народу песни типа «Маруся отравилась», песни беспризорников и так далее. Хотелось, чтобы участвовали серьезные, известные люди, а платить мы не могли никому ни копейки. И когда на свой страх и риск мы все-таки начали работать, то стали всех брать на азарт.

Звоню: «Зиновий Ефимович, здравствуйте. Это Успенский говорит... Мы вот тут старые песни собираем... И вот знаете, только одну одесскую песню вспомнили – “Одесса зажигает огоньки”...» – «То есть как это только одну?! Да вы что!.. Я вам сейчас... А как же вот это: “До пяти часов утра лампочка горела”!..» Гердт тут же начинал вспоминать, усердно диктовать... Потом решил сам прийти и исполнить «собственноручно».

Уже в студии мы вместе пытались поточнее вспомнить мелодии, он наигрывал на пианино... В общем, мы его втянули в эту игру, и он приехал к нам потом много раз, притаскивая всё новые и новые песни.

Однажды в Москве был страшный гололед – ни проехать, ни пройти. Гердт звонит по телефону, так грустно и переживательно, как ребенок: «Ну, Эдик... не смогу я сегодня к вам приехать. Вся Москва стоит...» Я ему говорю: «Зиновий Ефимович, не волнуйтесь, за вами приедет водитель экстракласса. Через двадцать пять минут спускайтесь». Он насторожился, поскольку сам, даже при своей ноге, был водителем высшего класса. Я посылаю за ним Костю Демахина, каскадера, мирового чемпиона, водившего машину ну просто гениально. Гололед, лысые шины, когда на шипованных-то люди не справляются, – Костя всё было нипочем. Он водил машину как фокусник и поэтому, везя самого Зиновия Гердта, не мог не выпендриться. Через какое-то время в дверь стремительно вошел Гердт, злой, как собака: «Думал отдохнуть по дороге – такого натерпелся!..»

Гердт обладал сногшибательным вкусом, безукоризненным чувством меры, а посему совершенно свободно мог переделать текст песни по ходу: «Что-то не нравится мне этот куплет... Чьи слова? Народные? Не-е-е, народ так плохо написать не может. Ерунда какая-то!.. Давайте попробуем вот так...» И сочинял новый куплет «народной песни». А если не получалось переделать слова, он просто отказывался от него вообще. Чутье у него было фантастическое, и благодаря ему я из своей памяти вытаскивал уйму песен. Я пытался напеть Гердту какую-нибудь песню, а он пытался угадать ее мотив на пианино, поскольку про меня совершенно справедливо говорят: «Если Успенский поет песню, то ее можно узнать только по словам».

Однажды мы дали Гердту песню «Господа офицеры», которую не-

когда исполнял Александр Малинин и к которой Звездинский на самом деле не имеет никакого отношения. Зиновий Ефимович ее исполнил, передача вышла в эфир, после чего к нам в редакцию пришло письмо из какой-то станицы, в котором утверждалось, что эта белогвардейская песня исполнялась по радио в интерпретации, а ее родной текст звучит несколько иначе. К письму прилагался текст песни, который нас просто потряс красотой и проникновенностью. Там не было пошлостей про девочек, которых комиссары ведут в кабинет. Там была безумная тоска по потерянной земле, безысходность, поскольку офицеры оказались прижаты к Дону и ничего у них не осталось, кроме веры в Бога и друг в друга, и вот завтра у них будет наверняка последний бой... И заканчивалась эта песня словами «поскольку я русский – я дворянин». А Зиновий Ефимович ведь был еврей и сначала очень смутился: «О, черт возьми, а как же это нам-м-м-м...?» – «Зиновий Ефимович, – отвечаю я ему, – это песня гражданская, песня «русского человека», а вы – абсолютно «русский человек», и от того, что вы ее исполните, она прозвучит только в сто раз сильнее». Я его уговорил, и он потом сам себя слушал и радовался как ребенок оттого, что всё замечательно получилось. Растрогался до слез.

Когда работаешь с великим мастером, то начинаешь у него всё чаще и чаще как бы получать уроки, даже непонятно почему... Ты видишь, как он относится к работе, как он укладывает папку с материалом в сумку, чтобы поработать еще дома. Ты видишь, что человек не позволяет себе опоздать ни на минуту, – короче говоря, планка поднимается всё выше и выше... Не раз я наблюдал, как рядом с ним буквально на глазах становились другими людьми туповатые полковники, откормленные чиновники и тому подобная публика.

Он очень любил своих друзей и защищал их. Я помню, как однажды он сказал: «Вот все говорят, что Ширвиндт – пижон... А я его знаю как очень нежного и заботливого человека. Если Шура узнаёт о том, что у какой-нибудь его тети Маши или у бабушки (а семейство немаленькое) стряслась беда, если нужно какое-то лекарство, он бросает все дела и достает это лекарство. Он едет и сам начинает ухаживать. Никакой он не циник! Он очень нежный человек...»

Однажды Зиновий Ефимович позвал меня к себе на чаепитие, в «Чай-клуб». Была такая беседа на троих: Гердт, Берестов, с которым мы были очень близки и дружили домами, и я. Разумеется, мы воспользовались случаем и приехали всей нашей командой, всей «Гаванью». Ну, думаем, сейчас заставим его петь и тут же снимем, поскольку Татьяна Александровна, жена Гердта, разрешила нам свалиться на голову к ним домой (съёмки проходили дома у Гердтов) с аппаратурой.

Когда телевизионщики ушли, Гердт посреди разговора, вдруг сильно разволновавшись, сказал: «Черт возьми! Сейчас ведь совсем другое время... Совсем другое!.. Сейчас мы можем говорить всё что хотим, а я всю жизнь не мог себе позволить этого!.. Я тоже врал!.. Когда мы с театром Образцова выезжали на гастроли за границу, к нам приставляли стукачей, и мы всех их знали в лицо... С нами проводили политбеседы, и мы всегда отвечали иностранцам, что живем хорошо, что у нас такая прекрасная страна... Я сам всё это повторял тысячу раз! Какая подлость!.. Как это всё чудовищно... Я ведь врал, врал, да и сам начинал верить в это вранье! – Причем Гердт всё это говорил со слезами на глазах. – Как нас изуродовали... Какое счастье, что я дожил до сегодняшних дней, когда все могут говорить то, что хотят, что чувствуют...»

Всё это мы дали в эфир.

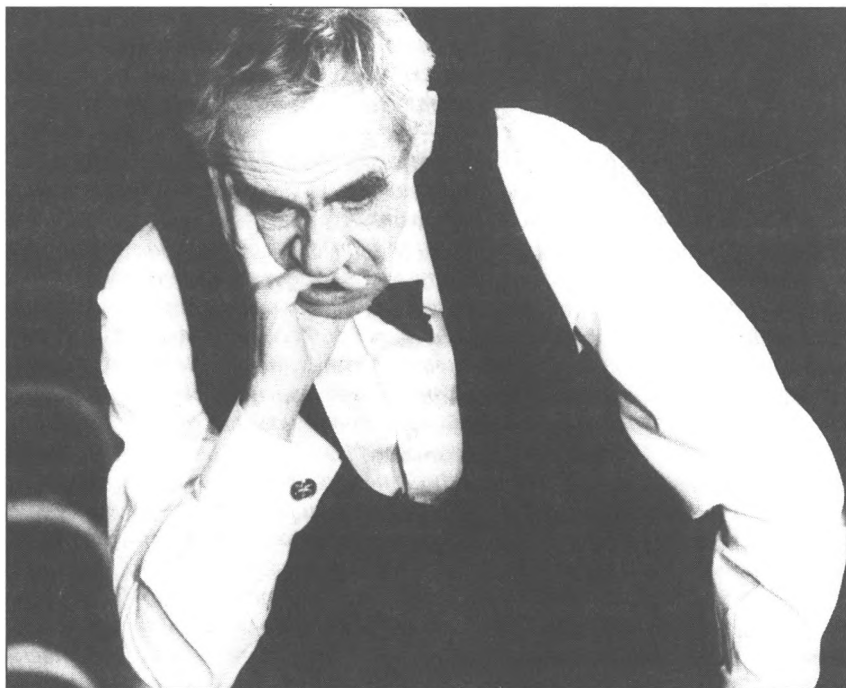
Почему с ним было легко работать? Ведь он же был дорогостоящий актер европейского класса... Это сейчас каждый второй на любое приглашение отвечает: «Мой выход на сцену стоит столько-то сотен долларов, а рабочий день – столько-то тысяч»... Гердт же принимал приглашение, если это была умная, интересная игра. Всегда. Его было очень легко завести. Вы можете представить себе, чтобы Гердт согласился занимать зрителей, пришедших посмотреть кинофильм? А такое было.

Однажды мне позвонили из киноредакции и попросили занять чем-нибудь кинозрителей. Я тут же вспомнил, как это делалось раньше: третьесортные актеры исполняли куплеты, читали миниатюры, выступал фокусник или играл маленький оркестрик. Я звоню Гердту: «Зиновий Ефимович, вы сможете исполнить роль третьесортного актера, развлекающего публику в фойе кинотеатра?..» Мне даже уговаривать его не пришлось. Таким образом роли третьесортных актеров исполняли Зиновий Гердт, Кира Смирнова, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов... Нам сделали эстрадку, я вышел и объявил начало маленького концерта, и все с удовольствием сыграли в эту игру.

Я не мог себе представить, чтобы Кира Смирнова согласилась свалить с нами вот такого дурака!.. А ведь она уже тогда была очень тяжело больна, ей было невыносимо больно ходить на своих перебитых ногах, и тем не менее она надела концертное платье, сама взобралась на эти три ступеньки... И вот тут начались позорные накладки работы телевидения: дубль не прошёл, левый микрофон не работал, софит справа дает тень, еще раз приготовились!.. Бедная Кира с трудом поднималась и снова спускалась раза три... И тут я не выдержал, вышел на сцену и гаркнул на весь зал: «Да что же вы делаете, уроды!.. У нас инвалиды работают как положено, а вы что, не можете заранее настроить вашу долбаную аппаратуру?!. Кто вам дал право так издеваться над людьми, безмозглые твари?!»

Я уже готов был набить морду режиссеру, как вдруг всё сразу наладилось и съемка пошла своим чередом.

Пока я орал, Зиновий Ефимович стоял за кулисами и тоже занервничал. У нас на «Гавани» всё было отлажено и всё всегда исполнялось четко и железно. Гердт успел к этому привыкнуть. Но здесь была чужая съемочная группа, чужие звуковики и абсолютно несогласованная работа. Гердт, видя, как измучили Киру, уже представлял, что ему с его ногой сейчас предстоит то же самое... И вот пока я там матерился, Гердт, наблюдая за всем этим из-за кулис, шепотом говорил моему партнеру и помощнику Элеоноре: «Молодец Эдик! Молодчина!..»



Как-то раз он меня определил так: «Эдик, вас планировали на 127 вольт, а включили на 220... И вообще, Эдик, вы удивительно смелый человек – вести передачу про песни при по-о-о-олном отсутствии слуха!..»

Мы не дружили домами с Гердтом, мы просто по-приятельски очень хорошо относились друг к другу.

О Валерии Фокине

Самое главное в Валерии Владимировиче Фокине, для меня, конечно, – он умный. А кроме того, удивительно, не банально талантливый. То есть не просто яркий режиссер со своей стилистикой и, как говорится, видением, а личность, знающая свое предназначение и непрерывно, даже вне работы над конкретным спектаклем, служащая ему.

Зяма и я знали Валеру сначала через Костю Райкина, с которым они вместе были в Шукинском училище, а потом по «Современнику», с актерами которого мы дружили, встречались с ним в доме у наших самых близких друзей Львовских. В этом же доме познакомились Валера и наша тогда еще совершенная щенячка, семнадцатилетняя Катя. Начался, как говорится, роман, к которому и мы дома, и в театре относились с улыбкой, как к чему-то не очень серьезному. Галя Волчек, смеясь, рассказывала нам, как Валера в перерыве между репетициями звонил по телефону и спрашивал: «Контрольную по геометрии написала?» – Катя в тот год кончала школу.

Поначалу никаких мыслей и разговоров о женитьбе не было, казалось, мы ведь не в Узбекистане, Катя только-только кончила школу и поступила во ВГИК, вроде бы надо было хоть чуть-чуть подрасти. Но очень быстро мы сильно «поюжнели» – они пришли к нам с Зямой за справочкой, что мы не возражаем, поскольку Кате не было восемнадцати. Внутренне мы очень даже возражали, хотя Валеру любили искренне, но считали, что рановато. Слава Богу, была жива моя мама, которая сказала: «Вы все равно сделать ничего не можете. Вам что, нужен итамп? Ведь нет, поэтому соглашайтесь. Справку не давайте, если жизнь потребует, поставят сами или проживут как мы с папой» (они до конца дней, пятьдесят пять лет, прожили в незарегистрированном браке). На повторенные нами эти соображения Валера очень трогательно сказал: «Мы постараемся оправдать ваше доверие». Через десять лет они расстались и вот уже на протяжении многих лет сохраняют человеческие, не меццанские отношения, испытывая полное уважение к новым семьям друг друга.

Ни Зяма, ни я не общались с Валерой как с зятем. Может быть, в силу того, что были знакомы раньше, но думаю, что скорее потому, что и для нас, и для него межличностные связи определяются не родственным, а дружеским чувством.

Валера и режиссерски, и человечески очень «проникся» Гердтом, очень много сделал в его творческой судьбе и знал, как глубоко Зяма ему благодарен. А я никогда не забуду, как Валера был рядом в один из тяжелейших моментов моей жизни – смерти моей мамы.

Очень редкие люди совершенствуются с течением жизни. Наблюдая Валеру более четверти века, могу сказать, что он, сам себя сделавший, продолжает слушать и слышать. И делает это поступками.

Валерий Фокин**ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
ВЗДОХНУЛИ И УЛЫБНУЛИСЬ...**

О Гердте нельзя говорить, идя по привычному кругу.

Чем больше уходит времени с того момента, как его не стало, тем больше мне кажется, что это был человек невероятно гармоничный. Я бы даже сказал, если следовать чеховскому определению, что он был тем самым человеком будущего, которого никогда не будет, поскольку и самого будущего в понимании Чехова тоже не будет.

Когда я познакомился с Зиновием Ефимовичем, а это произошло задолго до того, как я стал его зятем, он был известным артистом, чей образ, чей голос уже довлел... Он был настоящим интеллигентом. Его интеллигентность была не в «пенсне», не в количестве прочитанных книжек, а в том, что он всему знал цену. Знал цену себе. Не любил предательства, отрицал это сразу... При том что я, наверное, знаю бак столько, сколько не знает никто, мне трудно говорить о Гердте... У меня просто не поворачивается язык рассказывать про то, как он пошутил в такой-то год, на таком-то дне рождения, как он разыграл того-то и как он поступил тогда-то. Мне это неинтересно... Мне интересно поговорить, поразмышлять о нем, попытаться объяснить для себя: как вот этому человеку, отнюдь не лишенному недостатков, а живому, (ангелом он вовсе не был!), которому ничто человеческое не было чуждо, – как ему удавалось быть столь потрясающе гармоничным?..

Если он во что-то верил – то верил. Он обладал безукоризненным чувством правды. Совестью. Это редкий случай. Много людей вам известно, кто в период известных событий вышел на Красную площадь и выразил протест? А вот Гердт вышел и сел на мощные камни. А когда чуть ли не сам Лужков подошел к нему и сказал: «Пойдемте, Зиновий Ефимович, не нужно здесь сидеть... Нас могут защитить...» – он ответил: «Я просто хочу посмотреть им в лицо, как они меня, ветерана войны, еврея, – будут убивать...» Не каждый может совершить такой Поступок. А между тем мы сами воспринимали его по большей части как остроумного собеседника, как Зяму, который всегда шутит, который всегда элегантен и шампанистый...



Вот так его воспринимал я сам. Чаще всего я пропускал его настоящего – это я теперь понимаю... Понадобилось какое-то время. Несколько лет мы вместе отдыхали, жили в одной палатке в палаточном лагере и говорили обо всем...

Однажды я случайно вошел в комнату и увидел Гердта, корчащегося от боли... Он никогда не демонстрировал (ни специально, ни случайно) свои мучения со своей ногой. Несмотря на то что ранение доставляло ему адские боли, он был мужественным и сильным.

Я видел Гердта одиноким, грустным, но одиночество не было свойственно ему длительно. Он получал наслаждение, когда в его доме собиралось много народа. Но это не было просто застолье. Он очень любил раскрывать людей, любил их обнаруживать. Бывает так, что за столом человек всё время себя демонстрирует, «берет площадку» и уже не отпускает, «тамадит», иногда хорошо, иногда плохо... А Гердт любил, задав тон, незаметно отойти в сторону и с наслаждением вслушиваться в человека, в его рассказ, в то, как он реагирует... Он коллекционировал людей. Ему действительно было интересно то, что говорили и рассказывали люди о себе, о своих друзьях, о каких-то давних или недавних событиях, – и это опять же очень редкое качество.

В его доме я встречал людей, которые мне по молодости казались... ну, вовсе не интересными!.. Ну что там физик?.. Или химик?.. Ну, наверное, они прекрасные люди, скучал я про себя, но это совсем другая среда... Я-то театральный человек... Занимаюсь театром... А Гердту были интересны не профессиональные разговоры о театре, а сами люди! Человеческие разговоры о жизни, человеческие проявления. Ему было интересно, как человек мыслит, как понимает свою жизнь и жизнь вообще...

На Гердта всегда можно было надеяться, несмотря на то что он не отличался какой-то богатырской силой и здоровьем. Но если нужно было, например, перевести кого-то из одной больницы в другую или отвезти кого-то за город, помочь переехать из одной квартиры в другую – причём не друга, а его маму, или бабушку знакомой друга, – Гердт был безотказен. Несмотря на ногу, он великолепно, мастерски водил машину!..

Одно дело, когда можно помочь прямому, так сказать, «кровному» другу или близкому товарищу... Но чтобы срывать с места и лететь вырывать нетоварища и уж тем более родственника нетоварища, – это уже задача несколько сложная, малоузнаваемая. Гердт мог встретить кому-то очень нужный поезд, получить или передать посылку и тому подобное. Он никогда не чувствовал себя Артистом. Мол, как это так? Как вы можете меня беспокоить по таким пустякам? Я вам что – извозчик?..

Мне, например, очень трудно представить, что еще есть такие люди, как Гердт, которым были бы свойственны вот такие черты совершенного

человека... Я помню, как до последних дней Гердт возил продукты домой одному престарелому артисту кукольного театра. Ему и его жене. Один раз я даже выполнял это его поручение. (Этот артист уже давно не работал в кукольном театре, и Гердт уже давным-давно не работал в театре Образцова.) Или, например, я помню, как Гердт с Татьяной Александровной ухаживали за одинокой бабушкой, которая доживала свой век в доме престарелых и забота о которой досталась им в наследство от мамы Татьяны Александровны. Они приезжали её навещать. Зачем?..

Зачем им всё это было нужно?.. Затем, что понятие «просьбы помочь» для Гердта было очень весомым в жизни. Потому что, когда он лежал в военном госпитале со своей ногой, его выхаживали разные люди. Сколько врачей и самых разных людей помогали Гердту справиться с бедою – одному Богу известно. Думаю, что забота этих всех людей и родила в Гердте бесконечную благодарность людям и желание им помогать. Причем помогать необязательно тем же самым людям, которые помогали ему, или их родственникам или знакомым. Он помогал всем хорошим людям. Повторяю, что для меня это было... таким не совсем понятным альтруизмом... Причудой. То есть я, конечно, понимал, что людям нужно помогать, но чтобы вот до такой степени... Теперь я понимаю, насколько единичны такие проявления и что они – бесценны.

Гердт патологически не мог отказать. Соглашался сниматься в плохих картинах, хотя можно было уже не надрываться, и в результате Таня его отчитывала: «Ну зачем ты согласился сниматься в этом...?» – «Да, я согласился. Человек плакал, умолял... Что мне было делать, Таня?..» При этом, снимаясь у не очень умных режиссеров, он не суетился и старался не поддаваться раздражению, которое неизбежно при встрече профессионала с дилегантами, а старался честно отработать, сделать всё, что от него зависит, по высшему разряду (иначе он просто не умел) и поскорее уйти.

Гердт обладал внутренней трезвостью, которая, с одной стороны, не позволяет человеку быть восторженным идиотом, а с другой – учит понимать, что жизнь хоть и тяжелая штука, но замечательная. И это опять же черта «чеховского» человека.

Он замечательно писал, но, увы, никто, в том числе и я, не смог убедить его напечатать что-нибудь.

В 1978 году я делал с Гердтом спектакль «Монумент» в театре «Современник», где он играл первый раз на «человеческой» сцене после огромного перерыва. Через много лет, в 1993 году, я снял его в своей телевизионной работе «Я – Фейербах» по пьесе Танкреды Дорста. Он очень опасно репетировал. Сомневался, не верил в то, что у него получится...

Но потом, естественно, это всё уходило. Я видел – ему было уже трудно, но он был мужественным, читал огромные монологи... Я считаю, что это одна из лучших его работ. По моей части там есть огрехи... Я недоволен, как это снято, но он сыграл необыкновенно.

Я очень жалею (это моя вина), что не успел поставить с Гердтом «Короля Лира». Я видел Лира не могучим героическим стариком, а вот таким вот «гердтовским», в котором есть и сила, и детскость, и резкость, и заблуждения... Я стал думать об этой постановке только в последние годы, когда Гердт был, увы, уже болен...

В Кракове я поставил спектакль «Бобок» по Достоевскому, где действие происходит на кладбище. На сцене стояли запущенные и свежие могилы. Открывался пол, и зрители видели артистов, лежащих в могилах... Гердт смотрел этот спектакль в Москве. И вот спектакль уже закончился, а Гердт всё смотрит в одну из могил как-то замороженно... Я оторвал его от раздумий: «Ну, чего ты так туда смотришь?..» – «Очень не хочется туда...» Меня так «дернула» тогда эта его фраза, потому что он так серьезно это сказал... Когда ты еще не близко стоишь к этой черте, то для тебя это только слова. Я вздрогнул, почувствовав, что слова эти были сказаны вроде тихо, почти про себя, но осознанно.

До последней недели у Гердта было полное понимание и совершенно свежая голова. Твоя физика уже отказывает, а ты чувствуешь себя абсолютно молодым человеком – вот этот контраст, я думаю, был самым угнетающим обстоятельством последних дней жизни Зиновия Ефимовича. Он так же продолжал получать удовольствие и от жизни, и от приходивших в дом людей, от хороших новостей – только уже лежа в постели...

На один из последних «Чай-клубов» он пригласил всех своих друзей, и передачу практически вела вся компания. Думаю, что задумка эта была отчасти связана с желанием Гердта собрать всех... на всякий случай. Он захотел увидеть всех, пообщаться со всеми дорогими его сердцу людьми, потому что не знал – когда именно с ним случится, не знал, но уже ожидал. Момент ухода – это ведь очень личный момент, это тайна. Ну как еще собрать всех? Ведь не скажешь же: «Вы знаете, друзья, я вот уже чувствую... Приходите, попрощаемся...» И он придумал вот такой повод: «Я веду такую передачу... Я всегда приглашал к себе одного-двух человек, а теперь пусть будет, как будто вы все меня пригласили к себе!» Все пошли на эту игру, понимая, в общем... что на самом деле за этим стоит. Слава Богу, ему удалось еще встретить свое восьмидесятилетие.

Когда я говорю о трезвости Гердта, вот это «телевизионное» восьмидесятилетие я тоже имею в виду. Ему было очень трудно в этот вечер,

физически трудно... Но он хотел еще раз, и теперь уже точно в последний раз, побыть со всеми.

Он никогда не демонстрировал свои проблемы, поэтому у большинства создавалось впечатление, что Зяма – этакий баловень судьбы, несмотря на ногу, вполне благополучный и удачливый. Для него это было дурным вкусом – сидеть и жаловаться на жизнь. На плохое здоровье, на отсутствие денег... «Ничего, ничего!.. Найдем выход!.. Что-нибудь продадим, займем, перезаймем... Всё – ерунда! Главное – все живы и здоровы!..» У него была потрясающая закалка. Я убежден, что когда человек встречается с войной – так или иначе он понимает цену мнимым величинам и настоящим.

Он никогда не хохмил ради того, чтобы хохмить, хотя большинство соотечественников знают и помнят Гердта именно великолепным рассказчиком, автором многих и многих острот, крылатых выражений, собирателем всяких смешных историй, баек и анекдотов... Но это всего лишь маленькая (крохотная!) часть такого «айсберга», как Гердт. Он очень любил людей!.. Если он избирал человека в друзья, то ценил и защищал его, как мог, насколько хватало сил и возможностей. А друзья у него были не только из артистического круга. Были ученые, врачи, профессора...

Вообще он не любил театра в смысле актерства и неоднократно говорил, что он сам не артист. «Да какой я артист?..» В актерской среде очень редко можно встретить человека, который вдруг восхитился бы успехами коллеги. Который вдруг скажет искренно: «Слушай, ты гениально играешь! Я – вообще никто, а ты – гений!..» Это очень большая редкость, потому что у каждого свои мотивы, свои соображения, свои амбиции, свое восприятие себя в профессии и так далее. Гердт мог посреди спектакля заплакать или прохохотать минут двадцать без остановки. А потом, придя за кулисы, воскликнуть: «Ничего подобного я в своей жизни еще не видел! Это потрясающе! Ты – гений!..»

О своих ролях Гердт говорить не любил. И всегда был склонен себя недооценить. Когда ему говорили какие-то комплименты, ему, конечно же, по-человечески было приятно, но он всегда старался тут же перевести разговор на другую тему. Есть артисты, которые обожают получать восхищенные признания в свой адрес! Более того, если они их не получают, они уже начинают подозревать «что-то не то»... Им даже человек может разонравиться из-за того, что он вовремя не подносит комплименты. Есть такая патология... потому что актерская среда в большинстве своем нездоровая. Гердт же был даже, я бы сказал, озабочен тем, чтобы, не дай Бог, не преувеличить себя.

Я наблюдал его встречи со зрителями в разных городах – это были всегда полные залы. Он был любимцем. Если его останавливал инспектор ГАИ, то, как только узнавал Гердта, моментально расплывался в улыбку, козырял и отпускал его. Все начинали улыбаться, как только понимали, что перед ними Зиновий Гердт. Так вот, на встрече со зрителями он рассказывал «о друзьях, о профессии, о себе». Это было названием его вечеров и концертов, которые превращались в рассказы о Мейерхольде, о Твардовском и многих других... и о себе как о человеке, которому судьба позволила с ними встретиться. «Я» – в последнюю очередь, а если дело не дойдет до «я» – еще лучше!.. «Смотрите, с кем я только не дружил, с кем только не выпивал!..» – это было не про Гердта.

На чужие спектакли он всегда приходил с желанием, чтобы ему понравилось. Не с желанием, так сказать, про себя свериться: «Ну, я так и знал, что это будет полная ерунда», а с тем, чтобы обязательно получить удовольствие. Он вдруг начинал хлюпать, становился очень сентиментальным, начинал переживать, как ребенок, хохотать... Я очень любил звать его на первые, премьерные спектакли, потому как знал, что зову зрителя чрезвычайно благодарного. Если он что-то советовал, то делал это крайне деликатно, одновременно как бы проверяя – не ранит ли это тебя, близко ли тебе то, что он тебе предлагает. Если не близко – то замечание моментально снималось.

Уход Гердта из театра Образцова был принципиальным. Он ведь мог и не согласиться на уход, когда Образцов выставил в Министерстве культуры свои условия: «или я, или Гердт»... О том, чтобы как-то подвинуть Сергея Владимировича и встать на его место, у Гердта, я уверен, и мысли быть не могло!.. Тут дело было в другом, но теперь, к сожалению, это уже неважно. Ведь с чем Гердт боролся? С тем, что театр Образцова переставал быть живым организмом, обслуживая какие-то определенные интересы. Художественно он стал падать вниз. Большая часть актеров была растренирована и развращена поездками за границу. Тогда ведь никто никуда не ездил, а театр Образцова не вылезал из-за рубежа...

Вот весь этот комплекс проблем и некая бездарность, которая повисла в театре, Гердта как члена художественного совета очень сильно волновали. Обо всем этом он говорил открыто, между тем как Сергея Владимировича, по-видимому, всё устраивало...

Поэтому Гердт там же, в министерстве, попросил чистый лист бумаги и ручку (никто поначалу даже ничего не понял) и написал заявление об уходе.



Зиновий Гердт, Екатерина Гердт, Татьяна Правдина. 1996

Он обожал Катю и считал ее своей дочерью. Он глубоко был убежден, что она человек по-настоящему одаренный, талантливый, которому Господь отпустил очень много сил и возможностей. Еще больше он обожал моего сына – своего внука – и даже сходил с ума... Бывает у некоторых дедушек такой перебор по отношению именно к внукам. Они не так любят своих детей, как внуков... Он мог двадцать раз на дню позвонить: «А что он сейчас делает?.. Он мне сегодня ни разу не звонил... А ...?» Это было уже такое дрожание... И это замечательно, потому что когда к тебе в детстве прекрасно относятся, это рано или поздно потом отзовется, даст свои чудесные плоды.

Он очень любил маму Тани, то есть свою тещу. Я вообще первый и последний раз в жизни видел такие отношения между зятем и тещей. Когда зять говорит о теще в восхиительных выражениях, это, если рассуждать по штампу, даже странно... Гердт очень высоко ставил ее (она была женщиной чрезвычайно принципиальной), советовался с ней, слушался ее. Она ему была по-настоящему близким человеком.

Когда он (совсем немного) вспоминал о своих родителях, то говорил с таким придыханием!.. Он был таким восхищенно-свободным, прямо радостно дышащим, когда мы несколько раз заезжали в город Себеж, где он родился... Опять же – такого отношения к своим родителям, такой светлой памяти (натурально светлой, а не из чувства долга), я уверен, в нынешнем поколении днем с огнем не сыщешь.

Для Гердта чужой человек мог стать ближе родственника. Он влюблялся в людей, и для этого человеку не надо было совершать какого-то грандиозного поступка. Для того чтобы Гердт влюбился в кого-то, достаточно было сделать какую-то очень простую вещь, но сделать ее честно, осмысленно, бескорыстно. Например, посадить прохожего, которому стало плохо на улице (и которого по привычке все приняли за пьяного), к себе в машину и отвезти его в больницу. Вот такой поступок мог сразу приподнять человека в глазах Гердта, многое объяснить... Другой бы кисло скривился: «Подумаешь... Захотел – поднял человека, захотел – прошел мимо... Ну, посадил, ну, отвез... В конце концов это его личное дело – сажать к себе в машину первого встречного...» Другой бы прошел мимо. А для Гердта такой поступок был знаком талантливости. Талантливости не творческой, а человеческой.

Когда он любил, то не слышал недостатков человека, которого любил, а иногда и не видел очевидного. Или не хотел видеть... Он видел только хорошее. А вот в определениях и оценках людей, которые Зиновию Ефимовичу не нравились, он был категоричен. Если он видел перед собою подлеца, то так и мог назвать его в лицо. Руки мог не подавать тому, с кем не хотел общаться. Понятие чести для него было очень важно. Есть люди, с которыми он не кланялся всю жизнь. Ему не была свойственна смена масок, которой мы все так или иначе сегодня владеем. С одним человеком одну надену, с другим другую – даже непонятно ради чего! – но так, на всякий случай!.. Гердт любил называть вещи своими именами. Не боялся.

Он никогда не пропускал хамства. Никакого. Он отвечал на него, обрывал человека. Я помню эпизод, когда мы ехали куда-то и водитель, здоровенный мужик, позволил себе оскорбить кого-то... Гердт, не испугавшись, стал выяснять с ним отношения, причем достаточно активно. Можно расценивать это как ерунду, как обыкновенную бытовуху... Однако это не так. Выступить против хамства, которое в три раза больше тебя и в пятьсот раз сильнее, способен далеко не каждый, а уж сегодня этот «не каждый» вообще стал одним на миллион... «Размеры» хамства никогда не могли остановить Гердта вступить, неважно за кого!..

А вот что его могло действительно пошатнуть и выбить из колеи – это предательство. Предательство друзей.

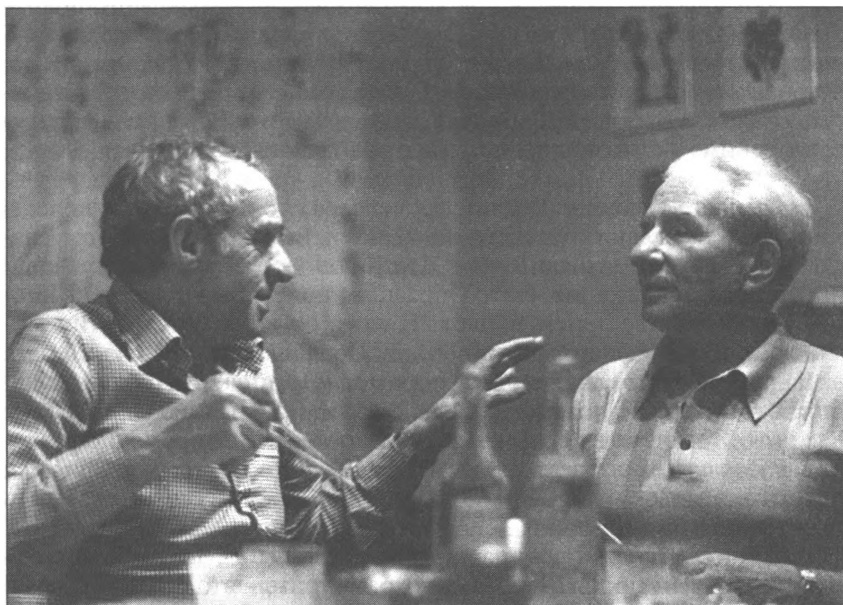
Он очень чутко чувствовал какие-то сбои в отношениях и очень глубоко их переживал, когда вдруг какие-то люди (дело даже не в фамилиях), в которых он поверил и которых даже идеализировал, вдруг поскользнулись... Даже не в его сторону, нет, а просто... вдруг как-то недоброкачественно себя проявили. Он очень огорчался этим, даже если его

самого это никак не коснулось... Но его девизом всегда было: «За друзей надо бороться». Вот я, например, не такой человек. Если я вступаю в какие-то отношения, значит, я при всех сложностях влезая в это полностью, верю человеку, и когда что-то такое происходит, я уже не могу существовать в прежнем «чистосердечном» режиме. Простить-то прощу, но... стараюсь от этого человека «отъехать», забыть про него и жить другой жизнью. А Зиновий Ефимович боролся за друзей. Для него «друзья» были одним из самых основных понятий в жизни.

Он был независим. Не выделял человека по иерархической лестнице, регалии для него ничего не значили. Был такой министр сельского хозяйства Полянский, член Политбюро в свое время, сосланный потом послом в Японию. Театр Образцова приехал на гастроли в Японию. В посольстве прием, банкет... И вот все здороваются с этим Полянским, и очередь доходит до Гердта. Полянский доносит до Гердта свою руку и сверху вниз зычно сообщает: «Полянский». Гердт прищурился, задумался и, пожевав губами, сказал: «Полянский... Полянский... Кажется, это что-то по сельскому хозяйству?..» Тот-то преподносил себя как «заслуженного деятеля искусств»!.. Вот Гердт очень хорошо умел опустить человека на землю. Вроде пошутил... а шутка-то оказалась очень увесистой.

Сам Гердт из себя никогда ничего не строил и не делал. Он мог шутить, быть очень простым в общении, балагурить – это его природа, но это не есть он сам и даже не есть его маска. Бывает ведь, что люди балагурят для того, чтобы скрыть какую-то душевную боль. Для него юмор, такой элегантный жизненный тонус, шутка – всё это было способом общения, способом привлечения людей к радости, призывом к тому, чтобы они улыбнулись. Причем это было не нечто рациональное: «Ну вот, значит, я шучу для того, чтобы ты, значит, улыбнулся...» Это была его истинная природа. Он действительно хотел, чтобы люди хоть на минуту забыли все свои проблемы, перестали суетиться, свободно вздохнули и улыбнулись.

Об Александре Володине



Если кто-нибудь из читающих эти строки не видел пьес Александра Моисеевича Володина в театре, не читал его «Записок» и стихов или хоть раз не слышал его выступлений, то единственно, что могу сказать, – это следует сделать обязательно. Так как говорить об этом человеке словами – это все равно, что рассказывать про «Я помню чудное мгновенье», концерт Рахманинова, описывать любое живописное полотно или, если простонародно, «рассказывать слепому, какого цвета молоко». Он – поэт, потому что во всех его творческих проявлениях, даже на самые-самые бытовые темы, всегда присутствует приподнятость искусства, заставляющая звенеть в душе зрителя, читателя ту струну, затрагивание которой, как мне кажется, и есть цель «самоотдачи» художника. Это – в творчестве. А в жизни – он тоже поэт. Непредсказуемый – тихий и взрывной; по большей части немислимо скромный, но доведенный до точки – отчаянно смелый и прямой. С ним как с детьми: и сердиться, и жить без него нельзя.

Думаю, что лучше всего о Володине сказать его, как мне кажется, автобиографическим стихотворением:

*Простите, простите, простите меня!
И я вас прощаю, и я вас прощаю.
Я зла не держу, это вам обещаю.
Но только вы тоже простите меня!*

*Забудьте, забудьте, забудьте меня!
И я вас забуду, и я вас забуду!
Я вам обещаю, вас помнить не буду,
Но только вы тоже забудьте меня!*

*Как будто мы жители разных планет.
На вашей планете я не проживаю.
Я вас уважаю, я вас уважаю,
Но я на другой проживаю. Привет!*

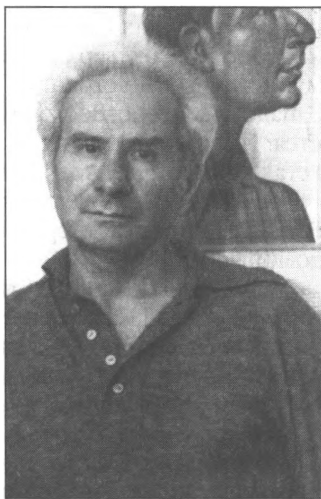
Александр Володин

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ СОБОЙ...

Он захлебывался сумбурным счастьем общения с людьми. Он неистово любил людей, близких ему по духу, по сердцу. Он так же неистово ненавидел чуждых – продавшихся, предавших.

На встрече в Ленинградском университете студенты спросили нас: «Что для вас главное в образе Фокусника?» Я забормотал что-то невнятное, а он сказал просто: «Человек, который остается собой в уродливой стране». И благодарные аплодисменты студентов.

Когда я еще не знал его, на роль Фокусника в моем сценарии я предполагал другого артиста. Но вот режиссер Петя Тодоровский приехал с Гердтом в Ленинград. Говорили о том о сем, я упомянул строку Пастернака. А он вдруг произнес следующую. Я дальше – и он дальше. И другой стих, и третий... И я бросился к нему, и он неровно зашагал навстречу. И мы обнялись и долго читали в два голоса стихи любимого поэта. И мы были едины, до конца съемок картины, до конца его жизни.



3. Гердту

Правда почему-то потом торжествует.

Почему-то торжествует.

Почему-то потом.

Почему-то торжествует правда.

Правда, потом.

Но обязательно торжествует.

Людам она почему-то нужна.

Хотя бы потом.

Почему-то потом.

Но почему-то обязательно.

1973

Ехал поезд из Петербурга в Москву. И в вагоне было почему-то много американцев. Экскурсия, что ли? Было понятно, что американцы, потому что я знаю по-английски: «Ай доунт спик инглиш». И – вдруг! Все они сразу встали и запели! И это был, как у них называется, День благодарения или что-то в этом роде. (Пишу «американцы» с маленькой буквы, потому что у них слишком большие амбиции.) Тогда как Россия, как раз наоборот, Сверхсверх-Держава. Да еще вместе со всеми фашистско-коммунистическими странами – Хусейном, Китаем, Северной Кореей, Юго-Западом и Северо-Востоком, Кубой и т. д. – вы представляете, что получается? И все же, несмотря на свое духовное ничтожество, эти американцы встали и поют! Мы-то, разумеется, сидим.

И вдруг! Один человек из наших тоже встал! И кто бы вы подумали! Это был киноартист Гердт! И скажу больше! Он пригласил их всех к себе домой в гости!

Тут надо пояснить. Он, как одержимый, любит всех своих друзей, а имя им – сонм! Назвать их – ахнете! Да что там! – Русско-еврейский человек! Но что дальше – они все, американцы, как один, в назначенный день явились! И это было прекрасно, не поверите! Несмотря на то, что все-таки американцы!

Еще случай, и опять не поверите, в Небольшом, но Нашем провинциальном городе на встрече со зрителями упомянутой Гердт шутки ради предлагает назвать любое стихотворение пастернака (тоже приходится с маленькой буквы, так как он – нобелевский лауреат все той же бездуховной америки). И подумайте! Какой-то книгочей называет! И Гердт, не говоря плохого слова, читает это замысловатое наизусть! То есть – по памяти!

И откуда все это – спросите!

От любви, от тяготения его к державной Руси, к людам ее, таким разнообразным. К поэзии, так широко, необъятно она раскинулась вдоль и поперек погибающей Страны.

Такой вот человек.

Об Александре Ширвиндте

Познакомившись, Зяма с Шурой завязались на всю жизнь. Лучшие всех про Шуру сказал Александр Моисеевич Володин: «Шура – идеал человека». И действительно это так, с какой стороны ни посмотри на Шуру. Красавец (в молодости даже такой... парикмахерский красавец с витрин). Высокий. Обаятельный. И при этом – с очень затаенными прекрасными человеческими свойствами.

Мы очень много вместе отдыхали. На туристических базах, дикарями... Как-то, отдыхая в лагере Дома ученых, мы пошли за грибами. Бродили, бродили – никто ничего не собрал... Вдруг Шура кричит: «Сюда, сюда!». Сбежавшись на голос, мы оказались в лесочке, усеянном подосиновиками. Увидев наши округленные глаза, Шура справедливо заметил: «Другой бы затаился. А я вас всех позвал». Вот это чувство – поделиться тем, что радостно ему самому, – очень свойственно Шуре.

В минуты крайние Шура – истинный товарищ. Без обсуждения, без разговоров всегда придет и сделает все, что нужно.

В 1967 году Зяма одновременно снимался в двух картинах: в «Фокуснике» Петра Тодоровского и в «Золотом теленке» у Михаила Швейцера. И кроме всего прочего, играл спектакли в своем кукольном театре. Жизнь его была немного жутковатенькая... Он отыгрывал спектакль, а у театра уже ждала киносъемочная машина. Я подъезжала с термосом и едой, кормила Зяму в машине. Затем его увозили в Юрьев-Польский сниматься Паниковским. Привозили туда в два часа ночи, в пять утра поднимали, гримировали. В семь утра уже снимали. В час дня машина везла его на спектакль, и так по кругу много дней подряд... В общем, ужас.

Театр поехал на гастроли в Ленинград, и туда же, чтобы не прекращать съемок, выехала группа Тодоровского. Не кончиться бедой это не могло, несмотря на то что Зяма ещё был тогда в силе. Однажды мне позвонили из Ленинграда (это была актриса, наша общая подруга). «Танечка... ты мужественный человек, поэтому я скажу тебе всё прямо: у Зямы – инфаркт».

Выяснилось, что на съемке Зяме стало плохо и он упал. Вызвали скорую, которая увезла его в Военно-медицинскую академию. Через три с половиной часа я была уже в Ленинграде. Встречали меня актер театра и второй режиссер съемочной группы.

Я иду от самолета. И вдруг вижу, что у обоих этих мужчин текут слезы. У меня начали подкашиваться ноги. И когда я подошла, по выражению моего лица они поняли, что я очень сильно напугана, и сразу бросились меня успокаивать: «Нет-нет, что вы!.. Всё в порядке! Он жив,

только в больнице...» Я спросила: «А чего же вы тогда с такими лицами?» Оказывается, их потрясло, что после звонка через три с половиной часа я уже иду по взлетной полосе Пулковского аэродрома. Я сказала: «Вы сейчас могли бы и меня на носилках отвезти туда же».

Зяма лежал в госпитале, я жила в гостинице. Без денег, без каких-то необходимых вещей... Слава богу, выяснилось, что инфаркта у Зямы не случилось, но предынфарктное состояние налицо. Через три недели можно было выписывать.

Мне нужно было отблагодарить докторов, которые его выходили. Выяснила, что лучшие всего будет ящик коньяка. Ящик! В те времена и бутылку купить было непросто, не говоря уже о деньгах... Стало ясно, что в Ленинграде столько коньяку мне не достать. Я позвонила в Москву старшему брату Зямы, довольно быстро он мне отзвонил с ответом: ничем помочь не могу...

Положение мое было ужасное... В этот же день мне позвонил Шура и сразу же спросил, что с моим голосом. Я ему всё объяснила: так и так, не знаю, как быть, завтра Зяму забирать – а с чем его забирать, не знаю... «Хорошо, – ответил мне Шура, – подожди, я перезвоню». Через час он перезванивает: «Значит, так: завтра в семь тридцать утра поезд такой-то, вагон такой-то, проводницу зовут Нина. Выдвигайся».

Это только кажется: подумаешь, дело! В тот момент Шура бросил всё... Не знаю, в каком ресторане или ещё где и за какую цену он купил этот ящик коньяка, но потом ни словом, ни звуком не вспомнил об этом. А я помню об этом всю жизнь.

Однажды стало известно, что на Пресне будет производиться запись на автомобили. Из нас почему-то никто не смог поехать, и Шура, записав номера наших паспортов, поехал туда один. Позвонив среди ночи, он сообщил: «Ребята, ничего не вышло. Это не запись на автомобили. Это перепись евреев».

Шура постоянно занимался доставанием для кого-то лекарств, деталей для автомобиля, укладкой кого-то в больницу... Мы с Зямой всё шутили над ним: «Смотри, не перепутай, кого в какое отделение!»

А какой Шура сын! Где бы он ни находился, по двадцать раз на дню он звонил своей маме и без всяких сантиментов говорил: «Ну, слепая, как ты?» (с возрастом его мама полностью потеряла зрение). И в этой кажущейся грубости на самом деле была высочайшая поддержка, которой он продлил ей жизнь настолько, насколько это было возможно, и даже больше.

Шура – всеобщий любимец, был таким в молодости, остается им и сегодня. Не было публичного выступления Гердта, на котором его не

попросили бы рассказать о Ширвиндте. Очевидно, всем было известно, что они дружат.

Вокруг знаменитых любимцев туча идиотских вымыслов. Однажды Зяму спросили: «А правда, что Ширвиндт – голубой?» – «Конечно, только патологический». – «То есть?» – «То есть – любит женщин».

Шура, редкостный артист, женат смолоду, единожды и на всю жизнь. Правда, и жена ему досталась замечательная. Наталья Николаевна – самостоятельная личность, архитектор.

Я не рассказываю, какой Шура артист, теперь и руководитель театра, а хочу сказать о том, о чем не все знают. Он – лучший дедушка в Москве.

Александр Ширвиндт

I УКРАШЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ

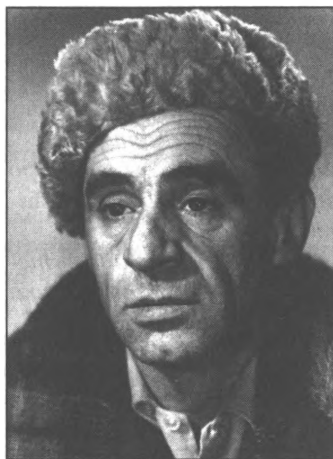
Друзья! Разрешите поднять этот, в данном случае умозрительно-символический, бокал за неувядаемое украшение нашей жизни – за Зиновия Гердта.

В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неподобающим. Гердт – воинствующий профессионал-универсал.

Я иногда думаю, наблюдая за ним: «Кем бы Гердт был, не стань он артистом?» Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, – умелые, сильные, мужские (вообще Гердт «в целом» очень похож на мужчину – археологическая редкость в наш инфантильный век). Красивые гердтовские руки – руки мастера, руки артиста. Мне всегда казалось, еще тогда, в театре у Образцова, что я вижу сквозь ширму эти руки, слившиеся с куклой в едином живом организме.

Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он не только глубокая поэтическая натура, он один из немногих знакомых мне людей, которые не учат стихи, а впитывают их в себя, как некий нектар (когда





присутствуешь на импровизированном домашнем поэтическом джем-сейшене – Александр Володин, Булат Окуджава, Михаил Козаков, Зиновий Гердт, синеешь от белой зависти).

Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона «своих» двойников Л. О. Утесов обожал Гердта.

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта еще и хороший голос.

Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт – будь то эстрадный монолог, которыми он грешил в молодости, или журнальная статья, или текст для фильма, – это всегда индивидуально, смело по жанровой стилистике.

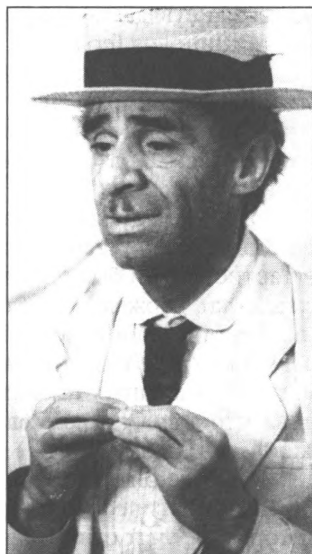
Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом.

Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос – эталон этого еще мало изученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь ни с каким другим по тембру, по интонации, по одному ему свойственной гердтовской иронии: будь то наивный мультфильм, «Двенадцать стульев» или рассказ о жизни и бедах североморских котиков.

А как бы он танцевал, не случись эта беда – война.

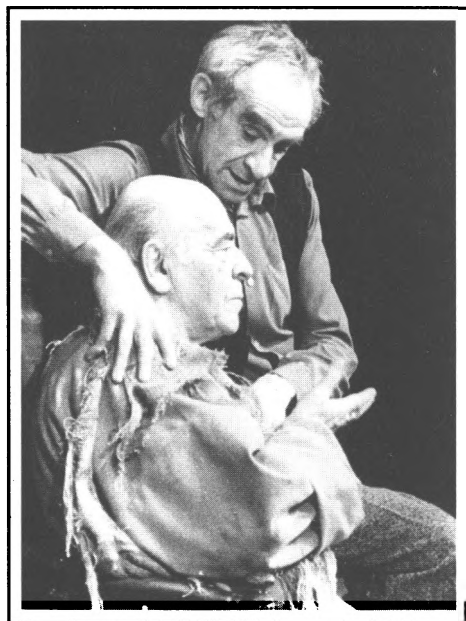
Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, Богом данный, и славу этому Богу, что при всех профессиональных «совмещениях» этой бурной природы ему (Богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене и...

Диапазон Гердта-киноактера велик. Поднимаясь до чаплинских высот в володин-





*Апламбов, он и в Лондоне Апламбов.
Сергей Образцов, Зиновий Гердт.
Лондон, 1954*



*Театральный центр
имени Ермоловой.
Зиновий Гердт, Всеволод Якут
в спектакле «Костюмер». 1987*

Зиновий Гердт, Татьяна Правдина, Петр Тодоровский. Одесса, 1976



«В Одессе у меня совершенно особый статус существования. Несмотря на южный темперамент, одеситы корректны, вежливы: «Здравствуйте! Как себя чувствуете?» Будто все живем в одном маленьком поселочке. Там, в Одессе, есть лишь одно неудобство: таксисты не берут с меня денег. Но я смирился...»

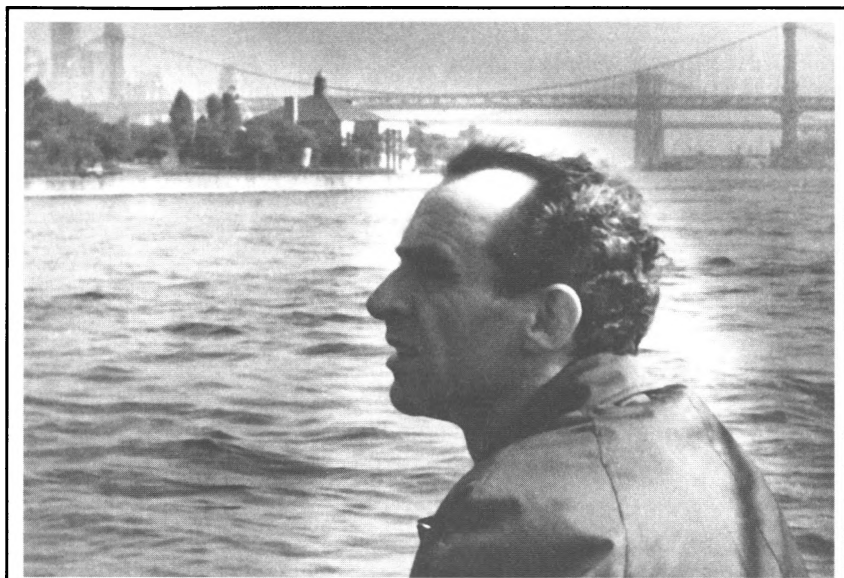
Зиновий Гердт



*«...И дух восторжен и неистов
у двух одесских куплетистов». Май, 1977*



*После показа к/ф «Военно-полевой роман». Слева направо:
Зиновий Гердт, Наталья Андрейченко, Петр Тодоровский,
Николай Бурляев, Инна Чурикова, Всеволод Шиловский. 1983*



«Утро ихней родины». Нью-Йорк. 1963



Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Зиновий Гердт



На даче художника Ореста Верейского. Пахра



На даче мамы с
сыном в 70-е
от И. Стрелова

С нобелевским лауреатом академиком Ильей Франком. Июль, 1979



С Вахтангом Кикабидзе



Два Зиновия: Гердт и Паперный. Гостиная ВТО

Юбилей – 75. 1991



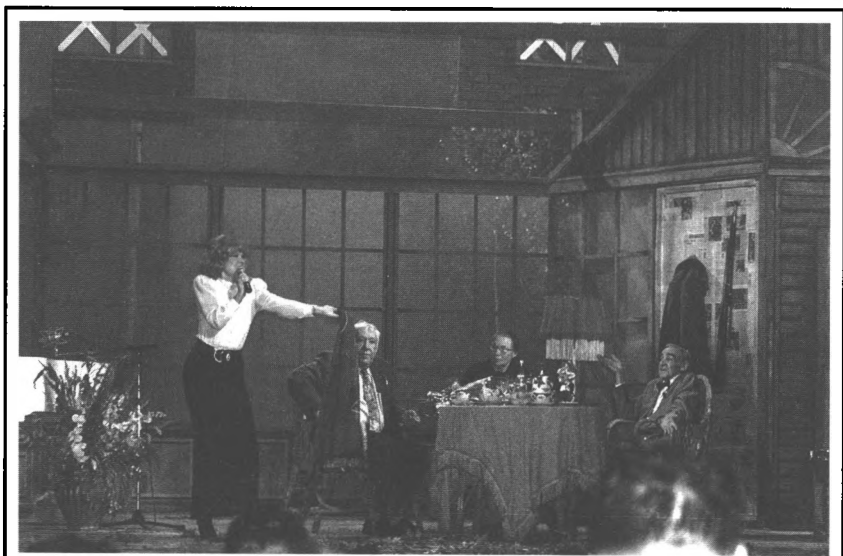
Ведут вечер Татьяна Догилева и Михаил Мишин



На праздновании в Театральном центре им. Ермоловой



Татьяна Правдина и Зиновий Гердт. Сочи, «Кинотавр». 1996



Юбилейный вечер 2 октября 1996. Людмила Гурченко, Юрий Никулин, фронтовая медсестра Вера Веденина, Зиновий Гердт

ском «Фокуснике» или достигая мощнейшего обобщения в ильфовском Паниковском, Гердт всегда грустен, грустен, и всё тут, как бы ни было смешно всё, что он делает.

Его костюмер в одноименном спектакле – это чудеса филигранной актерской техники, бешеного ритма и такой речевой скорости, что думалось: вот-вот устанет и придумает краску-паузу, чтобы взять дыхание, – не брал, неся дальше, не пропуская при этом ни одного душевного поворота.

II

*Посмертная казнь – это воспоминания
о тебе «лучших» друзей.*

Ф. Раневская

ОН БЫ СДЕЛАЛ ТРОН

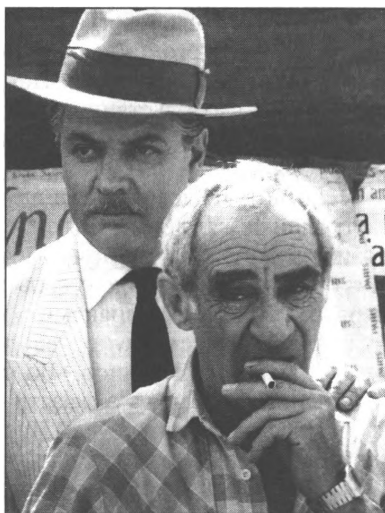
Он не умирал, а до последней секунды радовался жизни.

Даже тогда, когда помощник президента привез ему орден «За заслуги перед Отечеством» III степени... и над лежащим Зямой прочёл стихи Пастернака, Зяма от изумления приподнялся, ему нанизали этот орден, и он опять лег.

Ну что это такое – третья степень?.. У кого-то, значит, заслуги перед Отечеством первой степени, у кого-то пожизне – второй, а у Зямы – третьей... Есть еще и четвертая... Как ценники... Осетрина не бывает второй свежести, а орден за заслуги – бывает... Бред.

В нем было очень много детскости, хотя внешне он всегда имел такую... мудро-ироническо-сниходительную мину по отношению к людям, которые на него случайно набрасывались...

Поехал он как-то раз с творческими вечерами не то в Иркутск, не то во Владивосток... Было ему лет семьдесят пять (возраст в его жизни никогда



Шура – защитит

ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый). Возила его заместитель администратора, девочка, которой было что-то около восемнадцати лет... Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам и так далее, где Зяма увлеченно и стремясь увлечь читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди, из уважения к нему, всё это слушали, выпучив глаза... Потом Зяма над ними сжаливался и начинал рассказывать какие-то байки и анекдоты... Они просыпались и смеялись от души.

Когда артист ездит по стране с концертами, то у него есть какая-то болванка, на которую всегда нанизывается вся программа. Делается умный вид и говорится: «Да, кстати, я вот только что вспомнил...» – хотя вспоминаешь «это» уже 30–40 лет подряд...

Зяма был в этом плане среди нас, в данном случае актеров эстрады, первым. Он так органично делал вид, что «это» только что пришло в голову, что подозрений к заготовкам никогда не было. Он никогда не попадал в катастрофу, в которую рано или поздно попадает любой артист во время «чеса» (так раньше назывался график гастролей, когда в день нужно было играть три-четыре концерта). Со мной такое однажды случилось в городе Кургане, когда на третьем представлении я вот в этой же манере «да, кстати, я вот только что вспомнил...» начал рассказывать какую-то историю и, споткнувшись о подозрительную тишину в зале, ужаснувшись, понял, что говорил это минут десять назад... А у меня-то ощущение, что я говорил это на прошлой встрече, часа три назад!.. Мозги-то не подключены... Ну... Я, конечно, вяло вывернулся, сказав: «Это я вам сейчас показал – как бывает, когда артист... чешет...» и прочее.

С Зямой этого произойти не могло ни при каких обстоятельствах. У него была железная канва выступления, но каждый раз он рассказывал всё с таким удовольствием, так свежо и азартно, что зрители действительно уходили от него с ощущением случайного, но очень душевного разговора.

Так вот, эта девочка, зам. администратора, где-то на четвертый день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович... Я вас так патологически обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный... Спонтанно это не решается... Во-первых, ты должна познакомить меня со своими родителями... Кто у тебя родители?.. (Далее следует ответ девочки, кто у нее родители, типа: папа – в порту, мама – экономист...) Во-вторых: ты должна сообщить им о своем намерении и всё честно сказать – в кого... кто... Сколько папе лет?.. (Следует ответ, сколько папе лет.) Ну так вот, обязательно скажи, что твой жених (пауза)... в два раза старше... папы».

Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал?.. В том-то и дело, что Зяма не делал для этого ни-че-го.

...В Мировом океане существует закон, сформулированный людьми как «запах сильной рыбы». Выражается он технически очень просто: тихая, штилевая, солнечная, невинно-первозданная гладь Мирового океана – сытые акулы, уставшие пирани, разряженные электроскаты, растаявшие айсберги, вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего всё приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты осязаемой оседлости, появилась «сильная рыба», даже не она сама, а только ее «запах»... И идиотская безмятежность Мирового океана моментально нарушается.

В воспоминаниях Черчилля есть описание его встречи со Сталиным и Рузвельтом. Черчилль дал себе слово, что, когда войдет Сталин, он не встанет, а будет приветствовать его сидя. И вообще он про себя решил, что придет немножко позже. В назначенный час Черчилль вошел, припоздав... – Сталина нет... Через какое-то время вошел Сталин, и Черчилль через секунду понял, что он стоит... Я, разумеется, ни в коем случае не сравниваю Зяму со Сталиным, но... Магнетизм исходил от него всегда, и это свойство – не актерское.

Актеры – животные довольно странные...

Я своим студентам уже 42 года говорю: «Чем актер глупее – тем лучше». Мне, конечно, возражают: мол, как это так?.. если у актера мозгов нет, то что же тогда он сможет сказать зрителю со сцены?.. да и сколько актеров-философов!.. Но ведь недаром же говорят, что переиграть на сцене или в кино собаку, кошку или маленького ребенка почти невозможно. Для того чтобы это получилось, нужна определенная степень наива. Многие актеры играют мудрость, но это всё равно видно...

Нельзя сказать, что Зяма был мудрец, но... в нем была такая бездна интуиции, титанической памяти и способности увлекаться, что суммарно получалось, что он – очень умный актер. Потому, что он был необыкновенно свободен, как ребенок, что, на мой взгляд, представляет собою в искусстве более весомую ценность, чем ум мудреца.

Я всегда поражался и завидовал людям, которым не надо учить стихи. Зяма, Саша Володин, Миша Козаков, Эльдар Рязанов... – они стихи не учили. Они просто читали их и впитывали. Мгновенно. Как поэты. Прочли и впитали. Поэтому их поэтическая эрудиция была грандиозной. Они даже играли в такую игру: один читает пару строк, другой должен продолжить – кто первый запнется... Я не могу сказать, что мало прочел в этой жизни, но чтобы столько запомнить... столько?.. Мне это просто не под силу. А сколько Зяма учил текста, находясь уже в преклонном возрасте!.. Это же немыслимо!.. Мефистофель в «Фаусте» у Козакова... А Фейербах у Валеры Фокина – там же бездна текста... невпроворот... и какой сложный слог... Но Зяма был королем. Он был просто недосыгаем.

А вот так задуматься... Война. Роковая ущербность. Существование долгие годы за ширмой, похожее на затянувшееся затмение... Потом постепенно, потихонечку, через голос, через тембр, через талант он вырвался из-за этой тряпки... Для того чтобы пройти такой путь и потом выйти на такие вершины мастерства, я убежден, необходимо большое мужество и нормальное человеческое честолюбие. Зяма всегда знал, что он собой представляет, как сейчас выглядит, как соотносится со всем остальным и со всеми остальными в каждый момент своего существования. В нем было достаточно *нужного* тщеславия.

Вот Зяма сидит за столом. Гости. Он царит. В любом застолье он занимал свою нишу. Он как-то затихал внутренне и созерцал, наслаждался разговором, рассматривал людей, как диковинных рыб.

Вокруг него всегда были люди соревновательные... Он приобретал их, словно выигрывая жизни на аукционе. И радовался потом своим «приобретениям», как ребенок. Он умел любоваться людьми. Слушать их и просто любоваться.

А вот мы с Зямой идем по Пахре. Навстречу идет писатель Икс. Мы идем с речки... И Зяма говорит: «Я не подам ему руки...» И так он это сказал, что мне даже ответить-то на это было нечего. Идем. Молчим. Приближается. Зяма: «Сволочь... гнида... антисемит... не подам ему руки...» Я иду, молчу... А ведь когда долго готовишься к тому, чтобы не подать руки, то обязательно подашь ее... Писатель Икс шага за четыре говорит елейным голосом: «Боже мой... Какие лю-ю-юди...» Зяма как-то замедленно касается его руки своей, убирает ее, словно уже больную, в карман... и мы молча уходим. Молча, потому что оба знаем, что не подать руки легко, если это процесс взаимный, а вот если человек говорит «счастье мое...»

Мы много отдыхали вместе.

Самым любимым организованным отдыхом у нас был отдых не на курорте в хороших гостиницах, а отдых от Дома ученых – палаточный городок со столовой под навесом, на море, озере или в лесах.

Каждый день в столовке дежурило по двое отдыхающих – подметали пол, накрывали столы, подавали еду и так далее. Нам с Зямочкой выдавали фартуки... Нужно было резать хлеб, орать на всех, чтобы убирали за собой... Когда мы дежурили – было весело. В основном там были ученые (потому что отдых от Дома ученых), а нас (меня, Зяму и Булата Окуджаву) туда пускали из сострадания. Сережа с Таней Никитины бывали много раз... Частенько пели песни у костра вечером... И даже Булат, который делал вид, что терпеть этого не может, много пел... Зямка читал стихи... И всё было замечательно.

Контингент там был постоянный. У нас была своя компания, но Зя-



*Эмма Зенкова, Татьяна Правдина, Зиновий Гердт,
Булат Окуджава, Ольга Арцимович-Окуджава.*

Проездом на отдых в Латвию с милицией Зяминого Себежа, 1980-е

ме как воздух нужны были новые инъекции собеседников и поклонников. Есть актеры, как, например, покойный Папанов, которые носят огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы ни-ни, никто не узнал и не приставал с автографами... А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут: когда же их заметят?.. когда набегут?.. Этакая паническая жажда круглосуточной популярности... Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и повторять: «Смотрите, живой Гердт!..» – нет. Он искал новую *аудиторию*. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес... Но всё равно шел к людям сам, в надежде на неслыханное...

Звонит Зяма: «Всё!.. Срочно берем жен и детей... по машинам... и поехали».

Нижнее Эшери... Недалеко от Сухуми... Красота невообразимая... У нас с женой и сыном какой-то сарай... Зяме с Таней и Катей досталось какое-то подобное жилье с комнатой чуть побольше. Над кроватью Зямы огромный портрет Сталина, выгканный на ковре, правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина: невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним маленькое тело Зямы, испытывающего патологическую «любовь» к этой фигуре... А фамилия хозяина дома, где жил Зямка, как сейчас помню, была – Липартия... И вот Зяма жил у Партии, под Сталиным.

Море было недалеко. Но для того, чтобы до него дойти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой каменную россыпь из булыжников, гольшей и маленьких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой и мягкой подошве, а тогда... Но Зямин оптимизм побеждал.

«Никаких курортов и санаториев!.. Только чистая природа, натуральные продукты, натуральные поселяне...»

Вдобавок к натуральным поселянам в первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебно... каждую ночь мы «тряслись» в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север... Но каждое утро мы просыпались опять в Нижнем Эшери...

На заре советской автомобильной эры у всех нас, естественно, была мечта купить машину. А это по тем временам было дикой проблемой. Нужно было ходить, кланчить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили на очередь... Мы с Зямой записывались в очередь, а потом жгли костры по ночам вместе с другими алчущими, чтобы ее (очередь) не проворонить, чтобы тебя (не приведи Господи) не забыли в лицо... И продавали мы машины тоже всегда вместе.

В Южном порту была знаменитая автомобильная комиссионка. Там было несколько отсеков. Первый – для очередников на «Москвича», на которого ты стоял в этой очереди четыре года (то есть для простых смертных). Второй – содержал в себе машины, на которых можно было ездить: списанные с посольств, с дипкорпуса... А потом... в самом конце... был третий отсек, представлявший собою такой маленький загончик, в котором стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек, космонавты – в общем, люди, достойные во всех отношениях... Там стояли (как тогда говорили с придыханием) иномарки.

Большинство нормальных советских людей вообще не знали, что это такое. Зямина пижонская мечта была – добраться до этого заветного третьего отсека. И он до него добрался.

Но, как оказалось, там тоже всё было дифференцировано. Здесь – машины для космонавтов, здесь – для сыновей и тому подобное.

И вот, уже пройдя все кордоны и заслоны в виде подписания бумаг в ВТО, в Союзе ветеранов-инвалидов, почему-то в Министерстве торговли, где-то еще, собрав целую папку бумаг и подписав ее у очередного-последнего управленческого мурла, Зяма таки получил смотровой талон в этот третий отсек. По этому талону можно было в течение двух недель ходить туда и смотреть на иномарки. Там были какие-то вялые поступления... но если ты за эти две недели так и не решился купить что-то из предложенного, то действие талона просто истекло и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэто-

му была такая страшная нервотрепка... Зяма, проехав туда дней двенадцать, занервничал.

Звонит мне оттуда: «Всё... Я ждать больше не могу. Я решился. Я покупаю «Вольво-фургон». Я ему: «Зяма, опомнись... какого она года?..» Он мне: «Думаю, 1726...» (Ей было лет двадцать...) – «Ну, она хоть на ходу?..» – «Да, всё в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс... Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем... но не успеваю представить до конца, потому как слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как на ней ездить».

Я приперся туда. Вижу огромную несвежую бандуру... И руль справа. «Давай, садись!..» – бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня на водительское место. Я, изо всех сил преодолевая довольно неприятные ощущения (ну всю жизнь проехать за левым рулем, а тут!..), сел за этот самый правый руль, и мы поперлись... С меня сошло семь потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине был еще один нюанс... Эта бедная машина стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно...



И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик... нужно было кланчить либо в УПДК¹, либо покупать в четыре цены, либо заказывать тем, кто едет за границу (где таких машин уже просто никто не помнит), записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. В общем, ужас... Но все-таки Зяма упорно на ней ездил (он всё-таки почти сразу научился ездить с правым рулем).

Зямина езда на этой «Вольве-Антилопе гну» подарила мне несколько дней «болдинской осени».

Осенью Зяма немножечко зацепил своей «Вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависла угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции... Мы с Зямой взяли за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и каялись... Но... Размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались, наконец, до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советского ГАИ.

Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так сочиняете дватри стихотворных плаката к месячнику безопасности движения... Если понравится – будем с вами... что-нибудь думать».

Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы, которые даже сегодня, в наш бесконтрольный век торжества неноменклатурной лексики, печатать неловко... Но... с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с выпученными глазами и поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права... А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:

Любому предъявить я рад
Талон свой не дырявый,
Не занимаю левый ряд,
Когда свободен правый!

Это всё, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15–20 заготовок типа:

Зачем ты делаешь наезд
В период, когда идет
Судьбоносный, исторический
24-й партийный съезд?..

Зяма всегда и всё в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в теат-

¹ УПДК – Управление дипломатического корпуса.

ре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.

Он всегда замечательно одевался. Носил вещи потрясающе элегантно. Он никогда не раздумывал над покупкой, он просто очень хорошо знал, во что ему положить тело.

И хромота у него была такая... которая вовсе не читалась как хромота. Он не хромал, а нес тело... Нес... Как через «лежащего полицейского»¹, через которого нужно переехать медленно...

У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия – Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в конце XX века можно носить фамилию из фонфизинского «Недоросля», где все персонажи: Стародум, Митрофанушка, Правдин... стали нарицательными. Наричательная стоймость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная.

С ее появлением в жизни Зямы возникла железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться... Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь.

Таня – гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни...

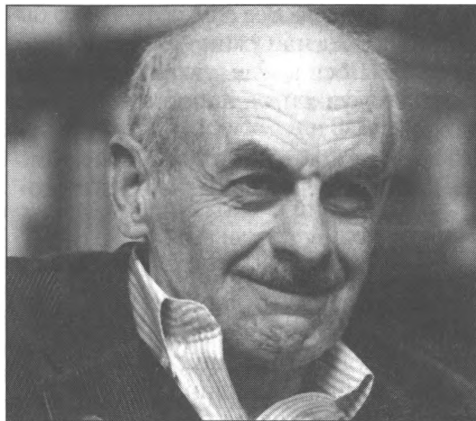
Зяма был дико «рукастый». Такой... абсолютный плотник. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток – скамейку, стол, лавку, табуретку... всё это он сбивал за одну секунду.

Я тут недавно вспоминал Зяму, когда у себя в Завидове пытался построить сортирный стул, чтобы была не зияющая дыра, а чтобы всё было удобно... Я мучился, наверное, двое суток над этой табуреткой. И когда я забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак с другой стороны – вся семья была в истерике... И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил всё это за две минуты, и это был бы самый красивый и удобный уличный сортир в цивилизованном мире. Он сделал бы трон.



На даче

¹ Так называют возвышение на асфальте, укладываемое по ширине дороги для снижения скорости автомашин (*peg*).



О Булате Окуджаве

Булата Зяма впервые увидел (и услышал) году в шестидесятом или шестьдесят первом в доме «всехнего» знакомого Юры Тимофеева. Придя домой, он сказал, что, как ему кажется, он присутствовал при явлении, которое будет длиться и замечательно повлияет на духовную жизнь поколений.

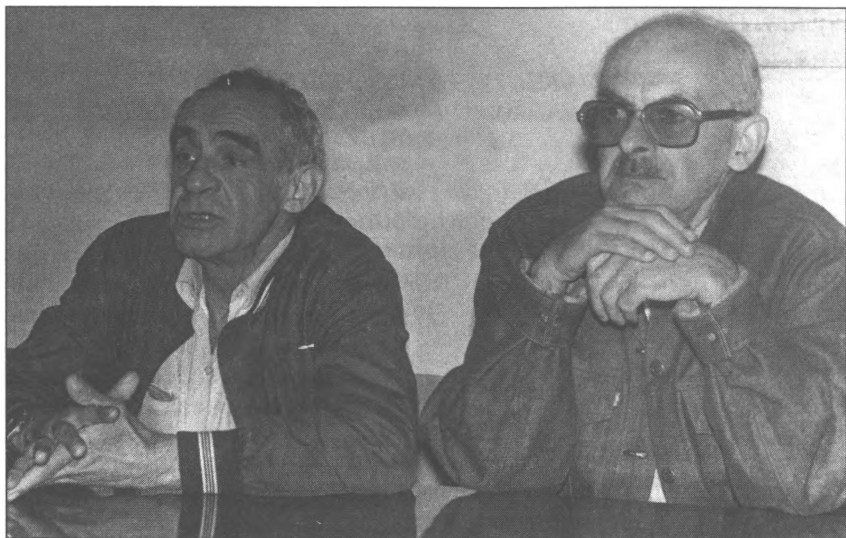
Думаю, нам всем, и тем, кто сегодня стар, и молодым, и их детям, редкостно посчастливилось, что в нашу жизнь пришел Окуджав. Он возник в ней как бард, но бардов, вполне душевных и крепких, довольно много, и было время, когда его имя, хоть и во главе перечисления, упоминалось среди них. А потом стало ясно, что это невозможно. Он уникален, и ни с кем в ряду, даже с самыми замечательными, не стоит. А стоит отдельно и выше. Потому что он, и это главное, Поэт, определивший на долгие годы эпоху. Звучит, наверное, высокопарно, но это из-за того, что внутри себя я ставлю его еще выше. Как Пушкина. Булат не гений, не Пушкин, но талант такой значимости, что и на памятнике ему могу представить:

*И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.*

Сам Булат, немыслимо скромный и тихий, наверное, поморщился бы и сказал: «Ну, ты уж совсем.»

Последний раз Зяма и я виделись с Булатом неожиданно – в лечебном институте. Я привозила туда Зяму на процедуры, и доктор, к которой на консультацию приехал Булат, сказала ему, что здесь Гердт (она была и Зямыным доктором и знала, что мы дружны).

А потом Зямы не стало. Я в течение многих месяцев не звонила никому. Мне звонили. Булат – нет. И вдруг, перед отъездом Оли и Булата в Германию и Париж, он позвонил и, как будто мы расстались вчера, спросил: «Как ты?», сказал, что уезжает (чего раньше не делал никогда), мы поздравили друг друга с наступающими днями рождения (они у нас в один день) и попрощались.



Зиновий Гердт и Булат Окуджава в Себеже

В ужасном смысле этого слова – навсегда.

Много лет подряд, когда наступал август, мы общались круглосуточно – на поляне в лесу на реке Гауя в Прибалтике. И когда, достаточно часто, я думаю о Булате, то, как одно из «чудных мгновений», вспоминаю: я сижу у палатки за собственноручно сколоченным Зямой столом, коря над каким-то арабским переводом; от палатки, стоящей метрах в двадцати от нашей, приближается Булат и читает мне только что написанное им про «пирог с грибами»... У нас у всех был отпуск, но у творческих людей любой профессии «отпуска» не бывает. А уж у Поэта – никогда.

«Господи, мой боже, зеленоглазый мой...» – уверена, Пушкин бы одобрил.

Булат Окуджав

**БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА,
или СТИХИ О ТОМ, КАКОВО НАМ БЫЛО, КОГДА НАМ НЕ БЫЛО,
КУДА ТОРОПИТЬСЯ**

Зиновию Гердту

Божественной субботы
хлебнули мы глоток,
от празднеств и работы
закрылись на замок.
Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили,
и он сиял для нас.
Еще придут заботы,
но главное в другом:
божественной субботы
нам терпкий вкус знаком!

Уже готовит старость
свой неперемный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таким минут?
На шумном карнавале
торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он, грешный,
неспешный пир души.
Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.

*Ленинград,
29 апреля 1974 года*

Б. Окуджав

О Геннадии Трунове

«Это Гена Трунов позвонил» – так звучит ответ на мое: «я слушаю», когда из Перми или по приезде в Москву звонил и звонит Гена. Для московского уха непривычно, а я всегда радуюсь, потому что в этом коротком сообщении звучит: «Извините, так уж случилось, я позвонил, ничего не поделаешь, простите...» И все это с такой немыслимой деликатностью и постоянством, что возникает полное доверие к искренности этого человека, к его



абсолютному бескорыстию. Я думаю, что из публикуемого ниже текста читатели поймут, что за человек Геннадий Михайлович. По-моему, на таких земля держится.

Гена, дорогой!
У меня не так широкий
Круг друзей! Вы в этом
Круге безусловно.

Спасибо Вам.

Ваш З. Сулягин

14 кн 79

Иерты.

Геннадий Трунов

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ

Приведенные Татьяной Александровной доброжелательные, очень приятные для меня слова написаны на обороте фотографии, которая вот уже двадцать лет хранится в моем альбоме. В центре фото – Зиновий Ефимович Гердт, рядом с ним – несколько человек. Это руководители и сотрудники Пермского филиала Государственного института прикладной химии, в том числе и я, младший научный сотрудник одной из лабораторий и активист городского Общества книголюбов. Зиновий Ефимович выглядит несколько усталым. Двухчасовой перелет Москва – Пермь, длительная поездка на автомобиле в отдаленный район города и выступление в актовом зале перед сотрудниками нашего института – всё это наш гость проделал без всякого отдыха! Я же выгляжу немного ошалелым, но не из-за того, что нахожусь рядом со знаменитым и любимым артистом. Просто я еще не пришел в себя после потрясающего открытия. И это открытие – Гердт...

Но как же народный артист РСФСР Зиновий Гердт оказался так далеко от столицы? Ответ прост – по приглашению Пермской организации ВОК (Всесоюзного общества книголюбов). «А что это такое?» – спросят молодые люди. В конце 70-х годов в России был страшный дефицит книг. Дефицит хороших книг, а не партийной «макулатуры», сочинений генсеков и книг по идеологии, которыми были забиты полки книжных магазинов. Купить там хорошую книгу можно было только в двух случаях: если ты оказался в магазине, когда был «привоз» (тогда ты – счастливчик, баловень судьбы!), либо ты был близко знаком с продавцом, который мог «попридержать» для тебя книгу или альбом по искусству. И вот по «указанию сверху» было принято решение учредить Всесоюзное общество книголюбов, одним из видов деятельности которого должно стать распределение среди его членов новых книг. Кроме этого, городским организациям ВОК было разрешено осуществлять, говоря современным языком, «коммерческую» деятельность определенного вида – проводить платные мероприятия: концерты и праздничные вечера, организовывать встречи с артистами и тому подобное.

Все, кто любил книги (примерно половина взрослого населения страны!), поголовно вступили в это общество. Взносы – небольшие, а гарантия получения хорошей книги – сто процентов! Естественно, что я и мои друзья вступили в это общество... Но меня еще выбрали в правление районной организации ВОК, где назначили ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий. Организовав с помощью моих друзей несколько тематических вечеров районного масштаба, я предложил пригласить в Пермь столичных артистов. Руководство меня

поддержало и уполномочило провести переговоры в Москве. Мне часто приходилось ездить в командировки в столицу, где я останавливался у своего двоюродного брата – известного московского художника Николая Недбайло. Накануне моего отъезда из Москвы в гости к Николаю зашел его хороший знакомый Александр Бурмистров, артист Театра кукол Образцова. Во время беседы за чашечкой кофе и чарочкой других сопутствующих напитков Александр предложил мне пригласить в Пермь Гердта. Я тотчас написал Зиновию Ефимовичу письмо с приглашением выступить перед пермскими книголюбями. Это письмо Бурмистров обещал незамедлительно передать адресату. Через два дня в Пермь позвонил Николай и сказал, что Зиновий Ефимович принимает наше приглашение и просит позвонить ему домой. С большим волнением я набрал номер домашнего телефона Гердта, но когда я услышал «Слушаю вас», произнесенное знакомым голосом, мне стало легко, и мы быстро и по деловому оговорили сроки приезда и число встреч. Любопытная деталь. Я вел переговоры со служебного телефона в присутствии своего коллеги Валерия Сойфера, такого же, как я, активиста-книголюбца. Он попросил меня спросить у Гердта, не может ли тот привезти с собой куклу-конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта».

– Да вы с ума... – Зиновий Ефимович не закончил фразу, которая должна была автоматически вылететь из его уст. – Нет! Что вы, это невозможно!

Реакция его была мгновенной. Услышав такое «дельное предложение», Зиновий Ефимович чуть было не произнес известное «устойчивое словосочетание» полностью, но сразу понял, что я не представляю себе тот сложный механизм, называемый куклой. Я это осознал позднее, когда со сцены Гердт рассказал о своих взаимоотношениях с Апломбовым. Об устройстве куклы, о том, что ее нельзя даже на секунду выносить из театра, что на случай отказа подлинника имеется точная копия этой куклы...

И вот я со своим другом Валерием Сойфером в аэропорту жду приземления самолета из Москвы. Естественно, что мы волнуемся, еще бы: «К нам прилетает Гердт!». Сразу разглядев Зиновия Ефимовича среди прибывших пассажиров, мы подходим к нему, знакомимся и в ожидании багажа обмениваемся свежими анекдотами. Я сейчас не помню, что мы рассказали, но это был неизвестный ему веселый анекдот, так как Гердт долго и искренне смеялся. В ответ он нам рассказал анекдот такого содержания, что мы сразу поняли: Зиновий Гердт – свой человек! Вот этот нестареющий анекдот. Делегация иностранных журналистов спрашивает главного инженера стройки века – БАМа: «Какая будет железная дорога, одно- или двухколейная?». Главный инженер в ответ рассказывает о трудностях, которые героически преодолевают советские люди при строительстве Байкало-Амурской магистрали. «Нет, вы нам скажите, од-

но – или двухколейной будет железная дорога?» – настаивают журналисты. В ответ: «Нам пришлось форсировать столько-то рек, пробить в горах столько-то туннелей...» Журналисты: «Нет, вы ответьте нам, пожалуйста, на наш вопрос!». Главный инженер: «Ну что вы пристали ко мне! БАМ строится с двух сторон. Если дороги сойдутся, то будет одноколейная! Если нет, то, значит, будет двухколейная дорога!».

Наметив дальнейшие планы – сначала в гостиницу (там немного и перекусим), затем к нам в институт, а вечером в районный ДК «Урал», где в 18 часов должно состояться первое выступление, – мы сели в машину и поехали. Учитывая, что аэропорт находится далеко от города, а на дороге был гололед, мы предложили Зиновию Ефимовичу сесть в машину на заднее сиденье. Но наш гость сказал, что он сам водитель-профессионал с большим стажем и поэтому будет сидеть на переднем сиденье.

В течение всего пути – а ехали мы почти час – гость любовался уральской природой. Нам было приятно услышать, что Зиновий Ефимович высказал желание как-нибудь приехать в Пермь летом. Забегая вперед, скажу, что это желание исполнилось: в начале лета 1991 года Гердт приехал в Пермь в составе труппы Театрального центра им. Ермоловой...

В нашем институте актовый зал переполнен. Зиновий Ефимович, пройдя под аплодисменты через весь зал, поднялся на сцену и стал читать стихотворение Бориса Пастернака, начинающееся со строчки: «Быть знаменитым некрасиво»...

Эффектное начало! Известный и знаменитый артист, прекрасно осознающий свой талант и место в российской культуре, сразу дал понять, что мы должны не просто сидеть и слушать, а мобилизовать все свои интеллектуальные и эмоциональные возможности, чтобы очутиться в новом для нас мире... Что мы знали о Гердте? Что он артист кино, так как все смотрели «Золотой теленок» Михаила Швейцера, а немногие видели и фильм Петра Тодоровского «Фокусник» (этот фильм прошел на вторых экранах без всякой рекламы). Что он ведущий артист Театра кукол Образцова, так как почти все видели по «ящику» «Необыкновенный концерт». Может быть, кто-нибудь и вспомнил, что «закадровый голос» в фильме «Фанфан-Тюльпан» принадлежит Гердту, а в фильме «Король Лир» эстонский артист Ярвет, игравший главную роль, говорил гердтовским голосом. Вот, пожалуй, и всё... А перед нами распахнул свою душу мудрый человек и тонкий психолог, остроумный рассказчик и глубокий лирик, талантливый имитатор и необычный артист, знающий наизусть километры стихотворных строк! Всё, что мы увидели и услышали, было абсолютно интересно. З. Гердт «открыл» нам заново Б. Пастернака, Д. Самойлова, Б. Окуджаву, Д. Кедрину, Г. Шпаликова, «показал» М. Светлова, В. Мейерхольда, А. Твардовского и других знаменитых людей, которых он близко знал. В его своеобразном моноспектакле о своей судьбе органически

присутствовали различные грани жизни, в том числе тема войны и очень важная тема становления человека (оказывается, Зиновий Ефимович любил наблюдать, как ведет себя малыш на детской площадке). И было это рассказано прекрасным литературным языком с неподражаемыми гердтовскими интонациями. Я «не расскажу за всю Одессу», но на меня лично это выступление оказало сильнейшее воздействие. Нет смысла говорить о широком спектре моих переживаний, но тем не менее отмечу такой момент.

За несколько дней до приезда Гердта я прочитал в журнале «Вопросы философии» очень интересную статью известного физика-теоретика Е. Л. Фейнберга «Искусство и познание», в которой цитировалось стихотворение А. Твардовского:

*Я знаю, нет моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же...*

Стыдно признаться, но это пронзительное стихотворение я впервые прочитал именно в этом журнале. И вот Зиновий Гердт в своем выступлении, рассказывая нам о своей дружбе с Александром Трифоновичем Твардовским, прочитал именно это стихотворение! А через некоторое время, отвечая на наши вопросы, он рассказал о своем друге Евгении Львовиче Фейнберге, физике-теоретике, знающем на память стихов еще больше (!), чем он сам... В моем сознании возникла цепочка фактов: мое «журнальное» знакомство с Фейнбергом – Фейнберг дружит с Гердтом – я познакомился с Гердтом... И я решил замкнуть эту цепочку! Поскольку, кроме своих прикладных задач в институте, я занимался вопросами теоретической физики, то обратился к Зиновию Ефимовичу с просьбой познакомить меня с Е. Л. Фейнбергом, чтобы обсудить свою гипотезу, опровергающую теорию Эйнштейна. Конечно, я высказал эту просьбу не сразу после выступления Гердта – у меня было достаточно времени поговорить с Зиновием Ефимовичем на эту и другие темы. Ведь я был с ним все эти дни рядом, оставляя его наедине с самим собою только на ночь! Забегая вперед, скажу, что уже через неделю я поехал в командировку в Москву и Зиновий Ефимович помог мне встретиться с Е. Л. Фейнбергом. Хотя Евгений Львович и отдыхал в то время в санатории «Узкое», он выделил мне время для беседы. Чтобы закрыть эту тему, сообщу приятную для меня маленькую деталь. Зиновию Ефимовичу были известны две эпиграммы на Ньютона и Эйнштейна в переводе Маршака:

*Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.*

*Но Сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн – и стало всё как раньше.*

Я сказал Зиновию Ефимовичу, что написал третью эпиграмму (на самого себя!), и озвучил ее. Он засмеялся и посоветовал чуть-чуть подправить текст. После «правки» эпиграмма звучит так:

*На помощь Бог позвал Трунова,
И правит миром гармония снова.*

Сожалею, что не попросил Зиновия Ефимовича собственноручно записать эту эпиграмму и подписаться под ней...

Но вернемся на творческую встречу Гердта с сотрудниками нашего института. После своего выступления он ответил на задаваемые из зала вопросы. Правда, их было не очень много из-за нашей «зажатости», но это было и к лучшему – буквально через час Зиновию Ефимовичу предстояла встреча в районном Доме культуры «Урал».

Почти все, кто был на встрече в институте, пришли в ДК «Урал» снова. Нам предоставилась возможность второй раз в течение одного вечера испытать интеллектуальное и эмоциональное наслаждение. Весь зал завороченно слушал Гердта. Высокая поэзия и характерные одесские зарисовки, длинные поэмы и короткие эпиграммы, воспоминания о войне и театральные розыгрыши – всё это было гармонично распределено в течение почти двухчасового выступления. Грустное и смешное, трагическое и обыденное – всего этого было в меру. Зрители даже не устали, так хорошо была продумана режиссура моноспектакля. Когда Зиновий Ефимович стал отвечать на вопросы зрителей, то мне пришлось подняться на сцену, чтобы отфильтровать повторяющиеся или дурацкие вопросы типа: «А были у Вас творческие удачи?» Сейчас я уже не помню все вопросы, которые понравились Гердту, но подняться на сцену он попросил автора такой записки: «Дорогой Зиновий Ефимович! Я не знаю, о чем вас спросить, но я очень хочу получить книгу с вашим автографом!» На сцену вышел здоровый парень лет девятнадцати и на две головы выше Гердта. Под улыбки, смех и аплодисменты всего зала Зиновий Ефимович обнял парня и вручил ему книгу.

На прощание Гердт прочитал нам отрывки из поэмы Давида Самойлова «Цыгановы». А затем... Затем была овация! Весь зал стоя аплодировал Зиновию Ефимовичу в течение 15 минут! Думаю, что этот декабрьский вечер пришедшим на встречу с Гердтом запомнился на всю жизнь. И могу предположить, что многие из них, для того чтобы отвлечься от каких-нибудь неприятных мыслей, вспоминают именно этот вечер... Лично я всегда именно так и поступаю. Для меня этот вечер – праздник, который всегда со мной!

На следующий день после окончания выступления во Дворце культуры им. Кирова наше общение продолжилось в гостях у Л. Б. Блюмина, председателя районного Общества книголюбов. Именно благодаря его

поддержке и непосредственному участию удалось реализовать идею пригласить Зиновия Ефимовича Гердта в Пермь и преодолеть все организационные трудности. Застолье закончилось далеко за полночь. Конечно, было очень интересно и весело. Так, например, когда графинчики были скорее полупустыми, чем полуполными, тамада скомандовал: «Гена Трунов, давай-ка наполни те рюмочки, у которых видно доньшко!». Я с бутылкой коньяка в руке несколько нетвердой походкой стал обходить сидящих за столом и наполнять их рюмки. И в этот момент Зиновий Ефимович сказал, что сейчас прочтет стихотворение Дениса Давыдова. И мы услышали такие строки:

*Под вечерок Трунов из кабачка Совы,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнул...*

и так далее.

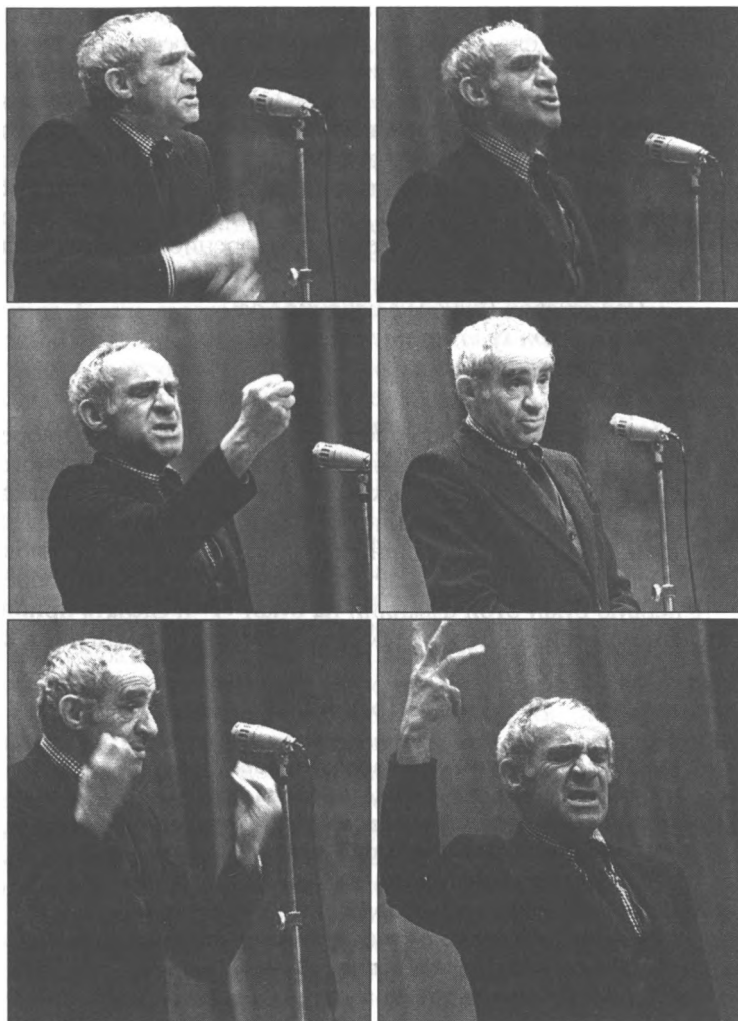
Все дружно засмеялись, но я твердо заявил, что это стихотворение не про меня, но не мог правильно назвать фамилию стихотворного героя. Придя домой, первым делом открыл томик стихов Дениса Давыдова и нашел стихотворение «Логика пьяного». Фамилия незадачливого героя была «Хрунов». Когда я на следующий день увидел Зиновия Ефимовича, то первым делом попросил его собственноручно в этом стихотворении заменить первую букву этой фамилии на букву «Т» и сделать приписку: «Исправленному верить. З. Гердт». Так что у меня есть стихи Дениса Давыдова с правкой самого Гердта!

ЛОГИКА ПЬЯНОГО

~~Т~~
Под вечерок ~~Хрунов~~ из кабачка Совы,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнул. Народ расхохотался.
Чему бы, кажется? Но люди таковы!
Однако ж кто-то из толпы —
Почтенный человек! — помог ему подняться
И говорит: «Дружок, чтоб впредь не спотыкаться,
Тебе не надо пить...» —
«Эх, братец! всё не то: не надо мне ходить!»

1817

*Исправленному
верить. З. Гердт*



Зиновий Гердт в Перми. Фото Г. Трунова

На следующий день погода не улучшилась, поэтому было решено немного отдохнуть. На 18 часов было запланировано последнее выступление Гердта в городском Дворце культуры им. Ленина, после которого мы должны были отвезти Зиновия Ефимовича в аэропорт на рейс Пермь – Москва.

Это выступление Гердта прошло, как и все предыдущие, при полном аншлаге и взаимопонимании со зрителями, среди которых было много студентов. И один из них задал вопрос, навеянный, по-видимому, рассказом Гердта о фильме «Тень» (по сказке Евгения Шварца), в котором он играл вместе с Олегом Далем, Мариной Неёловой и Людмилой Гурченко: «Что вы чувствовали, когда Гурченко сидела на ваших коленях?» Зал затаил дыхание в ожидании ответа на этот «провокационный» вопрос. Зиновий Ефимович рассмеялся и мгновенно нанес ответный укол: «Я чувствовал то, что вам и не снилось!» В зале – взрыв аплодисментов! Да, скажу вам, это не «заготовленный дома экспромт» или «остроумие на лестнице», а острота, рожденная прямо на глазах у почтенной публики!

После концерта группа студентов вызвалась тоже проводить Гердта до аэропорта. Они поехали на автобусе, а мы – Зиновий Ефимович, я, Валерий Сойфер и молодая сотрудница нашего института Ирина Бояринова – на такси. Приехав, мы увидели удручающую картину: оказывается, уже второй день аэропорт закрыт из-за непогоды и залы ожидания переполнены. Мы отправились в ресторан при гостинице, расположенной рядом с аэровокзалом, заняли там столик на четверых. За соседними столиками расположилась шумная студенческая компания. Примерно через час студенты покинули нас, пожелав Гердту удачи и всяческих успехов, а мне предоставилась уникальная возможность поговорить с Зиновием Ефимовичем на разные темы. Парочку наивных вопросов, показывающих диапазон моего любопытства, приведу.

– Зиновий Ефимович, а Ваше уменьшительное имя – Зина?

– Нет, Зяма.

– А какое ласкательное имя от Зямы – Зямочка? Вроде не очень звучит ласкательно. Как по-дружески вас называет ваша жена Татьяна Александровна?

Зиновий Ефимович посмотрел мне в глаза и, увидев, что я проявляю чисто филологический интерес, отвечает:

– Гердтушка.

– Зиновий Ефимович, вы познали музыку слов, а как вы относитесь к самой музыке?

– Геночка, у меня абсолютный слух. Ведь я даже пою в «Необыкновенном концерте!»

– Что-то я не припомню, чтобы Апломбов исполнял музыкальный номер.

Зиновий Ефимович засмеялся и сказал:

– Так ведь я пою за самую крупную цыганку, у меня самый низкий голос в таборе!

Ресторан закрывается, а вылет самолета все еще задерживается не-

известно на сколько. И нам негде переждать это неопределенное время. Я отправляюсь на командный пункт управления полетами, говорю дежурному диспетчеру, что нашему гостю Зиновию Гердту негде отдохнуть. Тот сразу отдает команду своим подчиненным найти в здании командного пункта комнату для народного артиста. Комната найдена, правда, очень маленькая. Но для нас четверых вполне хватает места, и мы перебираемся в этот летный закуток. Дежурный извиняется, что не может уделить нам ни минуты времени, так как на аэродроме полная запарка. Мы остаемся одни и... в полной мере постигаем русскую поговорку «нет худа без добра». Зиновий Ефимович стал нам читать стихи. В течение двух или трех часов – для нас время остановилось! – мы были самыми счастливыми людьми на свете. Одно стихотворение Пастернака потрясло меня больше всего, и я спросил название этого произведения. Оказалось, что это отрывок из поэмы «Спекторский»:

*Когда рубашка врезалась подругой
В углы локтей и без участия рук,
Она зарыла на плече у друга
Лица и плеч сведенных перетуг.
То был не стыд, не страсть, не страх устоев,
Но жажда тотчас и любой ценой
Побыть с своею зябкой красотой,
Как в зеркале, хотя бы миг одной.
Когда ж потом трепещущую самку
Раздел горячий вихрь двух костей,
И сердца два качнулись ямка в ямку,
И в перекрестный стук грудных костей
Вмешалось два осатанелых вала,
И, задыхаясь, собственная грудь
Ей голову едва не оторвала
В стремленьи шеи любящим свернуть.
И страсть устала гривую бросаться,
И обожанья бурное русло
Измученную всадницу матраца
Уже по стержню, выпрямив, несло...
По-прежнему ее, как и вначале,
Уже почти остывшую, как труп,
Движенья губ каких-то восхищали,
К стыду прегорько прикушенных губ.*

Зиновий Ефимович задумался и сказал, обращаясь скорее к себе, а не к нам: «Да, Борис Леонидович знал многие тайны жизни...»

На следующий день я пошел в центральную городскую библиотеку,

так как знал, что наиболее полно Пастернак представлен в серии «Библиотека поэта». Но, прочитав в синем томике поэму «Спекторский», не нашел этих строчек. Я удивился, ведь Зиновий Ефимович не мог ошибиться! Поскольку через несколько дней мне предстояло снова ехать в Москву, то решил спросить про «пропажу» отрывка из поэмы лично у Гердта. На мой вопрос Зиновий Ефимович ответил: «Гена, надо читать не только сами стихи Пастернака, но и их варианты, а также приложения». Эти слова были для меня уроком на всю жизнь.

Но вернемся в ту ночь. Поскольку в то время (напомню, что это было в 1979 году, задолго до «перестройки») Борис Пастернак не был полностью реабилитирован за публикацию за рубежом «Доктора Живаго», многие его стихи отсутствовали в официальных изданиях, но распространялись в «самиздате». У меня, кроме «Доктора Живаго», в списках было стихотворение «Нобелевская премия». Я попросил прочитать Зиновия Ефимовича это стихотворение, и он выполнил мою просьбу. Кроме стихов Пастернака, Гердт читал и стихи своих друзей Булата Окуджавы и Давида Самойлова...

Зиновий Ефимович приезжал в Пермь еще три раза, а я каждый раз в Москве звонил Гердту, и если у него было свободное время, то приезжал к нему домой или на дачу. Иногда мы встречались в театре. И не только тогда, когда Зиновий Ефимович «доставал» контрамарку на спектакль (кстати, именно так я попал на премьеру «Костюмера» в Театральном центре им. Ермоловой). Несколько раз он назначал встречу перед репетицией, и каждая такая встреча была для меня примечательным событием...

Завершая рассказ о трех днях, проведенных рядом с Зиновием Ефимовичем Гердтом, приведу ответ на мое первое после отъезда письмо:

«Дорогой Гена!

Очень тронут поздравлением. Это замечательно, что меня все еще помнят в полюбившейся мне Перми.

Пожалуйста, поздравьте от меня всех, кто помнит эти (те!) три счастливых для меня дня.

Летел я в Москву, обласканный и привеченный экипажем. Всё было О. К. Еще раз спасибо большое.

Ваш З. Гердт».

Большое спасибо и Вам, Зиновий Ефимович, за Вашу доброту и отзывчивость, за все то хорошее, что Вы дали мне. Да и не только мне...

О Валентине Гафте

Мне кажется, что слово «детскость» из разряда слов, которые нельзя перевести на другие языки. Как, например, слово «интеллигент», происходящее от латинского корня, стало не только у нас, но и во всем мире чисто российским понятием, обозначающим не столько образованность и интеллект, сколько особое строение души. И «детскость» – это совсем не «инфантильность», а некая разновидность таланта, дарованная очень немногим. А когда такая одаренность прибавляется к очевидному таланту, то она делает его еще более замечательным. Повторяю, так мне кажется.

Нет нужды доказывать кому бы то ни было, как высоко и многопланово талантливы Валентин Иосифович Гафт. А он, помимо всего, – человек «детский»!

Подчас взрывной, даже резкий, на самом деле самоед, постоянно недовольный собой, что, вероятно, и приводит его к настоящим высотам, всегда сомневающийся в себе во всем, начиная с работы над любой ролью и кончая житейской мелочью. Перед отъездом из Канады, где Гафт и Гердт были с творческими вечерами, мы зашли в хозяйственный магазин. Валя сказал, что нужна жидкость для мытья посуды. Выбрав, я поставила флакон в его тележку. Блуждая по магазину, раза три он подъезжал ко мне, спрашивая, не ошиблась ли я. Потом проконсультировался с сопровождавшим нас канадцем. Потом, уже стоя у кассы, он опять спросил меня. «Валя, сейчас убью», – сказала я, и он счастливо засмеялся. В этот момент он напомнил мне моего внука. Ему было лет пять, когда я получила в подарок три шикарных заграничных ластика (тогда это был дефицит). Я предложила ему выбрать два любых, оставив мне один для работы. Часа через три он сказал, что выбрать не может. Из педагогических соображений я оставила себе один, и он полностью успокоился.

Валя – человек трепетный, в моем понимании глубочайший интеллигент. Он боится обидеть отказом любого, пусть даже незнакомого человека. Отвратительно, но правда, что иногда доброта бывает наказуема. Там же, в Торонто, к нам на улице подошел человек, русский, узнавший Гафта и Гердта, и стал умолять пойти к нему в гости. Вечер был свободный, но Зяма решительно сказал «нет», а Валя сказал: «Неудобно».

Договорившись, что приглашающий доставит Валю к дому, где мы жили (наш канадский приятель объяснил куда), мы расстались, было часа четыре. Часов в десять вечера мы с Зямой начали понимать, что

мы полные идиоты: не знаем ни телефона, ни адреса, ни даже имени человека, уведшего Ваю. Наш канадский друг Майкл тоже этого ничего не знал, поэтому звонить ему означало только взволновать и его. Оставалось ждать. Зяма бегал по комнатам, крича, что мы «необучаемые советские идиоты». В час ночи решили звонить Майклу, чтобы он звонил в полицию, но одумались и решили ждать до утра. Но Бог есть. В половине второго появился Валя. Оказалось, что «хозяин» подвез его в половине одиннадцатого к дому, высадил и уехал. Дальше – «Ирония судьбы...» – дом был похож, но не тот. И всё это время Валя бродил по кварталу, пока, наконец, чудом, попал в нужный подъезд. Я быстро «сервировала», а Зяма устроил нам карнавал.

Жизнь распорядится по-всякому. И не всегда с людьми, к которым мы расположены или которых даже любим, мы общаемся повседневно. Так было у Гафта с Гердтом. Но когда они встречались, дата последнего свидания не имела значения – это было вчера.

Зяма говорил о Вале: «Гениальный ребенок».

Валентин Гафт

«ВАЛЯ! ГЕРДТ!»

Это было давно. Я был еще школьником лет тринадцати-четырнадцати. Матросская тишина. Сокольники. Большая коммунальная квартира. Прошло всего несколько лет после войны... Гердта я еще никогда не видел, но уже слышал эту фамилию. «Артист! – говорили про него. – Звукоподражатель без ноги». Без ноги... – это уже вызывало интерес и сочувствие.

В коммуналке у нас было две комнаты, одна большая, другая совсем крохотная, где жила моя тетка – тетя Феня. Однажды я услышал ее пронзительное: «Валя!.. Быстрее сюда!.. Гердт!». Я думал, что началась война, и помчался к ней... Репродуктор старенький, слышно плохо, ручка до конца не дожимается... Я сажусь на полускатывающийся диван и беру в ухо этот репродуктор. Звук то прерывается, то восстанавливается сквозь какие-то стрекотания и шуршания... Слышу голос Утесова. А оказывается, это Гердт. Вот и весь фокус. Потрясение.



Вот это потрясение я запомнил на всю жизнь. Так же на всю жизнь я запомнил тетину интонацию, с которой она крикнула мне вот это: «Валля!.. Гердт!» Вот с этого и началось мое знакомство с Зиновием Гердтом.

Потом, когда я уже и сам стал артистом и увидел «Обыкновенный концерт», я понимал что Гердт – великий человек. Я даже представить не мог, что когда-нибудь с ним познакомлюсь. И вот однажды на гастролях в Риге я увидел его.

К гостинице подъехала машина, из нее вышел водитель. «О!.. Гердт!..» – сказал стоящий рядом Кваша. Я не представлял себе, что он такого маленького роста!.. Я очень хотел, чтобы он мне понравился, и это произошло мгновенно.

Он был очень складный. В этом прихрамывающем маленьком человечке с черной кудрявой головой, в синем макинтоше я сразу почувствовал что-то очень сильное, мужское. Как он вышел из машины, как он хлопнул дверцей, как поздоровался с Игорем, потом со мной – я запомнил его руку, это крепкое рукопожатие, никак не сочетавшееся с его размерами. Казалось, всё должно было быть наоборот при этом маленьком теле, странно посаженной голове, при этой хромоте... Я знал, что Гердт прошел войну и вернулся покалеченный (тем более было удивительно, как он водит машину!). Я слышал, что он перенес более десятка операций, чтобы вернуть себе ногу, но узнавал все это от других людей... Сам он никогда не говорил о своих проблемах, болях, нездоровье. Ни-ко-гда.

Он был похож на Азнавура, даже еще лучше... Он был наш. Мой.

А потом наш режиссер Валерий Фокин, в спектаклях которого я многократно участвовал, женился на дочери Зиновия Гердта, и он стал часто бывать у нас в «Современнике».

Он осыпал меня комплиментами. Он называл меня «большим артистом»... Но не в ответ на это я буду говорить о нем прекрасные слова... Если бы меня спросили: «Часто ли вы встречали в жизни красивых мужчин?» – я бы ответил: «Нечасто». Обычно в рассуждениях о красивых мужчинах немедленно упоминают Алена Делона, Марлона Брандо... Для меня одним из первых по-настоящему красивых мужчин был Гердт, в котором было сконцентрировано настоящее мужское обаяние, включающее в себя голос, кисти рук, реакцию на то, что он слышит, юмор, достоинство... Вот если всё это по капле собрать, получается настоящий мужик Красавец... Гердт. Совершенно неотразимый... Как одевается... Как говорит... Как себя ведет... Эти длинные пальцы... Как держит вилку, нож, как ест, что выбирает на шведском столе... Какая рубашка, как выбрит... Какой запах...

Снимаемся мы в картине «Воры в законе». Ужинаем. Большая компания. Приходит Гердт. И через пять минут все женщины стола около него. И, как я понимаю, влечение их к Гердту было настолько сильным, что

дело доходило до... откровенных предложений со стороны девушек и дам. А сидят мощные люди... и никого из них женщины просто не замечают, просто потому, что в эту минуту рядом Гердт. Что он делал для этого?.. Да ничего, в том-то и дело.

На гастролях в Америке едем в одной машине. Неудобство с ногой... Задирает ее вверх, до потолка, сидя на переднем сиденье, рядом с водителем. И ни единого слова. Не усталый, не капризный. Веселый и легкий. Либо засыпает, никому ничего не говоря, либо шутит, смеется. Захотел спать – постелил себе газету прямо на пол, улегся и заснул (бывали такие перебивки между городами). И всё это делается красиво, элегантно и просто. Без единого слова.

Канада. Мы втроем (Гердт, его потрясающая жена Тania и я) живем в частной квартире какого-то конферансье (по-моему, эмигранта). Вкус хозяина квартиры, как мы поняли, очень тягостен ко всему, что блестит и переливается: одежда вся в блесках, обувь вся лакированная, в доме полно всяких куколок, вазочек, шкатулочек, свечек и т. д.

Я улегся спать. И вдруг открывается дверь и входит Гердт... в костюме этого конферансье. Весь в блесках, в его лакированных туфлях... и изображает этого человека. Я закатился так, что чуть не умер от смеха... Конечно, это было ужасно – лезть в шкаф чужого человека и надевать его вещи... но Гердт просто увидел хозяина квартиры и захотел нам с Таней показать его. Это было необходимо сделать – залезть в чужой шкаф и устроить этот маленький концерт. Один костюм был страшнее другого, но и смешнее.

С ним всегда всё было пронзительно забавно. Никогда не было «просто», никогда не было «никак». Он всегда разряжал ситуацию, ничего при этом не делая, не стараясь ее разрядить, как это делают некоторые юмористы. Он просто ударял в свои замечательные ладони, и начиналась жизнь...

Не знаю почему, но он всё время улыбался. Причем его улыбка никогда не означала «вот сейчас будет хохма»... Мы говорим о серьезных вещах, о театре, о каком-то актере, о музыке, о науке, о каком-то случае... – и он улыбается... Оказывается, человек этот знает всё и интересуется всем!.. И образование у него не календарное, а всё, о чем он говорит, даже если это термоядерная физика, звучит осмысленно и увлекательно...

«...Валя, давайте с вами прогуляемся по набережной (это мы в Риге только на днях познакомились)... Смотрите, какая хорошая погода... Походим, посмотрим, поговорим...» Я даже испугался. Думаю: «О чем я с ним буду говорить?..» И говорили мы упоительно!.. О всякой ерунде... И даже не заметили, как прошло время... Сколько раз я давился от хохота...

Всё замечает. Всё видит. Усилий – никаких. Я был знаком с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым, который был вершиной среди рассказчиков. Гердт тоже был мощнейшим рассказчиком, но это было неповторимо. Каждый раз это было незабываемо. Я много раз слушал его, стоя за кулисами, и каждый раз не мог сдвинуться с места. Я бы слушал его часами не уставая...

Видение поразительное. Забываешь обо всем... Даже не смотришь на него, а только слушаешь... и смотришь всё, что он рассказывает, как талантливо снятое кино.

Он добивался подлинного попадания, абсолютного отражения того, что читал... только левое было правым, а правое – левым, как в зеркале. И зритель гляделся в него, как в зеркало.

Ощущение материала, времени, эпохи – это необыкновенный дар. Для того чтобы так читать, нужно очень любить искусство, нужно очень любить то, что показываешь, то, о чем говоришь.

Как-то он рассказывал об Утесове, Бернесе... И меня немножко покорило ощущение какого-то превосходства, с которым, как мне показалось, он вспоминал о Бернесе... Я даже подошел к нему и спросил: «Почему вы так сказали о Бернесе?.. Что, иногда он сам не понимал, что говорил?..» Мне было обидно слышать это (тогда, единственный раз в жизни, мне показалось, что Гердт совершил ошибку). Он мне ничего не ответил... Но потом я понял, что они были настолько близки, настолько это была одна компания, что Гердт, наверное, имел на это право... Он вспоминал обо всем с позиции времени, как человек, которому дано право что-то определить.

Ему достаточно было бросить скользящий взгляд на человека или на событие, и он всё понимал про этого человека, точно понимал суть произошедшего... Понимал и запоминал на всю жизнь. По какой-то одной детали он мог рассказать о незнакомом человеке очень многое. Потом, видимо, просто из любопытства, не бросал его, а следил за его судьбой, иногда даже не будучи знаком с этим человеком...

Его голос (как нечто отдельное) – это уже символ. За его голосом очень много чего скрыто. Его голос нужно расшифровывать.

Бывает, животное издает какой-то особый клич, извлекает из себя какой-то особый звук – и все «читают» его и собираются... Так и голос Гердта. На него собирались, потому что он притягивал к себе. Бывает звук зрелища, звук события. Звук, за которым стоит удовольствие. Звук, в котором есть тайна... Вот таким голосом, какой был у Гердта, можно рассказывать всё. Абсолютно всё. И это будет потрясающе, потому что в самом его голосе уже есть событие.

Актер – слово слишком вспомогательное в разговоре о Гердте. Его способ передачи – не актерский. Мне кажется, иногда он был таким... дилетантом, который выше профессионала, потому что он был человеком широкого образования. Мне кажется, то, что он сделал на сцене и в кино, нельзя судить по законам актерского искусства. Как и Володю Высоцкого, например... В нем было что-то пушкинское. Все они чем-то похожи. Маленькие, кудрявенькие, черненькие...

Я читал ему стихи, которые уже давно не пишу... Не могу сказать, что он был от них в восторге... Но мои эпиграммы ему нравились. На мой юбилей он написал мне замечательные стихи:

*Он гением назвал меня, но это было днем,
А вечером того же дня назвал меня говном...
Но говорить о нем шутя я не имею прав,
Ведь он и вечером и днем был, в общем, где-то прав...*

Моя последняя встреча с ним была на его юбилее. Я зашел в маленькую комнатку, где он лежал... С ним сидел Юрий Никулин. Увидев меня, он приветственно взмахнул своей прекрасной кистью. Я не мог на него долго смотреть, мне было страшно... Я был потрясен этим вечером. За несколько недель до смерти, находясь уже в очень тяжелом состоянии, человек собирает друзей и гостей, выходит на сцену и улыбается... шутит... читает прекрасные стихи... проводит на сцене несколько часов (!)... Я тогда подумал: да как же это так?.. тут... заболит что-нибудь – и уже никуда не выходишь... не хочешь ни с кем разговаривать... А человек, преодолев окончательный приговор, идет к людям улыбаясь... Я восхищаюсь этим человеком. Он останется у меня в памяти на всю жизнь. Я просто не смогу его забыть.

Таких, как Гердт, больше не может быть. Никогда.

О, Необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт –
Колено он непреклонный.



Шарж К. Куксо

О Юлии Киме

Я не устаю повторять, что Зяма и я – счастливые люди. И не только тем, что судьба подарила нам встречу друг с другом в середине наших жизней, но и тем, что во все времена ставила нас на пути замечательных людей. Одним из таких подарков был Юлий Ким. Познакомились у Львовских как с очередным «бардом», уже зная Булата. В те шестидесятые все барды, думаю, без исключения, прошли через дом Михаила Григорьевича Львовского. Имена многих целы до сих пор, многие прошли... Мне кажется, что слово «бард» в древнем, начальном, высоком значении – певец-поэт, поэт – в нашем повседневном употреблении звучит ниже, вроде бы «песенник», а не «певец», и то главное, что «поэт», – немного уходит.

А Юлик – поэт, потому что в любом, даже самом-самом жанровом стихотворении – свой голос, который ни с кем не спутаешь. В Зяминой душе поэзия занимала едва ли не первое место, была рядом с любовью и добротой, и поэтому Юлик всегда был для Зямы объектом не такого уж частого его обращения: «ты моя радость». Несмотря на дистанцию в возрасте – Юлик следующее поколение, – была одна волна: «О, понимание дивное, кивни...» Добавляли радости в общении и человеческие свойства. Скромность, образованность, доброжелательность, редкое достоинство и мужество во вполне жестких, несправедливых обстоятельствах.

Я испытываю глубочайшее уважение к людям, прошедшим войну. У большинства из них есть понимание важнейшего качества – порядочности. Когда я встречаю Юлика, мне кажется, что он из них. Как будто он тоже прошел войну.

Я надеюсь, читателю будет интересно «документально» убедиться в отношении Гердта к Юлику:

ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ

Это было осенью тысяча девятьсот... Да какое это имеет значение! Вот и станем друг перед другом бахвалиться, кому раньше выпала эта удача – возникнуть на Вашем пути! Важно лишь то, что Богу было угодно поставить и меня на такой выигранный бугорок.

Любой стихотворец начинается для тебя какой-нибудь строкой, рождающей в твоём воображении картинку чуть ли не детской прямоты. Со мной такое давно. И держится во мне до сих пор.

Ну, скажем: когда я был маленький, и «Интернационал» пели все,

и все слова знали все, и горели взоры, и до мировой справедливости было рукой подать, а слово «воспрянет» было мне недоступно, – я искренне, с чувством скорой всеобщей правды и добра пел: «С Интернационала-а-а-а-а-а воз пряников в рот людской». И я видел этот рот, этот воз и, кажется даже добродушное лицо возницы.

Или, к примеру: «В затылки наши круглые глядят». Ты видишь, как парикмахер, продув нулевую машинку, отложил ее, окунул бритву в банку с водой и выводит эту мокрой бритвой округлую скобочку на твоём затылке, тебе это противно – не больно, но противно, и шея твоя гола и красна, и у всех, с кем ты уходишь куда-то, одинаковые круглые скобки и голые красные шеи, и мама не может высмотреть твою.

Или возьмем: «Как дай вам бог любимой быть другим». Тебе не отвечают любовью, обида жуткая, но поза твоя замечательно эффектная. «Как дай вам бог... другим...» – чистое вранье, конечно, но как ты благодарен в скорби и как нравишься себе!

Или, допустим: «Пять километров до дна, пять километров и двадцать пять акул». Что мы делаем в таком случае? 5000 м делим на 25, получаем 200 м. Затем берем 25 акул и расставляем их снизу доверху через каждые 200 м. Не берусь объяснить почему, но на моей картинке они, все 25, башками в одну сторону, в левую. Эта картинка возникла передо мной массу лет назад за какой-то декорацией на «Мосфильме», когда Вы при помощи Коваля, сияя счастьем и очками, пели совсем случайным людям – тогда Вам было плевать, кому петь, лишь бы было кому слушать! – и Богу было угодно поставить и меня в эту разномастную толпу.

Удивительно, но с той первой поры ничего не переменялось! Нет, фон, конечно, менялся: менялись октябри, в которые кого-то «немножечко таво», менялись женичины и диоптрии в ваших минусовых очках, менялась даже Ваша фамилия и огромная страна, да что там – Сверхдержава перешептывалась, следя за титрами, а потом отважно сказала вслух: «Михайлов опять Ким!» – и кто знает, быть может, это и было первой пробной тягой того самого ветра, дующего сегодня от Бреста до Курил, от Москвы до Горького.

Менялось, конечно, многое. Что говорить. Меж тем не менялись Вы, БЕСЦЕННЫЙ мой Юлик, услада моей души, истерзанной ежечасными сенсациями.

Как, оказывается, целебно, я бы сказал гигиенично, быть уверенным в том, что есть Вы – не переменяющийся, но лишь лелеющий в себе знание, честь, иронию, отвагу и жалость!

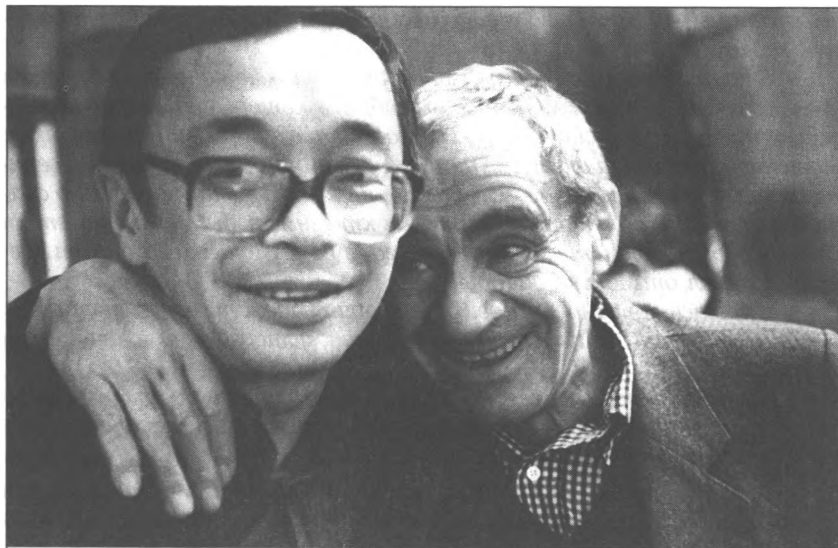
Юлий Ким

«ЕСТЬ ЭТОТ БАРХАТ...»

Зиновию Гердту

(Сыгравшему Мефистофеля)

Вам дьявола играть не надо.
А почему?
А потому.
Вы человек такого склада,
Что не сыграть вам сатану.
В какой бы форме небывалой
И как бы ни велась игра,
Вас выдаст голос ваш лукавый,
Всегда желающий добра.
У вас такое порученье
От наших сереньких небес:
Свечи поддерживать свеченье



Меж Днепрогэсов и АЭС,
Чтоб я на свете жил и думал:
А все ж во мгле текущих лет
Есть этот бархат,
Этот юмор,
И грусть, и негасимый свет!

* * *

А не напрасно,
Не напрасно
Я записал Ваш адресок!
Ударил час, и грянул срок:
Вновь к Вам пишу.
И так же страстно.
Как в предыдущие разы,
Желаю всяческой тревоги,
Грозы, заразы и слезы,
Бузы,
Насильственной лозы,
Гюрзы, и бешеной козы,
И несчастливой полосы,
И слишком жирной колбасы
Избегнуть на своей дороге!

3. Е. Гердту на день рождения

Изо всех наилучший Зиновий
(Да простит мне товарищ Паперный)!
Среди множества Ваших любовей
Я не самый, наверно, первый.
Но зато, даже если я мальчик
По сравнению с Давидом-Булатом,
Я – первеющий Ваш воспевальщик!
Остальные хотят – да куда там...

Ну, напишут они фамильярность
Про «Божественную субботу»,
Под фальшивую высокопарность
Подпуская еврейскую ноту.

Ну, срифмуют, там, «замок» и «Зямок»,
Открывая ворота для прочих
«Обезьянок», «Козявок» и «Самок»
И других параллелей порочных.

И ведь всё это как бы в обнимку,
Под закусочку и четвертинку,
Опустив, невзирая на совесть,
Вашу значимость,

вес

и весомость!

Ведь нема никого, кроме Кима,
Кто вставлял бы во все сочиненья
Ваше радио-, теле- и кино-
И театро-, и просто: значенье!

Кто бы ставил бы Вас неустанно
Рядом с Байроном и Тамерланом,
А не с Дьяволом и Паниковским!
Им же сравнивать Вас всё равно с кем.

Им же к Вам бы захватить да выпить,
Да в обнимку еще половинку,
Да на съемку согласие выбить
На рекламку про рыбку-дельфинку.

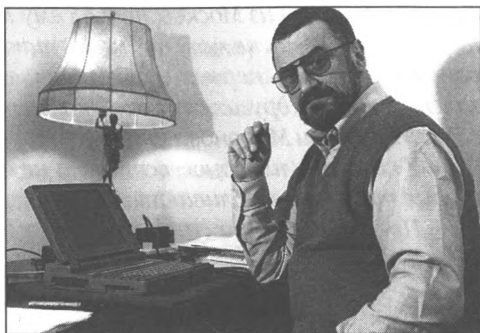
Нет!

Когда я лобзаюся с Вами,
Я не с Вами лобзаюся, Гердт!
Я к Великой касаюся Славе
В виде Ваших обиденных черт!

21 сентября 1995

О Григории Горине

Я позвонила Грише, чтобы поблагодарить его за заметки о Зяме, которые вы прочтете ниже. Он был, как всегда, ласков, и мы радостно договорились о встрече через три недели на Валдае, в который он влюбился вслед за Рязановым, а я – вслед за ним. Через де-



сять дней я вернулась откуда-то домой, и мне сказали, что по телевидению сообщили о смерти Горина. «Вы что-то перепутали», – убежденная в невероятности такого удара, уверенно сказала я. Не перепутали. Когда умирают плохие люди, я, если честно, вероятно, вполне богохульно, говорю: ну и ладно, не все же только хорошим уходить. А когда мы теряем нужных всем, то боль по таким же, ушедшим до этого, с течением времени не заглушающаяся, но становящаяся хронической, суммируясь, взрывается с новой силой.

Мы познакомились, наверное, лет тридцать назад на каком-то застолье-банкете в ресторане еще не сгоревшего ВТО. Меня посадили рядом с Гришей, и через пять минут он сказал мне: «Ты сто не ес, стесняешься?» И я сразу поняла: свой. Оттого, что на «ты», оттого, что естественно и ласково. С тех пор эта фраза, в его произношении, стала у нас дома ходячей формулой угощения.

На Валдае, в деревне мужики сразу, как когда-то и я, почувствовали в нем «своего», общались на «ты» и запросто вместе вытывали.

У нас с Зямой редко расходились оценки в том, что называется искусством. Вероятно, это было одним из важных слагаемых нашего счастливого брака. И Зяма, и я обожали Гришу за почти самое главное во всем – чувство меры. Сценарии, пьесы, рассказы, статьи, поздравления, что угодно – всегда удивительное достижение высшей планки этого чувства. И отдача. Отдача себя не только в творчестве, но и в быту, в жизни, в товариществе. Его звали «везунчиком». Бывает, что-то уронив, ты долго ползаешь в поисках по полу, а подходит человек и сразу показывает: вот оно. Гриша был из таких. Однажды в ГУМе он потерял бумажник с приличным количеством денег и документами. Зашел в отделение милиции сказать о случившемся. Все смеялись, понимая наивность этого. На следующий день ему позвонили и вернули всё в целости и сохранности. Везение – нашел кто-то приличный! Гриша был в

отъезде, Арканов из Москвы послал ему телеграмму: «Немедленно вылетай, третий день не могу поймать такси». Но ему «везло» и в других обстоятельствах – первым у покончившего с собой Геня Шпаликова оказался Гриша, и в других случаях – когда трудно... Тело внезапно умершего в Риге Андрюши Миронова кто вез в Москву – Гриша...

У каждого, наверное, есть если не враги или недруги, то люди, которые тебя недолюбливают.

По-моему, у Гриши таких не было.

Григорий Горин

ОДНИМИ ГЛАЗАМИ ПОВЕДАТЬ СУДЬБУ

Люди, подобные Гердту, возникнув в твоей жизни, занимают в ней такое прочное место, что невозможно понять и вспомнить – когда же это случилось.

В мою жизнь он вошел как природное явление. Когда же это произошло? Наверное, на «Необыкновенном концерте», где я не мог опомниться от голоса конферансье и его реприз. Потом я снова услышал этот голос в «Фанфан-Тюльпане». А потом Гердт появился уже в компании общих друзей, в которой так же незаметно возникли Ширвиндт, Рязанов... Затем мы познакомились ближе и стали хорошими друзьями, несмотря на разницу в возрасте.

Я всегда поражался, как Гердт действует на женщин. Они не замечали, что он хромой, что маленького роста, потому что на каждую женщину Гердт выливал целое море мужского обаяния и галантности и они в нем тонули... Женщины ведь любят ушами, а Гердт всегда говорил интересно и умно. Природа наградила его не только удивительным тембром голоса. У него был необыкновенный смех. Детский, заразительный... Как доктор могу сказать, что смех определяет человека больше, чем слово, потому что смех нельзя подделывать. Бывает, вроде симпатичный человек, но он так необаятельно смеется... гнусаво и некрасиво даже внешне, а ничего подделать с собою не может.

Когда смеялся Гердт, это означало, что в мире – гармония. Я как человек, пишущий какие-то забавные вещи, как только слышал, что Гердт над ними смеется, уже ни о чем не беспокоился. А вот если Гердт еще и вскакивал... Помню, у Гали Волчек в театре «Современник» был праздник, и когда я прочел свое поздравление, Гердт вскочил со своего места

и стал громко аплодировать... Для меня это было наивысшей похвалой – сам Гердт вскочил...

Как сказал Жванецкий (и это абсолютно точно), любой человек рядом с Гердтом умнел. Когда я был на его чаепитиях, то сочинил для него такие стихи:

Хорошо пить с Гердтом чай!
Хоть вприкуску, хоть вприглядку.
Впрочем, водку невзначай
С Гердтом тоже выпить сладко.

Пиво, бренди или брага –
С Гердтом всё идет во благо,
Потому что Зяма Гердт
Дарит мысли на десерт.

Ты приходишь недоумком,
Но умнеешь с каждой рюмкой,
И вопросы задаешь,
И, быть может, запоешь!

А потом я спел ему такой романс:

Ах, ничего, ничего,
Что сейчас повсеместно
Блиzkих друзей сокращается круг.
Не оставляйте стараний, Маэстро,
Не выпускайте стакана из рук!..

Для меня его уход из жизни был настоящей потерей. Он относился к той части русской интеллигенции, по которой можно было сверять поступки.

Не знаешь, как отнестись к тому или иному явлению, публикации, книге и даже фильму, – спроси у Гердта.

Он поразительно четко чувствовал фальшь. Он мог похвалить, а мог вынести приговор, буквально убить одним словом. Я никогда не забуду, как мы были с ним на концерте рок-группы в Сочи. Мы вышли, и он сказал: «За два часа ни одной секунды искусства!..» По-моему, это гениальная рецензия.

Несмотря на то что Гердта большинство зрителей и коллег знают как добродушного, веселого рассказчика, такого... комфортного во всех отношениях собеседника, он был естествен во всех своих проявлениях. Он мог сказать: «Мне неприятно здесь пить», встать и уйти.

Вообще фразы Гердта, которые он мог бросить на прощание или сказать здороваясь, типа: «Видеть вас – одно удовольствие, а не видеть – совсем другое...» – мгновенно становились крылатыми. Или: «Пошел в кино, через полчаса ушел. А уходить мне очень трудно...»

Он в одинаковой степени любил шутку литературную и шутку, ска-

занную на ходу, в обиходе. При всей своей жесткости в оценке всего того, что происходило в театре, литературе и кино, он мог подсесть к человеку и сказать: «Я хочу выпить за вас. Вы, на мой взгляд, человек безусловно талантливый». Или: «Я считаю, что это гениально, и даже не спорьте со мною. Я говорю сразу «это гениально» для того, чтобы окончить спор и не переходить на личности...»

Это такая милая форма старой интеллигенции, когда вдруг в нюансах проскальзывало и «вы», и «ты», легко возникал комплимент, намек, шутка... Во всем этом была удивительная гердтовская гармония, подтверждением которой являлись и такие фразы: «Это – говно. Пойдемте отсюда».

Он ненавидел пошлость – условность, которую люди ставят выше смысла. Вот этого он на дух не переносил, и когда сталкивался с пошлостью, то у него сразу портилось настроение. Он, например, совершенно терялся, когда его спрашивали: «Зиновий Ефимович, а над чем вы сейчас работаете?» Разговор сразу же заканчивался.

Терпеть не мог вранья и неправды жизни и общества, которому, он очень надеялся, станет гораздо лучше жить после падения коммунизма. Терпеть не мог коммунистов...

Однажды был какой-то митинг, и мы, выходя из Дома кино, продираясь через толпу, услышали оклик женщины, адресованный Гердту: «Туда не ходите! Там жиды!» Гердт воскликнул: «Я тоже жид!» – и начал продирааться туда, куда ему не советовала идти эта женщина. Она пыталась его остановить: «Вас-то я не имела в виду!» – «Да нет, вы именно меня и имели в виду... – ответил Гердт. – Я этому рад!» Он вообще был довольно задирист, мог вступить за кого-то на улице, не боялся ответить на оскорбление, не боялся говорить правду.

Зяма очень любил свою машину и вообще всё то, что связано с бытом. Он командовал бытом своей семьи и помогал всем своим знакомым и друзьям, кто сталкивался с какими-то переустройствами, ремонтом, переездами... Я помню, как переехал в новую квартиру и думал, как ее обустроить. Поехал к Гердту советоваться по поводу шкафа. Гердт сразу же взял быка за рога: «Здесь даже и думать нечего! Нужно заказывать вот такой-то и такой-то шкаф... Вот такой-то фабрики... Тебе нравится мое предложение?!» Я не успевал ответить «да», как он уже восклицал: «Это блестящий повод выпить!» – и уже доставал рюмки. Этот шкаф, «выпитый» с Гердтом, до сих пор стоит в моей квартире и несет свою верную службу.

Перед юбилеем Гердта я поехал на рынок и купил живого гуся, поскольку Паниковский питал известную слабость к этим птицам. Я сказал ему: «Зяма, хватит воровать гусей, пусть у тебя будет свой гусь». Этот гусь важно расхаживал весь вечер среди гостей и перекочевал вместе с Гердтом на банкет. Потом они с Таней меня долго корили: «Что ты наделал?.. Ты же

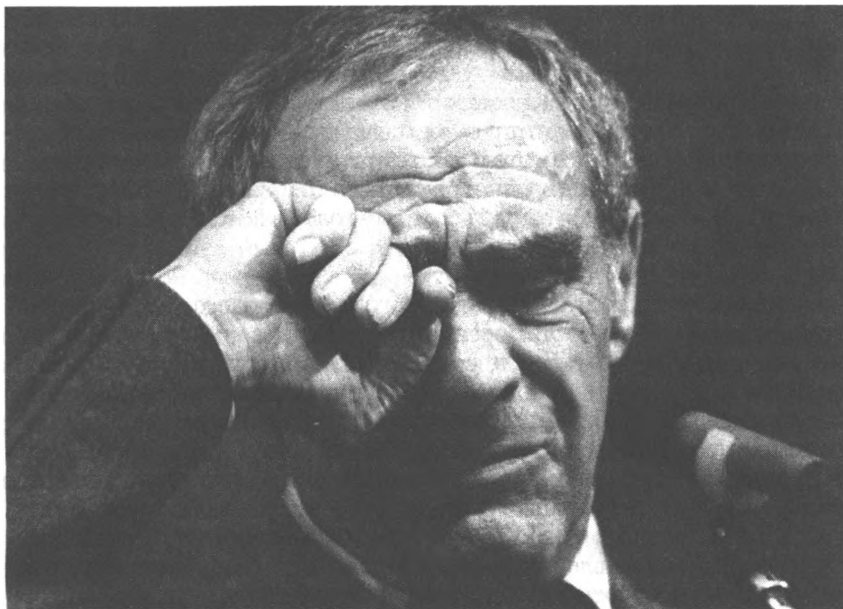
понимаешь, что съесть мы его не можем!.. А жить с гусем, сам понимаешь, невозможно... Мы не умеем за ним ухаживать... Он щиплется!..» Они долго ходили по Пахре и предлагали гуся жителям, пока, наконец, его не взял к себе на полный пансион Червинский, который в это время решил обзавестись курами. Наверняка этот гусь закончил свою жизнь в один из рождественских вечеров, но если это и так, то этот гусь погиб во славу Гердта.

А когда нужно было идти на выборы и голосовать, я послал Гердту телеграмму: «Зяма, у тебя самый красивый голос в России, не отдавай его никому!»

Не будучи одесситом, Гердт стал гордостью одесситов. Он удивительно вписался в эту часть российской культуры, в ироничную и остроумную «одещину», чьи жители постоянно находились в состоянии конфликта с миром, как Паниковский. Просто это такое свойство коренных одесситов – всё время немного ворчать, тихо бурлить, регулярно как бы напоминать о собственной температуре кипения... Счастье не должно быть полным – это у евреев так положено. На еврейских свадьбах полагаются разбить тарелку и наступить на нее – это показатель готовности молодоженов к тому, что не всё будет гладко. А если опуститься на большую глубину размышлений на эту тему, то счастье не может быть полным, пока не построен разрушенный храм царя Соломона. Это в крови еврейского народа – нельзя всё время закатывать глаза от счастья.

Гердту была свойственна печаль, оборотной стороной которой было его, гердтовское веселье. Я видел его в трудный момент жизни, когда он был уже очень слаб, почти не говорил и чуть-чуть капризничал... Но всё равно, когда мы собирались у него на даче на его чаепитиях, он держался. А уж когда было совсем невмоготу, он говорил: «Я сейчас в таком маразматическом состоянии, что, наверное, должен пойти и поспать...» Он уходил всегда элегантно.

Довольно долгое время голос Гердта заменял его самого. После студии Арбузова был театр Образцова, где Гердт стал актером-кукольником. Его поразительный голос плотно вошёл в зрительское сознание задолго до того, как наше советское кино впервые сообразило снять Гердта. Эту трудность проходило много людей, которые не соответствовали стандартам советской красоты. Возьмите хоть Инну Чурикову, которая, по мнению чиновников, не могла представлять советскую женщину на экране. Ну, а Гердт не мог представлять советского мужчину ни по каким параметрам, и дело даже не в еврейской национальности. Гафт ведь легко вошел в советский кинематограф. Но Гафт был красивый и статный, что никак не противоречило образу советского мужчины, а Зяма – маленький, хромой, обладавший абсолютно антиактерской по тем временам



внешностью... Но время прошло, и оказалось, что именно внешность Зиновия Гердта определила его назначение в кино.

Он абсолютно точно нашел свое место в кино, и дело даже не в том, что ему предлагались в основном роли второго или третьего плана. Он играл волшебников, чудаков, странных людей, неудачников... Я просто не представляю себе, чтобы Гердт сыграл, например, секретаря парткома или, скажем, заводского рабочего... Зяма никогда и не брался за это. Но вот в маленьком фильме Дениса Евстигнеева, когда он сыграл пожилого человека, увидевшего себя, молодого, в поезде метро... Зритель вместе с Гердтом увидел всю жизнь этого персонажа, которая пронеслась перед его глазами за несколько секунд. И зритель это тоже увидел! Вот это – настоящее мастерство, когда одними глазами человек поведал всю свою судьбу. Это редкий дар. Ведь очень умным актером быть трудно, это влечёт за собою смещение образа; когда из-за играемого характера выглядывает и подглядывает сам актер – это уже второй сорт. Получается не очень обаятельный разговор актера со зрителем: «Ну, вы понимаете, как я это делаю?! Смотрите внимательнее...»

Зяма всегда и всё делал органично. Он слишком уважал зрителя, чтобы каждый раз навязывать ему собственную персону.

О Борисе Чичибабине



При том, что все люди разные, естественно, не новость, что существуют какие-то общие трудноуловимые знаки возвышенности духа, по которым мы определяем, скорее даже чувствуем, что человек – поэт.

В конце шестидесят третьего года после долгих мытарств, которые сегодня и представить невозможно, мы получили квартиру в двадцать восемь метров (но зато, как сказала одна девочка, квадратных!) на третьем этаже хрущевской пятиэтажки в экспериментальном квартале тогда совершенно окраинных Новых Черемушек. Когда мы туда пришли в первый раз, Зяма спросил: «А время здесь московское?». Весь потный, оторвавшись от измерения квадратных сантиметров для втискивания нас, четверых, в пространство квартиры, Зяма пошел на звонок открывать дверь.

«Кто?» – спросила я, поднимаясь от плинтуса. «Встречай, не знаю, по виду слесарь, но уверен, что поэт». Это был незабвенный Гена Шпаликов, поселявшийся в этот же дом и пришедший познакомиться.

Когда в первый раз, кажется, в Доме литераторов, мы увидели Чичибабина, Зяма спросил: «Как зовут этого поэта?» – «Если ты с ним не знаком, откуда ты знаешь, что он поэт?» – «Это же очевидно», – ответил Зяма. Судьба благоволила, мы познакомились, стали дружны и нужны друг другу. Выпив на брудершафт, стали на «ты». Редко видясь, Борис и Зяма были близки духовно и душевно. Боря почувствовал в Зяме не просто «знатока» поэзии, а человека, погруженного в нее и уверенного, как и он сам, в том, что «стихи – это чудо». Эти слова в кавычках потому, что они – цитата из последней, подготовленной им самим книги Бориса Алексеевича «Борис Чичибабин в стихах и прозе» (Харьков, «Фолио», 1995 г.), которой он, к сожалению, не дождался. Зяма успел прочитать ее, радовался ее выходу и огорчился, что Боря ее не увидел. Большая часть стихов была ему известна (Зяма «вырывал» у Бори обещания присылать новые стихи, и тот их аккуратно исполнял), а проза его восхитила: «Смотри, как мы одинаково воспринимаем мир и людей, хоть и узнали друг друга не в молодости!»

Борис Алексеевич прошел все «полагающиеся» порядочному советскому человеку тяготы: армия, лагерь по привычной формулировке за

«антисоветскую агитацию» (в неизданных стихах), издание стихов, но в изувеченном виде, прием в Союз писателей, исключение из него... На много лет был выкинут из литературной жизни, работал в трамвайно-троллейбусном парке... И, правда ведь, «поэт в России больше, чем поэт» по всем направлениям – и пророк, и рабочий склада...

Борю, высокого, худого, сохранившего и в немолодые годы открытый, ясный взгляд, можно сравнить с Дон Кихотом, но только в одном – чистоте, чистоте помыслов и отношений. В нем, как в академике Лихачеве, не было никаких «странностей», закидонов, чудаковатости. Он был, если так можно сказать, наредкость небесно-земным человеком, мужчиной без тени фальши и ханжества. Курил, выпивал, даже написал «Оду русской водке», которая со всей приземленностью предмета тем не менее ода, и кончается словами: «Мы все когда-нибудь подохнем, / быть может, трезвость и мудра, – / а Бог наш – Пушкин пил с утра / и пить советовал потомкам».

Самой тяжелой порой жизни Бориса был даже не лагерь, а то время, когда не печатали, когда его читателями были лишь четверо-пятеро самых дорогих, близких друзей, да и то не все были в Харькове, где он жил. Он думал о самоубийстве, боялся сойти с ума. В то время было написано необыкновенной силы трагическое стихотворение «Сними с меня усталость, мать Смерть». Но Судьба, как Божий дар, послала ему Лилю. О ней сам Борис написал: «Меня спасла Лилия. Не могу произнести «моя жена», не люблю почему-то слова «жена», – любимая, друг, первый читатель моих стихов, единственный судья и подсказчик. С тех пор мы не расстаемся». Думаю, что чувствую правильно, сужу по себе, что и с уходом Бори из жизни они не расстались.

Чичибабин – Поэт. Сам себя так назвать в жизни он не мог никогда, «даже в мечтах», потому что, продолжая его слова: «сказать так – это посягнуть на тайну, назвать словом то, для чего нет в языке слов... Поэт – это же не занятие, не профессия, это не то, что ты выбрал, а то, что тебя избрало, это призвание, это судьба, это тайна. И зачем поэт, зачем стихи, если они не о Главном, если после них в мире не прибавится хоть на капельку доброты и любви, а жизнь не станет хоть чуть-чуть одухотвореннее и гармоничнее?»

Борис был не «верующим», а верил. Верил в Главное в жизни каждого человека – знание, что Бог есть, чувство Его присутствия в мире и душе, отношение к Нему. Он верил в то, что Бог начинается не «над», а «в», «внутри...», в глубину Божьего замысла всего живого на земле, в Вечность, которая «в отличие от проходящего времени не проходит, а есть всегда и сейчас».

Я привела много цитат из книги Бориса Алексеевича, а хотелось бы еще больше, потому что я никогда не встречала такой пронзительной ясности в изложении самых сложных и важных, в общем-то философских вопросов, которыми задается любой мыслящий, даже и необразованный человек, – как у Самойлова в «Цыгановых»: «Зачем живем, зачем коней кушаем?..»

Он прожил жизнь с благодарностью, внутренней свободой и необыкновенным, скромным достоинством. Свою последнюю книгу, на которую я все время хочу обратить внимание читателей, он предварил такими словами: «Спасибо всем, кто любит мои стихи. Я до сих пор не могу поверить, что они пришли к людям, что их печатают, читают, слушают, что их – вот чудо – кто-то любит. Недаром же я всегда знал, что я самый счастливый человек на свете».

Борис Чичибабин

Групповой портрет с любимым артистом
и скромным автором в углу

По голосу узанный в Лире,
из всех человеческих черт
собрал в себе лучшие в мире
Зиновий Ефимович Гердт.

И это ни капли не странно,
поскольку, не в масть временам,
он каждой улыбкой с экрана
добро проповедует нам.

Когда ж он выходит, хромая,
на сцену, как на эшафот,
вся паства, от чуда хмельная,
его вдохновеньем живёт.

И это ни капли не странно,
а славы чем взъеде венок,
тем жёстче дороженька стланна,
тем больше ходок одинок.

Я в муке сочувствия внемлю,
как плачет его правота,
кем смолоду в русскую землю
еврейская кровь пролита.

И это ни капли не странно,
что он - той войны инвалид,
и Гердта старинная рана
от северного ветра болит.

Но, зло превращая в потеху,
а свет раздувая в костёр,
он - выжиданный брат мой по цеху
и вот уж никак не актёр.

И это ни капли не странно,
что, логику чудом круша,
без спросу у крови и клана
к душе прикидает душа.

Хоть на поэтической бирже
моя популярность тиха,
за что-то меня полюбил же
заветный читатель стиха.

В присутствии Мани и Лили,
в преддверьи баствующих шахт,
мы с ним нашу дружбу обмыли
и выпили на брудершафт.

Не создан для тёплых зимовий
воробышек - интеллигент,
а дома ничто нам не внове,
Зиновий Ефимович Гердт.

Борис Чичибабин

О Михаиле Ульянове

Живя в одном городе, варясь в одном театрально-киношном котле, они никогда не были сведены судьбой в общей работе. Зяма сначала был приятелем жены Михаила Александровича – Аллы Парфаньяк. Она была актрисой театра им. Вахтангова, с которым Зяма дружил через Максима Грекова, довоенного товарища по Арбузовской студии. Но для Зямы Миша был не вахтанговцем, а актером из той категории Артистов, которых он ценил выше всех. Тех, кто ни при каких обстоятельствах не может кичиться своим успехом, никогда не бывает «актер актерычем», остается скромным, простым, «живым и только до конца», как сказал Пастернак. Судьба подарила Зяме дружбу с Орестом Верейским, Мстиславом Ростроповичем, Александром Твардовским, Инной Чуриковой и еще многими художниками такого рода. Повторяю, Миша для Зямы был в их числе.

Ульяновы и мы считанные разы бывали друг у друга, но это ничего не значило, просто так складывалось, и когда встречались, да и сегодня, когда я их встречаю, было и есть ощущение дружеской приязни.

В 1974 году Зяма был на гастролях за границей с театром Образцова. Его сестра Фира лежала в больнице, как выяснилось, с тяжелым раковым заболеванием. Отделение не было онкологическим, но врачи вели ее сколько могли. Наступил день, когда стало ясно, что ее нужно переводить в специализированную больницу. Тогда это было, правда, как и сегодня, достаточно непросто. Заведующая отделением сказала мне, зная, что Зямы нет в Москве, чтобы я попросила кого-нибудь из «знаменитых» похлопотать. Я назвала Ширвиндта, но она, подумав, сказала, что лучшие бы кого-нибудь с русской фамилией (такие были времена!). Я позвонила Мише. Он ответил: «Не объясняй, всё понял. Кому звонить, куда ехать?» По счастью, ехать не пришлось – замечательная немолодая, очень строгая доктор Елена Аркадьевна Нехамкина, прошедшая всю войну, сочла, что я «хорошая невестка», и сама договорилась о переводе моей больной. Чувство восхищения от отсутствия малейшей паузы со стороны Миши при моей просьбе осталось навсегда. Сам же Миша совершенно не помнит об этом эпизоде, что и свидетельствует об истинной доброте и благородстве.

Когда говорят о людях, а ведь ничего нет слаще, чем перемывать косточки, особенно знаменитых, всегда что-нибудь негативное да проскочит. А уж если человек занимает «пост», то уж обязательно. А Миша и посты занимал, и с очень разными режиссерами работал, а даже малейшей сплетни о нем не было. Зяма говорил: «Обожая Мишу, чистый человек!»

Михаил Ульянов**«КАК НА ОТДЫХЕ,
НО ПРОФЕССИОНАЛ»**

Зиновий Гердт был человеком удивительного, я бы сказал ренессансного, ощущения жизни.

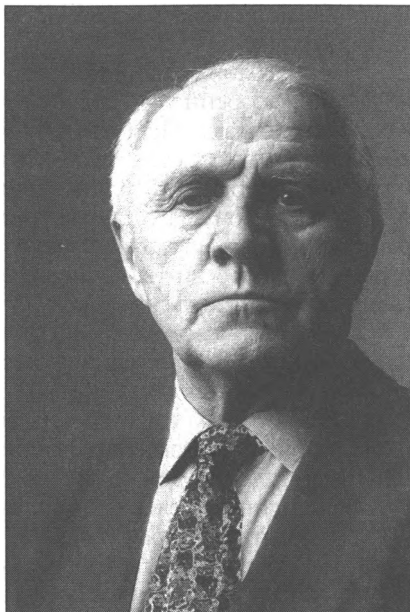
Он очень смачно жил. Любил вечеринки, любил выпить рюмку водки, очень любил анекдоты и, кажется, не бросал курить до последнего дня... Его хохот раздавался везде, где он ни появлялся. С ним невозможно было не то что заскучать, а даже подумать о том, чтобы заскучать. Он очень любил общаться и вообще не мог жить без людей. Он был открыт для всех. Недаром он придумал свой «Чай-клуб». Он меня приглашал раза три, но я всё увертывался под разными предложениями...

Мне, честно сказать, эти ток-шоу ничем неинтересны и по сей день. Ведь не так выразишься, чуть что наврешь или просто твою фразу вырежут из контекста – так потом на экране это вылезет в десятикратном размере! И сам будешь плевать, глядя в телевизор. Терпеть не могу всей этой патоки...

Телевидение – жуткая скотина. Оно тебя всего выворачивает наружу, и если ты дурак, то, как ни наклей на себя глубокомысленную личину, всё равно видно, что ты дурак. Трусишь ответить на какой-нибудь вопрос или просто не хочется отвечать, – и начинаешь крутиться и выворачиваться... Телевидение увеличивает достоинства, но недостатки оно укрупняет в сотни раз.

Зяма не боялся всего этого, потому что был свободным и раскованным человеком. Он не был запрограммирован, а жил по велению души. Если ему захотелось поехать куда-то, он садился в машину и ехал туда, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на здоровье, и с удовольствием проводил время именно так, как ему хотелось.

Есть люди, которые меняются в зависимости от того, какого калибра перед ними человек. Если это большой начальник – одна тональность, если это более удачливый коллега – другая, если это уборщица – третья...



Гердт был естествен со всеми, поскольку никогда не делил людей на касты и сословия.

Из состояния равновесия его могли вывести, как мне кажется, только дураки. Особенно он ненавидел дураков номенклатурных. Ведь у нас, к сожалению, как... «Если ты сидишь в кресле – я дурак, я сижу в кресле – ты дурак». Это даже стало какой-то притчей, сложившейся уже за многие годы. Эта субординация царила везде и во всем, но Зиновия Ефимовича она ничуть не смущала. Он жил рядом с ней, но – не участвуя в ней, стараясь не тратить на всю эту глупую фальшь жизни своего здоровья и настроения. Ведь если ты начнешь объяснять дураку, что он дурак, – сам мгновенно сделаешься дураком.

Зяма был человеком умным, веселым и очень доброжелательным. Он любил людей, понимая, что «все мы одним миром мазаны»... И как истинный интеллигент он допускал иную точку зрения. Никогда не пытался доказывать свою точку зрения, свою правоту. И вообще он не пытался никому ничего доказывать. «Вы не согласны?.. Ну что же... Пойдем дальше. Чего же мы здесь будем тратить нервы и время?.. Зачем?»

Еще один из признаков талантливого человека – это его способность радоваться чужому успеху. За других Зяма радовался как ребенок. Я даже думаю, что за себя так не радуются, как радовался Гердт чьей-то удаче, чьему-то успеху... Он сам умел дарить людям радость и умел искренно присоединиться к радости другого человека.

В нем был какой-то буквально пионерский задор.

Вот у меня растет внучка, прыгает, как коза, может целый день скакать... Я ей иной раз говорю: «Лизка, ну что ты прыгаешь...» Я-то уже, естественно, так прыгать не могу, а в тринадцать лет можно прыгать целый день сначала на одной ножке, потом на другой... Так вот Зяма до последнего дня сохранил детскость и чистоту.

Как-то на гастролях театра Образцова, где Зяма тогда еще работал (а ведь в каждой стране они работали на её языке!), его однажды спросили: «А у вас большая квартира?..» А они с женою в это время снимали комнату в семикомнатной коммуналке, и он ответил: «У меня?.. У меня квартира из семи комнат». Он мне рассказывал эту историю хохоча: «Ну, я же не соврал?..»

Есть люди, с которыми тяжело жить. С ними как в окопе – ты безоружный, а он с ножом... И ты не знаешь, чего от него ждать, что ему взбредет в голову, от чего он завопит и когда на тебя набросится, в какой момент... Это невыносимо тяжело – жить с таким человеком.словно по минному полю идёшь... В какой момент рванёт?.. Зиновий относился к тому, к сожалению, редкому типу людей, с которыми поразительно свободно и легко. Ты точно знал, что даже если ты случайно ляпнешь что-нибудь не то или

сморозишь глупость, то он либо «не заметит» этого, либо всё обратит в шутку, но никогда не начнет выяснять отношения, не обратит потом твою глупость против тебя... Никогда. С Зямой было... как на отдыхе.

Все актеры, независимо от того, знамениты они или нет, вынуждены болтаться по миру и зарабатывать деньги. И вот я как-то приехал в Талдыкуртан, то есть туда, где дальше ничего нет...

Смотрю – на улице под солнцепеком за столом сидит Зяма. «О-о-о! Какая встреча!..» Сидит со своей ногой, такой же наглаженный, такой же веселый и неунывающий, как и дома в Москве, пьет себе чай где-то у черта на куличках...

Он был настоящим эпикурейцем, любящим жизнь во всех ее проявлениях. Он был интеллигентным, достойным и очень обаятельным. Твой взгляд сам тянулся к нему... Он просто не мог сидеть в каком-то хмуром состоянии и ковыряться в нем. Мол, не подходи и не тревожь меня – я думаю о себе, о театре и о смысле бытия... Как это очень любят некоторые актеры – напустить на себя такого байроновского флеру... Зяма всегда был заряжен на общение и на тусовки, в хорошем смысле этого слова. Но не на те тусовки, которые транслируют по ТВ, где на глазах у полуголодного народа знаменитости непременно вперемежку с политиками поедают омары и салаты из авокадо... Зяма был там, где за столом сидели и выпивали водочку под селедку и бутерброды его друзья, люди, близкие ему по духу. Он задерживался только там и с теми, с кем ему было интересно.

Как-то раз ехали мы с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским на концерт в Ленинград. Ехали вдвоем в СВ, наговорились, улеглись спать, погасили свет... Лежим. Тишина... Слышу: «Миш...» – «Ау?..» – «А что, вот так мы и будем всю жизнь... в поездках, концертах?..» – «Да, Кеш, так и будем... А что нам еще делать?» Это я к слову о том, что в нашей профессии веселиться-то особенно и некогда, и не над чем... Но тем не менее Зяма Гердт умел жить радостно и умел делиться этой своей радостью.

Он был первоклассным мастером. Профессионалом. Актер, не будучи таковым, никогда не сможет так потрясающе понимать и читать поэзию и литературу и при этом быть таким же земным человеком, как самый невзыскательный зритель. Он обладал таким чувством иронии, которая, если бы свалилась на актера менее талантливого, пусть даже и обвешанного званиями, то просто пришибла бы его, сделала из него циника и пижона. Зяма был недосыгаем в вершинах юмора и иронии и доступен всем одновременно. Он был скоморохом, лицедеем высшего класса. Поэтому играл и Паниковского, и Мефистофеля, а между этими полюсами лежит такая пропасть, такой длинный путь...

Когда я читал книгу «Золотой теленок», я именно таким и представ-



*К/ф «Золотой теленок». Балаганов – Леонид Куравлев,
Паниковский – Зиновий Гердт*

лял себе Паниковского. Именно с такой ногой, с таким баритоном бывшего барина... Именно такой конфликт Паниковского с миром мне и представился между строк... И когда ты видишь настолько снайперское попадание актера в роль, то радуешься еще больше!.. Радуешься и за него, и за себя, и за Ильфа и Петрова, за это негласное «единение», за родство представлений...

Вообще искусство театра требует от человека, решившего посвятить себя этой профессии, высочайшего мастерства и индивидуальности. Вот тогда происходит чудо... Индивидуальность необходима для того, чтобы интересно раскрыть и исполнить образ, а мастерство необходимо для того, чтобы это произошло точно, как прицельный выстрел охотника. Случайные попадания бывают удачными, но они всё равно имеют участь проходных и не слишком долго задерживаются в памяти зрителя.

Гердта как профессионала будут помнить всегда.

О Людмиле Гурченко

Многое восхищало Зяму в Люсе Гурченко: и ее женская стать (а в этом он, видит Бог, понимал!), и актерская игра, и неожиданный, с очень своим голо-сом, литературный дар, и редкая, особенно в женщинах, самоирония. Но что он просто превозносил – это ее музыкальность!

Когда на своем творческом вечере в ЦДРИ Люся объявила: Вертинский, «Маленькая балерина», Зяма восхищенно и с надеждой тихо сказал мне: «Ну и нахалка!» Сегодня, вероятно, это звучало бы: «Во дает!» Это был семьдесят второй год, в зале сидело много людей, слышавших самого Вертинского, и до этого никто не рисковал его исполнять. Сам Зяма был знаком с Вертинским и много лет назад даже сочинил пародию на романс «В степи молдавнской» и выступал с ней на эстраде, но исполнять авторские сочинения Вертинского, повторяю, никто не осмеливался. Когда Люся кончила номер, зал, как это бывает при наивысшем общем восторге, на мгновение совершенно замер, обрушившись затем единым порывом аплодисментов.

У Вертинского «Маленькая балерина» была одной из, как всегда, блистательно исполняемых, но рядовых, не самых популярных вещей.

Так мне кажется, я два раза видела и слышала это «живьем». Люся не повторила Вертинского ни в жесте, ни в темпе, но сделала этот романс так, что Зяма, хваля ее, сказал: «Вертинский был бы счастлив».

Прошло около тридцати лет, сделано огромное количество разноплановых работ, что-то блистательно, что-то менее, не бывает иначе, но всегда есть свое, с каким бы режиссером ни делалась работа.

Только ей удалось сделать так, что песни военных лет услышали молодые, для которых наша Отечественная, совершенно естественно, далека, так же как и Отечественная 1812 года.

У всех, даже у самых больших артистов, которые как бы стабильно играют хорошо, бывают пик непостижимого мастерства, которые показывают, кто они такие. У Чаплина в «Огнях рампы» есть эпизод, когда он показывает «вишню», а потом ему говорят: «А теперь японскую вишню», – и он показывает, а у вас вздрагивает душа, каза-



лось бы, от пустяка. Для меня в Зяминой игре таким пиком стал эпизод в «Золотом тельенке», когда Шура Балаганов и Паниковский тащат гири. Шура (Куравлев) говорит Паниковскому (Гердту): «А вдруг они не золотые?» – «А какими же им быть?» – отвечает Паниковский, и лицо его в это мгновение отражает и твердое знание, что это, конечно же, не так, и всю его несчастную судьбу, и детскую надежду на чудо: а вдруг – золотые?

Для меня в Люсиной «Маленькой балерине» – этот пик. Ну и, конечно, джаз! И восхищающая беспощадность к себе, на которую редко отваживаются артисты, а уж тем более артистки (вспомните хотя бы «Старых кляч»)!

Я не люблю определение «звезда», потому что оно часто достается не имеющим на него права. А Люся – звезда!

Людмила Гурченко

SUNNY BOY

Джаз, джаз, джаз... Кровь вскипает, мозги тикают, ноги отбивают такт. Как из такой простой мелодии музыкант взлетает в умопомрачительную импровизацию, перелопачивает все каноны и создает тут же, вот сейчас, в сию минуту, у всех на глазах, произведение новое, оригинальное, неповторимое. Когда у меня над головой тучка, я слушаю. Слушаю, восхищаюсь, встряхиваюсь и иду в бой с жизнью.

«Жисть ета борьба, дочурка. Маркс, он тебе не дурак, якую богатую книгу наскородил. Не, дочурка, музыка его великое дело. Это тебе не книжонка. То усе брех. То для библиутик. У музыки не нада знать ни немецкого, ни американскага. Не-а, музыка проникаит прямо у кров, у душу, у самое сердце. Она тебе усе рассказать и за тебя, и за усе. Она и точить, и веселить. Як наедешь у Москву, сразу иди у консерваторию. До великих людей. Усе слуший. Усе мотай на ус. И к усем людям будь по чести и по ласке».

Дорогой папочка! Дорожку в консерваторию я проложу. Сколько будет радостных праздничных вечеров! О, «Весна священная»! О, мой любимый Евгений Светланов! А трио гениев: Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах! Да, папочка, великие, великие. Я всё «мотала на ус».

А первое место, куда побежала восторженная девушка из Харькова, была площадь Маяковского. Там был кукольный театр Сергея Образцова. Аж до самого моего Харькова гремел на всю страну спектакль для

взрослых «Под шорох твоих ресниц». Музыкальные пародии. А названия! «Смерть в унитазе», «Старушка в тисках любви», «Фиалки пахнут не тем». А чем? – думала я. Вот дура была. Да я и сейчас не смогла бы объяснить, чем именно не тем пахнут фиалки. Не тем, и всё. Можно загадочно улыбнуться, мол, понимайте по-своему. Почему я туда бросилась? Там играли и пели, а главное, синкопировали. А какие аранжировки! *«Сердце бьется чаще, чаще под хруст и шорох твоих ресниц»*. А «Необыкновенный концерт»! Люся, стоп! Что за голос! Что за редкий голос прячется за куклой? Куклой, ведущей этот необыкновенный концерт! Дура-то дура, а неординарное схватила сразу. Зиновий Гердт. Ага. Запомним. Летом, будучи на втором курсе ВГИКа, отдыхала в Евпатории. Смотрю фильм «Фанфан-Тюльпан». А голос сразу узнаю – золотой голос Зиновия Гердта. А в Москве, на эстраде, вижу его в номере, где с неизменным успехом он исполнял музыкальные пародии. А потом, видно, остыл к эстраде. Очень хотелось познакомиться с ним, близко услышать его голос. И поучиться настоящему русскому языку. В то время меня уничтожали в институте за мой несусветный харьковский диалект. Юрия Левитана я слушала по радио в течение всей войны и после. Он был моим негласным учителем русской речи: «Говорит Москва. От Советского Информбюро»... Как же это было непохоже на наше родное харьковское: шорыте? (что говорите?). И вот Гердт, мой второй учитель. Я его выбрала. Я знала весь его закадровый текст из фильма «Фанфан-Тюльпан».

Случилось это, когда я впервые снималась в своей драматической роли у Владимира Яковлевича Венгерова в фильме «Балтийское небо». На любимой студии «Ленфильм». В это же время в Ленинграде гастролировал Марк Наумович Бернес. Я никогда его концертов не пропускала. «Тёмная ночь», «Шаланды», «В далекий край товарищ улетает», «Почта полевая»... С этим начиналась моя жизнь. Бернес по-своему, порой даже грубо меня воспитывал терпеливой, скромной. Учил уметь выбирать нужный и подходящий мне репертуар. Учил быть мягкой и несуетливой. «Знаешь, за что я тебя люблю? Ты не блядь. Глазами не рыщешь. А могла бы. Нет, ты настоящая. Приходи в «Европейскую», вместе пойдем на концерт». – «Спасибо, Марк Наумович, обязательно приду». Вот я и пришла в свою любимую «Европейскую». Вы заметили? У меня в то время всё было любимое. Все любимые, все прекрасные, добрые и чудесные.

– Ц-ц, тихо! Приходи сюда. Стань спиной и смотри в окно. Ага, так и стой, пока я не скажу повернуться.

Из ванной доносился замечательный баритон. Чисто, чуть свингуя, баритон напевал «Sunny boy». Я знала эту вещь.

– Ну, давай, подпой ему, – шепчет мне Марк Наумович.

В этой мелодии есть интересный полифонический ход. Я подпела.

Открылась дверь из ванной, и голос зазвучал в нескольких шагах за моей спиной. По некоторым обертонам я расшифровывала диалог.

– Кто это, Марк?

– Ты пой, пой.

Голос запел увереннее, без вопросительных знаков. Я стою, смотрю в окно на здание Ленинградской филармонии и – чувствую, как голос потихоньку приближается ко мне. Я слышу, как в голосе появляются слегка фривольные фиоритуры, мол, что за чувиха, пусть повернется, Марк, дурацкая ситуация, я хочу на неё посмотреть.

– Всё, ребята, сколько можно петь, познакомьтесь, наконец, – сказал Бернес, как будто не он был инициатором всей этой сцены.

– Здравствуйте, девушка! Ваше имя?

– Ой! Я вас узнала! По голосу! Вы – Зиновий Гердт! Я вас видела, то есть, извините, слушала в ваших спектаклях, видела на эстраде в пародиях, – потрясающе! И знаю всё, что вы говорите в фильме «Фанфан-Тюльпан».

– Зеленая, хватит тарыхтеть. Назови свое имя. Тебя спросили: «Ваше имя?» Отвечай.

– Извините.

– Марк, а я могу ее знать? Где-то я ее видел.

– Это же знаменитая Люся Гурченко.

– А-а, да-да... Значит, вот это и есть Люся Гурченко... Гуурчинка.

Никакого удовольствия от знакомства со мной на лице Зиновия Гердта я не увидела.

– Слышишь, Зяма, я у нее спрашиваю: «После этой твоей «Ночи» у тебя есть ну хоть “пол-лимона”?» Ты знаешь, что она мне ответила? Она больше любит апельсины! Что ты скажешь? Все они немного «цудрейте»¹, тебе не кажется? Примитивные бутербродники.

Гердт и Бернес смеялись. А мне хотелось возразить насчет бутербродов. Мы в Харькове да и в институте больше пирожки ели. Я любила с повидлом. Но промолчала. И правильно сделала. Позже я, конечно, узнала, что такое «бутербродники».

Потом мы еще пели из «Серенады Солнечной долины», из «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, пели всё то, что можно было знать по тем временам, при жёстких и суровых запретах на джаз.

Впервые мы снимались с Зиновием Ефимовичем в фильме «Тень». Зиновий Ефимович – в роли министра. Я – в роли Юлии Джули. По сюжету я любовница министра. Гердт-министр изумительно кокетничал с Юлией Джули. С таким фарсовым плюсом. Ужасно смешно. С иронией к своему персонажу и к себе, легко совмещая. Гердт прихрамывал. И это делало его оригинальным, запоминающимся. В фильме министр передвигается с помощью слуг: «Взять! Да не меня, а ее! Посадить на колени! Мне, мне на колени, идиоты!»

¹ «С приветом» (идиши).

Зиновий Ефимович рассказывал мне, что однажды на концерте он получил записку: «Скажите, что вы чувствовали, когда Гурченко сидела у вас на коленях?»

– Ты знаешь, что я ответил? Дай бог вам хоть раз в жизни почувствовать то, что я тогда чувствовал.



А что же чувствовала я? Много-много было партнеров, но те биотки были наивысшими ощущениями юмора и оптимизма! Да это же здорово, когда тебя принимают и восхищаются. После дневной съемки мы смотрели английский мюзикл «Оливер». Мы шли по вечернему Ленинграду и пели только что услышанные мелодии и пританцовывали те оригинальные «па», которые стали популярны после этого фильма.

А с Андреем Мироновым у них была особая дружба. Они разговаривали на языке намеков. Когда в одной фразе: «А я стою в трусах, как мудака, и спросонья ничего не соображаю», – надо увидеть историю о том, как однажды, гуляя и кружась по Москве, и не желая, и не имея сил остановиться, а желая еще и еще чего-то, незнамо чего, – ну, загул, одним словом, – они с Шурой Ширвиндтом и ещё с кем-то, не помню, в четыре утра позвонили в дом к Гердту – догулять! Довеселиться! Не хватало Гердта, его реакции, его остроумия, его иронии. О, как они воспроизводили ту ночь! Фейерверк! Как они носились вдвоем по закоулкам загульного веселья, по вдрут вспыхивающим в памяти деталям!

«Мотор, снимаем!» – призывала их к работе режиссер Надежда Кошеверова. «Да-да, мы готовы!» Игнали мастерски сцену. И как только раздавалось: «Снято!» – тут же, без перехода – взрыв смеха и продолжение воспоминаний той замечательной загульной ночи. И с той самой фразы, на которой их перебили, и на той же самой высокой ноте. Это очень,

очень талантливо! Хотя это происходило с ними и меня там не было, я заражалась их мятежным духом, летала с ними в той ночной Москве, в том времени. И видела Таню, жену Зиновия Ефимовича, которая с удовольствием накрывала стол для гостей в четыре утра.

– Зяма, надень халат.

– Нет, пусть будет в трусах, это пикантно, – желает Миронов. И хохот, смех, хохот, смех...

И эти бурные, веселые воспоминания переходят в ночную «Стрелу», где истории и анекдоты перемежаются стихами. И тут стоп. Я восхищаюсь актерами, которые хорошо читают стихи. Может быть, потому, что сама не умею этого. Но восторг от чтения стихов я испытывала крайне редко. Впервые я плакала, когда читал стихи Дмитрий Николаевич Журавлев. Великолепно читал стихи мой учитель Сергей Аполлинарьевич Герасимов. И вот Гердт и Миронов!

До утра! Наперебой лились стихи Пушкина, Пастернака, Лермонтова, Заболоцкого. И спать не хотелось. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. И не хотелось расставаться. Хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать. Два моих великих современника. Зяма и Андрюша. Андрюша и Зяма. Так просто. Как достичь вот такой простоты? Такой доступности на всех уровнях? Их слушали и понимали тети и тетеньки, дяди и дядечки, и дамы с господами, и леди с джентльменами, и пионеры, и товарищи. Ах! Ах, ах и ах!

В 1972 году, в марте, у меня был первый и единственный творческий вечер в Москве, в ЦДРИ. Гердт рассказывал о наших съемках в фильме «Тень». Зал очень бурно его приветствовал. Рассказывал смешно. Он меня похвалил за смелость. Я первая отважилась спеть Вертинского. У меня не было никакого страха. Страх появился потом, когда осознала, что действительно «отважилась». Но «Маленькая балерина» прошла «на ура».

Как часто в нашей актерской жизни фильмы, концерты разбрасывают нас по разным городам, по разным коллективам. После «Тени» и «Соломенной шляпки» мы долго не встречались с Зиновием Ефимовичем. У меня началась бурная работа в кино. И параллельно пошли разговоры о сложном моем характере. Характер был всегда. Успеха не было. Появился успех, появились и разговоры о тяжелом характере. А как же. Это аксиома. Успех бесследно не проходит. Подряд выходили фильмы, которые с успехом шли на экранах. И пошли сплетни, слухи. И что было, и чего не было. И чего вообще не могло быть. Я работала и многого не знала. И если оказывалась в местах, где люди самые разные, я видела, как меня изучали жадными и даже испуганными глазами. Наверное, так смотрят на того, о ком слышали много разного и о ком сами думали самое разное. И вот этот объект появился. Как интересно! Надо иметь, скажу я вам, дорогие мои читатели, много мужества и ещё чего-то и чего-то. Зная, что это такое, никогда не рассматриваю людей, о которых говорят много небывлиц. Да у меня прямо страсть к людям, которые делают что-то первоклассное. Я ими восхищаюсь.

Виделись мы с Зиновием Ефимовичем или по случаю дней рождений у общих друзей, или в праздники на званых ужинах. Мы с Костей всегда пели, и Гердт всегда хвалил мою музыкальность. Но по взгляду, по каким-то незаметным на первый взгляд деталям поведения, репликам, – ведь он человек очень тонкий и чуткий, – я видела некую раздвоенность между тем, что слышал обо мне, и тем, что видит сейчас. А есть еще и третья сторона. Мы многое прошли вместе. Не сходилось. Вопросов я не задавала. Нет-нет, к тому времени я научилась не обнажать своих мыслей. По моему лицу ничего нельзя было прочесть. Пусть будет так. Время всё расставит по своим местам. Или нет. Что делать.

На ТВ-6 была прекрасная передача «Чай-клуб». Вел ее Гердт. Вел ее показательно. Говорил своими личностными словами. Сразу было слышно – говорил не по написанному. Перемежал рассказы стихами. Знал он их великое множество. Замечательные вечера!

Предложили мне принять участие в этой программе к 9 мая. «С удовольствием». – «А с кем бы вы хотели прийти в гости к Гердту?» – «Конечно, с Ю. В.» (Юрием Владимировичем Никулиным).

На даче у Гердта в кадре сидели трое – два воевавших и я, «ребенок войны». Все те песни наши. Все те стихи наши. Вся та атмосфера наша. Родное, родные, родная, родня. Мне уже было абсолютно всё равно, есть ли у Гердта раздвоение в отношении меня. Да я забыла об этом. Мне нужно было более всего в тот день почувствовать важность того, особого, военного братства.

В то время моя страна сильно спотыкалась, и я не понимала, Родина она или Отечество. Предел у нее или беспредел. И демократично ли любить свою Родину до одури? И вообще, что демократично, а что нет. Тот день меня здорово поддержал в моей преданности – ладно, пусть будет Отечеству. Все равно внутри я говорю – Родина.

После передачи за столом у Гердтов полились анекдоты и истории. Ю. В. и Гердт! Одну историю из военной жизни Зиновия Ефимовича я запомнила давно и еще раз попросила ее рассказать. У них был в роте повар. Говорил он на каком-то невероятном языке. Его солдаты провоцировали, чтобы он побольше поговорил. А они бы посмеялись. Дальше они распоясывались, и повар говорил своё коронное: «Идите вы все на ...!», ставя ударение не на предлоге, а на том самом коротком популярном русском слове. Дождавшись, солдаты смеялись. А мы опять, еще и еще раз смеялись за столом. Вот и сейчас я так ясно и близко слышу голос Гердта... Аж в горле зашипало.

– Всё, братцы, всё, – Гердт встал с рюмкой водки, – идите вы все на ..., – естественно, ставя ударение на том самом популярном коротком слове, – выпьем за День Победы!

Как важно, если в жизни тебе выпадает такой день. Его не ждешь. Он вроде случайный. Но нет. Именно такой день тебе и был нужен. Этот день уберет суету и сомнения. Он скажет: «Люся, стоп!» Не надо «под время»

наспех переделывать свои манеры, походку. Не надо перестраиваться сезонно. Будь собой. Кланяюсь тому весеннему победному дню!

Как-то, спустя месяца два, сидим на кухне, завтракаем, звонок. «Люся? Это Зиновий Ефимович». Я его никогда не называла Зямой. И Зиновий Ефимович это помнил. У нас всегда в отношении сохранялась уважительная дистанция. Очень важная вещь в актерских отношениях. «Я тебе хочу сказать вот что. Я хочу, чтобы ты знала...» Нет, это писать не буду. Он сказал самые-самые те слова, которые невозможно говорить так вот прямо в лицо. По телефону они воздействуют вдвойне. После тех его слов, ей-богу, можно сойти с верной дистанции и взлететь. И стать звездой недосягаемой. Но он знал, что те слова он адресует человеку битому. И он никуда не взлетит. Эти слова ему нужны.

«Так что никого не слушай. Всякие разговоры... В общем, это естественно. Живи и работай на радость нам, твоим друзьям и поклонникам».

Тот звонок дорогого стоил. Это звонок великого профессионала.

На юбилейном бенефисе Зиновия Ефимовича желающих сказать, выступить было очень много. Мне хотелось сделать что-то емкое, чтобы в выступление вместить те самые разнообразные моменты, в которых нас сводила жизнь, судьба. Я решила спеть песню, которую слышала с трех лет по нашему довоенному репродуктору. Ее пел хор имени Пятницкого в сопровождении баяна. А папа мой так восхищался баянистом, который играл «як зверь», и народными «вольными» голосами. Через столько десятилетий я осуществила затаившуюся в душе мысль: а не спеть ли мне под родимый баян «На закате ходит парень мимо дома моего»? На сцене были Ю. В., медсестра, которая вынесла с поля боя раненого Гердта, и сам герой вечера, Зиновий Ефимович. Они, конечно, знали эту песню и подпевали мне. Попала! Она внесла нужную динамику в атмосферу вечера. Как же это здорово, когда всеми фибрами чувствуешь – туда, туда! Попала! У Гердта, под лохматыми бровями, заблестели его прекрасные добрые глаза. А после песни я рассказала о том, как нас познакомил Марк Бернес. И мы спели с Гердтом вдвоем «Sunny boy».

И эта американская мелодия перенесла нас в то время, когда запретным было многое, чего хотелось. В то время, когда всё еще было впереди. Надежды, надежды. Эта мелодия, как любимый с детства аромат дома, вдруг возобладала с такой силой, так воскресило то наше «музыкальное» знакомство, что всё настоящее, всё, что было вокруг, в этот миг исчезло совершенно. «Европейская». В окне зал филармонии. Марк Бернес. И чувственный баритон Зямы. Ах, «Sunny boy», ах, «Солнечный мальчик».

А когда все отпели и отговорили, Зиновий Гердт прочитал стихи. А зал встал и аплодировал. И аплодировал. И аплодировал. И не хотелось расходиться. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. А хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать.

О Викторе Некрасове

В этой книге, как я уже сказала во вступлении, собраны воспоминания о Гердте, статьи и стихи, посвященные ему людьми, которых он любил. Ниже – поздравление. Виктор Платонович Некрасов поздравил Зяму с семидесятилетием по радио «Свобода» из Парижа и потом прислал это поздравление в Москву. Я знаю, что и Зяма, и Вика (так он попросил звать его с первой минуты нашего знакомства) были бы довольны нашей публикацией. (Для меня – без «были бы».)

Хорошо зная и ценя деятельность друг друга, Вика и Зяма (и я рядом) лично познакомились на пляже в Ялте. Ощущения «нового знакомства» не было. Даже со стороны было понятно, что это близкие друг другу люди. Достаточно было видеть следы глубоких военных ран, полученных одним под Сталинградом, а другим – под Белгородом. О войне при этом не говорили вовсе, а только о литературе, советской власти, имея о ней одинаковое мнение, и, конечно, о выпивке. К ней тоже интерес был общий. Несмотря на жуткую худобу, оба выглядели очень мужественно и привлекательно – восхищенных дам вокруг хватало. Зяма платонически (глупо, но надеюсь!) очаровывал их, а Вика был занят одной – своей мамой, замечательно лежащей в морском прибое с английским детективом и ласково смотрящей на своего загорелого до черноты «мальчика», изувеченного войной, когда он подходил проверить, не обгорает ли она.

В Москве, когда Вика приезжал, виделись эпизодически и всё больше на людях. А в восемьдесят третьем году Зяма и я приехали в Париж не работать, а просто в гости по приглашению замечательного Лёли, Льва Адольфовича Аронсона, хозяина самого старого в Париже русского ресторана «Доменик». Они с Зямой стали друзьями во время гастролей театра еще в семидесятые годы. Доменик (так его звали в Париже) был театральным критиком, и все приезжавшие на гастроли русские артисты его знают. Но он такой удивительный человек, что заслуживает отдельного рассказа. Если Бог даст, постараюсь это сделать.

Так вот, все три недели в Париже мы виделись с Викой ежедневно или в ресторане у Доменика, или на втором этаже постоянного Викиного кафе на Монпарнассе, или у него дома, или дома у Анатолия Гладина, или просто гуляли по Люксембургскому саду.

«Ребята, вы ничего не боитесь? Вам ничего не будет?» – спрашивал Вика, потому что это было еще время, когда «советским» нельзя было видаться с «уехавшими» и теми, кого «уехали». Но мы к тому времени так устали терять собственное достоинство «боясь», что полностью

плюнули на этот позорный страх и жили как люди. Разговоры были разные, то грустные, то веселые. При том, что у Вики не было никаких проблем с языком – он знал французский с детства и даже учился во Франции, – что элементарный достаток был, он работал, – что жил в семье, всеми мыслями он был в Киеве и Москве. Вроде бы и смешно, но на самом деле очень печально звучал его рассказ о том, что в Париже стало нельзя позвонить из уличного телефона-автомата в СССР. «Вообще-то мое благосостояние от этого повышается, потому что после принятия даже небольшого количества граммов, идя по городу, я не миновал ни одного автомата до тех пор, пока не спускал все имеющиеся в кармане франки на звонки в Москву и Киев», – говорил Вика. Но что-бы мы не огорчались, переходил к приятным воспоминаниям:

– А помнишь нашу скалу?

– Это была не скала, а мол, – сказала я.

– Какая разница? Была шикарная драматургия!

Это о Ялте. Слева от нашего пляжа был высоченный мол, с которого непрерывно ныряли ялтинские мальчишки. «Я тоже хочу прыгнуть», – сказала я. «С ума сошла?! Даже думать не смей!» – грозно крикнул Зяма. Но тут вступил Вика: «Я вот тоже все время об этом думаю». И мы, несмотря на Зямыны протесты, договорились, что через день прыгнем вместе. На следующий день Вики на пляже не было. А я подумала, что надо попробовать нырнуть одной, потому что вдруг мы завтра придем, а я испугаюсь. И я пошла на мол и прыгнула. Конечно, солдатиком, иначе не умела. Сердце почти выскочило! На следующий день пришедший Вика сказал: «Идем!» – «Конечно, – ответила я, – но, если честно, я вчера уже прыгнула». Вика радостно захохотал: «Я тоже!» Как выяснилось, по тем же причинам. И вместе с Зямой, радостным оттого, что «идиотства больше не будет», мы пошли пить вино.

Вика и внешне, и внутренне был редкостно мужественным. Он был не склонен к сентиментальности, а чувствовал глубоко и теплокровно, и отрыв от дома был, конечно же, страданием. Работалось тоже не очень просто. Его парижским начальником по «Свободе» и «Континенту» был Владимир Максимов, ставший, вероятно, в силу «западных» обстоятельств, достаточно жестким. Светлыми моментами жизни Вики были приезды в Париж друзей. Тогда отпускала, он веселел, хотя глаза оставались грустными. Булат написал ему после их встречи:

Мы стоим с тобой в объмку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас...
Что-то вечное проходит мимо нас.



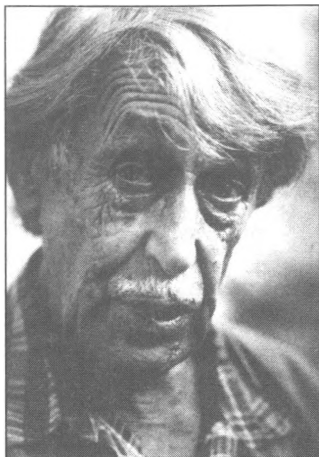
Булат Окуджава, Виктор Некрасов

*Расставались мы где надо и не надо –
на вокзалах и в окопах Сталинграда
на минутку и навеки, и не раз...*

Что-то вечное проходит мимо нас.

Вика, архитектор, строитель, человек с высоким художественным вкусом, серьезный русский писатель, рассказывавший «скромно, натурально о людях и путешествиях и так необыкновенно сильно, «без прикрас» о войне, как никто другой незаслуженно нахлебался от советской власти. Мы, российская интеллигенция (нахально себя к ней причисляю), медлительны, инертны, не умеем защитить лучших. Хотим, чтобы дети, внуки выросли хорошими, нравственными, а книга «В окопах Сталинграда» не включена в школьную программу...

Мы всё ищем, кто может быть если не идеалом, то примером, «героем наших дней». Думаю – люди с чистой биографией, такие, как Виктор Платонович Некрасов.



Виктор Некрасов

**ГЛЯДЯ НА НЕГО,
Я НЕ ДУМАЮ О ВОЗРАСТЕ**

– Зиновий Ефимович! Куда ты лезешь? Тебе почти семьдесят лет! Я боюсь за тебя!

– Нахал! Здесь дамы. Что за бестактность!

Эта перепалка произошла на съемках телеспектакля «Фауст», в котором почтенный артист исполняет роль Мефистополя. И лез он на самый верх декораций, чтобы там, сидючи как на насесте, спеть, обращаясь к находящейся внизу толпе, заключительный куплет из гетевской баллады «Крысолов».

Так начинается статья в «Советской культуре», посвященная замечательному артисту Зиновию Гердту. Называется она «Семьдесят лет? Не может быть!». И написана она Фаустом из того же спектакля, большим другом Гердта Михаилом Козаковым.

Обоих я хорошо знаю и люблю. И не только потому, что они прекрасные артисты, а потому, что оба они умны, интеллигентны и с ними просто приятно проводить время.

Зиновия Ефимовича, в просторечье Зяму – друзья иначе не называют, – я знаю лет двадцать, если не больше. Познакомился я и сразу же влюбился в него в Ялте, в Доме творчества. И ужасно огорчен был, что произошло это после другого, очень веселого ялтинского лета, когда мы с другом Леонидом Волинским снимали любительский фильм. Приключенческий, со всякими погонями, снимались в нем все отдыхающие, вплоть до моей мамы, и, конечно же, участвуя в нем Зяма, он вошел бы в золотой фонд мирового кино. К сожалению, этого не произошло.

Знал я его, конечно, задолго до знакомства. Вернее, его голос. Когда он работал в театре кукол. Потом театр «Современник», кино – у Ролана Быкова, Петра Тодоровского, Михаила Швейцера в «Золотом теленке».

До войны Зиновий Гердт был артистом ТРАМа, участником знаменитой Арбузовской студии. Потом ушел на фронт. Добровольцем. Лейтенант саперной роты, он был тяжело ранен в 1943-м. И стал хромать. Долгое время считал, что это закрыло ему навсегда дорогу на сцену. Тем не менее веселый, остроумный конферанс его в «Необыкновенном концерте» С. Образцова сразу всех покорила. С этим концертом он объездил весь мир, от Японии до Америки. И острил на любом языке – немецком, французском, импровизировал на арабском, финском.

«Дар импровизации – моцартианство в искусстве, – пишет Михаил Козаков и вспоминает, как потихоньку от гастролера пришел в Одессе на рядовой, как он полагал, творческий вечер З. Е. Гердта.

«Какой там рядовой, очередной, – пишет он. – В переполненном зале технологического института состоялся праздник, который устроил Зиновий Гердт. Размышления о жизни, о профессии, о друзьях, о коллегах и, конечно же, стихи, стихи, стихи... Рассказы о Твардовском, Пастернаке – и тут же стихотворения обоих поэтов. И читает не просто замечательно, он читает их, как дышит, потому что живет стихами.

Этот вечер Гердта мог бы длиться бесконечно. Ему есть что рассказать людям. Он личность. И этим все сказано. Это неоспоримо!»

Так рассказывает Михаил Козаков. От себя же могу добавить. Бывал я с ним и в ресторанах, и не раз, но главное, он бывал у меня дома. И визиты эти он тоже всегда превращал в праздник.

Признаться, когда-то в молодые годы и я любил шумные застолья. С возрастом охладел к ним. Малость выпив, все считают себя невероятно остроумными и, перебивая друг друга, изошряются в юморе до одурения. И я не был исключением. Сейчас все эти остряки мне кажутся просто глупыми.

Единственное исключение – Зяма Гердт. Он не острит, упаси боже, он просто рассказывает. Причем всегда к слову, к месту, по-французски «а пропо». И кратко, и метко, и до того смешно, что весь стол трясется и вино проливается. Анекдотами он не увлекается, хотя рассказывает их превосходно и вообще он не хохмач. Отнюдь не стремится быть центром компании, но само собой как-то получается, что он им становится. Достаточно только приоткрыть ему рот, как все умолкают. А ведь каждый из присутствующих хочет перед Зямой тоже блеснуть. И не получается, не выходит.

Повторяю и настаиваю – он не хохмач. Просто в нем удивительно как-то сочетаются талантливость и веселость. Он веселый человек. А как важно это в жизни – и ему самому, и окружающим.

В то же время он бывает и грустным, и серьезным. Потому что есть о чем грустить и о чем-то говорить вполне серьезно. И никогда, ни при каких обстоятельствах нет в нем фальши. Как на сцене, так и в жизни.

– Семьдесят лет? Не может быть! – восклицает Михаил Козаков, а в это время Зяма карабкается куда-то на самую верхушку декорации. Может или не может быть – для меня нет такого вопроса. Глядя на него, я просто не думаю о возрасте. Передо мной веселый, органичный, удивительно талантливый человек. Не актер, а человек. И не боясь банального выражения – а Зяма их терпеть не может, – скажу: его появление всегда как луч солнца. Становится тепло и радостно...

Знай это, дорогой наш Зяма, и единственное, чего мы тебе желаем, – это здоровья. Остальное всё у тебя есть!

О Никитиных

Хоть Никитины и входят в число первых «бардов», достались они нам не от Михаила Григорьевича Львовского, постоянного их «поставщика», а просто из московской жизни. И вот уже более двадцати лет мы вместе, мы друзья. И Зяма, и я этим словом называем не очень большое число людей.

Я должна сказать об авторе воспоминаний – Тане (теперь уже подросткой Тане-маленькой – Татьяне Хашимовне), но не сумею отделить ее от Сергея (тоже уже Сергея Яковлевича), да и от всей их семьи.

Защитившиеся, остепененные, научные сотрудники Института химфизики, нашли в себе мужество отдаться полностью истинному призванию – музыке и поэзии. Зяма всегда восхищался их удивительной «разборчивостью» в стихах, которые Сережа брал для написания на них музыки и превращения в песни.

К совпадению вкуса в поэзии и музыке прибавлялись и житейские привязанности.

Мы полностью раскованно и уютно жили в палатках в лесу на речке, одинаково страстно относились к белым грибам и выловленной рыбе. Но тут-то и возникали «конфликты».

Немыслимый везунчик Сережа, не приходивший без улова, вызывал тихую зависть менее удачливых рыбаков. Но особенное «возмущение» возникало, когда он даже в негрибные времена приходил с полной корзиной. Никогда не отказывался показать «места», но когда дело доходило до похода на эти места, оказывалось, что он уже смылся. «Жлоб» – было самым мягким эпитетом, которым его награждали по возвращении. Но когда шла общественная жарка грибов для послеужинной трапезы, самым щедрым вкладом был никитинский.

Таня-маленькая – человек постоянно гражданского состояния, причем действенного и смелого. В начале постсоветского периода, когда все были почище и наивнее, ее активность и принципиальность были востребованы и она достойно работала на ниве культуры, став даже заместителем министра культуры. Но времена меняются, стойкость и порядочность начинают раздражать, и Таня, понимая, что сломиться не может, уходит с высокого поста.

Передраги происходят не только в общественно-служебной жизни. Сейчас Таня и Сережа живут в разных местах, так сложилось, и никто не имеет права на досужие домыслы и сплетни, потому что Семья в ее главном – единомыслии, поддержке, заботе, творчестве – всем на зависть. Ласковейший сын Саша привел в семью небесную американку

Мери Бесс, тонюсенькую девочку, выучившую русский и даже в джинсах трогательно напоминающую девятнадцатый век. А еще есть Юра (Юрий Хашимович Садыков, Танин брат), «скорая помощь» и цемент не только для близких, но и для всех, кто попадает в его орбиту. Мне повезло, я попала. Не спрашивая, он привозит нужное лекарство, а в трудную минуту приготовления к большому застолью не диктует рецепт, а приезжает и делает лучший в Москве плов...

Я знаю, что Зяма, услышав последние Сережины, да и Танины (она всегда строгий редактор) сочинения, был бы очень доволен и сказал бы, как и раньше, удивляясь нарастающей глубине и многогранности творчества: «Смотри, как матереют!»

Удачи им!



Семья Никитиных: Татьяна, Сергей, сын Саша и невестка Мери Бесс

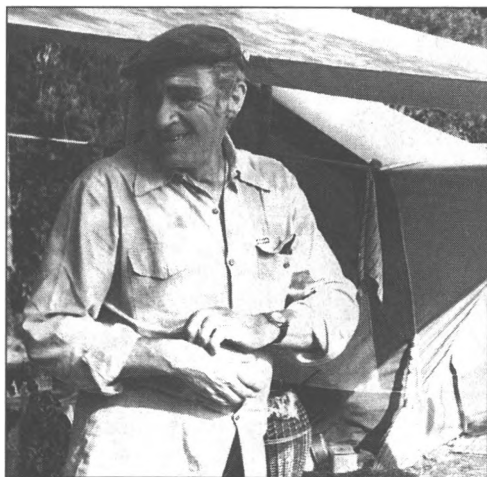
Татьяна Никитина

ЗЯМА, СПАСИБО

Нас знакомили много раз. Но, видимо, это не отпечатывалось в памяти Зиновия Ефимовича. Как-то раз мы были по делам в театре кукол С. Образцова, зашли в буфет, встали в очередь. Вдруг кто-то решительно и нагло схватил меня, извините, за попу. От ужаса остановилось дыхание, но тут же раздался оглушительный хохот – Гердт!

Пожалуй, эта встреча и была началом нашего настоящего знакомства. Потом мы не раз пересекались на даче у Э. А. Рязанова в больших шумных актерских компаниях. Но Зиновий Ефимович держался в тени, больше слушал и наблюдал. Было начало 80-х годов.

Наше породнение с Гердтами началось года через два на Гауе. Более десяти лет московский Дом ученых арендовал участок леса вдоль реки Гауя недалеко от границы Латвии с Эстонией. В июле и августе там ставились палатки человек на сто. Из Москвы приезжали повара, и начинался летний праздник. Мы присоединились к августовской смене позже других. Нам досталось место у торца большой поляны. Через две палатки обитали Гердты. Они были старожилами, поэтому, когда ставили нашу палатку, пришел Зиновий Ефимович и «контрольно наблюдал», чтобы всё было в порядке. На базе отдыхали научные работники с семьями. Следовало быть не менее чем кандидатом наук, в крайнем случае академиком. Исключения были



сделаны лишь для семей Гердтов и Окуджавы. Существовал как бы негласный договор: 24 дня потакать друг другу, стараться быть милыми и добрыми. Это была хорошая игра, в которой на самом деле из-под масок все равно проглядывало подлинное лицо героя. Вопрос был в том, насколько маска отличалась от реальности. К счастью, многим не нужно было слыть, достаточно было быть. На базе жили коммуной, вместе ездили по грибы и ягоды, дежурили по очереди в столовой, ездили в баню и по малым городам Латвии и Эстонии.

На базе отдыха Дома ученых. 1979

Те, кто жил в торце поляны, организовали кафе «Вечерний звон» – длинный стол со скамьями из грубых досок и люстра – обод тележного колеса со свечками. Здесь пили кофе и чай в пять часов и собирались после обильных вкуснейших обедов и ужинов снова подзакусить и выпить по рюмочке. Директор базы, видя, что мы опять что-то жуем после столовой, в ужасе хваталась за голову.

Ясно, что не голод и не пристрастие к водочке собирало нас по пятнадцать – двадцать человек за общим столом. Центром кристаллизации, безусловно, был Зиновий Ефимович Гердт. У людей науки наличествует некоторая доля нормального любопытства: «А какой он в жизни, любимый актер, кумир?» К счастью, в нашей компании такого интереса не наблюдалось. Было веселое братство симпатичных друг другу людей, их не обязательно связывала дружба, но всегда присутствовали взаимная приязнь и уважение. Зиновия Ефимовича позволялось звать Зяма или Зямочка, Татьяна Александровна всем оставалась Татьяной Александровной, а для Зямы и ровесников – Таня. Никогда никаких уменьшительно-ласкательных суффиксов – просто Таня! Зяма ничего не делал специального, чтобы быть в центре внимания, все добровольно и радостно его обожали. Всё, что он рассказывал, всегда было интересно, неожиданно и часто очень смешно. Рассказывать другим в его присутствии тоже было наслаждением, другого такого замечательного слушателя трудно найти. Помню, как-то раз Серега пытался позабавить Зямочку свежим анекдотом во время их променада. Зяма вежливо и очень внимательно выслушивал очередной анекдот почти до конца, а потом сам завершал его. И так раз двадцать. Зато как они посмеялись! Время, связанное с Гауей, оставило в душе радостный и счастливый свет. Вспоминаются моменты для других, может, и незначительные, а для нас очень дорогие – так постепенно мы входили в нашу дружбу.

Наступил очередной август, и мы двумя машинами едем с Гердтами на отдых. Погода замечательная, дорога до Великих Лук почти пустая, делаем несколько привалов с шикарнейшей едой. Одним словом – рай! Приехали в Луки, солнце еще в небе, и сразу в гостиницу. Мужчин с багажом оставляем на лестнице перед входом. Садимся с Татьяной Александровной по своим машинам, чтобы ехать на стоянку. Все глазект на новенькую «шестерку» Гердтов со стоп-сигналом под бампером. Машина лихо сдает назад, и этот чертов фонарик врезается в лестницу. У нас на глазах заднее крыло выгибается дугой. Ужас! Все похолодели. Растерянная Татьяна Александровна вылезает из машины, руки дрожат, глаза несчастные. Закуривает. Зяма в ярости: «Лихачка! Кто тебя просил?! Какого ...?» Вскрикивает в покалеченную машину и куда-то уносится. Мы втроем молча несем вещи в номер. Грустно разворачиваем котлеты, которые так нас радовали в пути, готовим стол. Минут через двадцать возвращается Сам,

уже не сердится, улыбается, для порядка немного матерится: «Черт с ней, железо!» – снова все счастливы.

В российских магазинах пусто, и потому мы периодически совершаем набеги на магазины прибалтийских братьев. Как-то приехали в «культурвары» города Валга, видим, среди шахмат и ракеток лежат автомобильные камеры. Решаем купить на все деньги две-четыре-шесть-восемь. К счастью, было только две. Довольные, приезжаем в лагерь, несем одну камеру Гердтам в память о недавней автомобильной карамбочке. Через пять минут приходит таинственный Зяма: «Девочка! Хочешь посмотреть, какую прелесть ты купила? – разворачивает передо мной камеру, которая бесконечно долго раскладывается, раскладывается и превращается в нечто огромное выше моего роста. – Радость моя, это же для грузовика...» – Все пираем от смеха, потом тихо прячем в кусты этих монстров.

Если вдуматься, то не так уж и беззаботна была наша жизнь на Гае. С утра, если не льет как из ведра, все мобилизуются по грибы по ягоды. Некоторые мужчины саботируют, особенно когда холодно и сыро. Снисхождение проявляется только к тем, кто и на отдыхе продолжает что-нибудь писать. Серега обожает лес в любую погоду, но у него долг. И он грустный остается у палатки домучивать главу из диссертации. Зямочка держится веселее – сачканул по недомоганию. Часа через три-четыре возвращаемся из лесу с добычей, и тихий лагерь встречает нас музыкой и ликованием. Вместо недуга и диссертации оба-два орут под гитару знаменитые джазовые мелодии. Счастливы, слились в музыкальном экстазе. Если бы мы не вернулись, они б пропели весь день, так им было хорошо и согласно. На обратном пути в Москву часть времени нашу машину вел Зяма, и тут уж мы напелись!

Ночью в лесу тихо, и слышно всё, о чем говорят в соседних палатках. Татьяна Александровна при свечах читает Зяме вслух что-то из русской классики. Мы тоже слушаем, лежа у себя. Чтение вслух – так старомодно, прекрасно и необычно, как будто из прежней жизни, которую мы не застали. Но вот она, рядом, и как от этого хорошо...

*Будет скоро тот мир погублен.
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.
Этот мир невозвратно чудный,
Ты настанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный
В эту душу моей души¹.*

Выяснилось, что в Москве мы соседи, и так удобно дружить домами. Можно добежать до Гердтов пешком или «сделать две перегазовки», а по-

¹ М. И. Цветаева.

том дворами насквозь проехать на машине, даже немного выпив. Дом Гердтов заслуживает отдельного разговора. Просторная московская квартира, удобная и простая, есть несколько дорогих, изысканных вещей, но в целом всё очень скромно. Здесь хочется жить, гостить, сидеть под огромным низким абажуром вокруг стола, видеть подобранные со вкусом и любовью хорошие картины. Они поселились здесь не случайно, они участвуют в жизни дома и неотделимы от хозяев. Книг не особенно много, но все любимые, важные, личные, читанные-перечитанные.

В доме неукоснительно соблюдается несколько правил: хозяин подает пальто любому уходящему гостю:

«Только лакеи и дети лакеев не подают друг другу пальто»; утром здесь всегда едят овсянку, а когда выпивают, то признают только водку. Других напитков не держат. Большое уважение оказывается картошке с селедкой, греШневой каше. А уж по праздникам царствуют рецепты Молоховец. Зямка обожает капустный пирог с семгой или осетриной, фаршированную рыбу и другую вкусноту. Все эти деликатесы обычно готовят человек на сорок гостей по главным праздникам. Тогда Зяма сидит под знаменитым абажуром на старинном с шелковой обивкой диванчике, где по бокам от него помещается еще два человека. Конечно, дамы. Отбирает Сам. При этом следит, чтобы на столе был представлен полный ассортимент, начиная с черного хлеба. Любимый густой голос перекрывает нашу громкую болтовню, хохочет от высокого задыхающегося – «хи-хи-хи» до оглушительного басовитого – «охо-хо», – срывающегося в кашель. – «Ка-ка-я сила! Это грандиозно!» – Руки запущены в шевелюру и яростно ее терзают.

Есть три неизменные даты: Татьянин день и два дня рождения хозяев. Главнее всех Татьянин день, и не столько из-за самой хозяйки, как в память о маме Татьяны Александровны, тоже Татьяне (ШУстовой ТаНЕ, Шуне, Татьяне Сергеевне). Рассказы о теще-Шуне были любимым занятием Зямы. Он говорил о ней с такой любовью, с таким юмором и удивлением, что возникало ощущение, будто мы сами видели и слышали ее. Кажется, что самой своей жизнью Шуня навсегда озадачила своих близких: сохранила в трудной и страшной жизни детское восприятие мира,



абсолютную честность, доброту и сердечность. Конечно, это не могло не оказать глубокого влияния на Зяму, чрезвычайно чуткого к разным проявлениям души человека. До Шуни или с ее помощью Зяма, казалось, определил для себя несколько самых важных критериев жизни, которым он старался следовать и которые определяли его отношения с людьми и окружающей действительностью. Редко в наши дни можно встретить такие серьезные требования к себе и своей жизни. Мы часто говорили об этом с Гердтами. Зяма никогда и никому не давал поблажки за талант, имя, известность. Стараясь в повседневной жизни быть не артистом, а человеком, который платит по всем счетам сполна, как все смертные, он так же оценивал человеческие достоинства других. Необыкновенная взыскательность к своей деятельности на сцене и на экране давала ему право столь же строго смотреть и на то, что делали коллеги. Чувство меры, точность интонации, вкус, подлинность – то, что искал Гердт в искусстве, литературе и людях. Он был хорошим зрителем, мог легко рассмеяться, но за этой первой детской реакцией, за расположенностью доброжелательного зрителя всегда был следующий счет – гамбургский.

Зямка не любил театральный мир. Не приспособленный к интригам, сплетням, чуждый злобной зависти, он не увлекался этой средой. Как ни странно, Гердтов больше привлекали люди науки. Мы видели, с какой сердечной внимательностью относились в этом доме к нашим коллегам – друзьям с Гауи. Зяма входил во все подробности их жизни, летел помогать с телефоном, больницей, квартирой (это называлось «торговать лицом»), его волновали и интересовали эти люди. Он был всем сердечным другом, родным человеком.

Особой любовью Зямы были поэт Михаил Львовский, милый Петр Тодоровский, застенчивый Орест Верейский... Надо было услышать рассказы Гердта о Рине Зеленой! Их дружбе способствовало всё, всё было гармонично: артистический дар, необыкновенное чувство юмора, ироничность, талант, детскость и непредсказуемость реакций.

Зяма совершенно не выносил подобострастия, даже по отношению к очень высоким персонам, и, имея абсолютный слух на такого рода недуг, он еще и выдавал мгновенные остроумные экспромты. Вспоминаются первые выборы президента. По случаю победы был устроен небольшой неформальный концерт из артистов, которых прежде не рекомендовалось приглашать на правительственные мероприятия. После концерта нас всех пригласили пообщаться с Борисом Николаевичем на коротке. Всё началось хорошо, все раскованны, никакого почтенного трепета. Вдруг поднимается восторженный господин из агитационной команды президента и, подняв фужер с шампанским, говорит: «Дорогой Борис Николаевич! Однажды во Францию пришло письмо без имени. На нем было написано: «Вручить самому благородному, самому образован-

ному, честному и умному гражданину». Французы сразу поняли, что речь идет о Жане Жаке Руссо. Так вот, если бы сейчас такое письмо пришло в Россию...» Ну, началось! Мы все от стыда и неожиданности готовы лезть под стол. И тут вскакивает Гердт, голова низко наклонена, голос взволнованно дрожит: «Не надо, дорогой, не продолжайте. Я все понял! Спасибо, очень рад! Спасибо, дорогой!» Ельцин бормочет: «Ну, спас, ну, просто спас...» Уж мы-то точно были спасены.

Невозможно в воспоминаниях о Зиновии Ефимовиче не сказать о главном человеке в его жизни – Татьяне Александровне. Конечно, между Никитиными и Гердтом существовали и чисто творческие отношения. Мы не раз выступали вместе с Зиновием Ефимовичем, что всегда было важным экзаменом для нас. Однако справедливости ради надо сказать, что первым толчком к нашим тесным контактам был не столько интерес к тому, что мы делали на сцене, сколько одобрение нашего почтительного отношения к поэзии, к слову. То есть импульс был скорее сердечно-человеческий. Зямочка часто говорил слова о нашей «общей группе крови», и этой общности невозможно вообразить без Татьяны Александровны.

Чета Гердтов никак не выглядела парой голубков. Многие считали, что Т. А. – генерал и главнокомандующий. И отчасти это было правдой. Зяма был необыкновенно к ней привязан, зависим психологически и морально. Т. А. не позволяла ему быть старым и большим со всеми вытекающими из этого последствиями. До последних недель жизни он был художником, не знающим возраста. С ним было интересно дружить независимо от того, сколько тебе лет. Гердт сохранял молодой взгляд на жизнь, его интересовало всё – от политики до домашних мелочей. Всегда элегантный, подтянутый, обаятельный и остроумный Гердт, а Т. А. за кулисами. Всё было основано не на подчинении, а на неизменном взаимном интересе, дружбе, уважении, нежности и любви, которую оба никогда не демонстрировали. Невозможно вообразить, чтобы Т. А. прилюдно хвалила Зямочку, он не ходил дома в гениях. Мне кажется, что сам Зяма был благодарен за это Т. А., как никто другой. Всё, что волновало и происходило важного и не важного с ним за день, он приносил домой к Тане. Они общались. За внешней сдержанностью и строгостью Т. А. скрывалась и ее огромная зависимость от Зямы, дочери, друзей, подруг и даже собаки. Никто лучше Зямы не мог оценить и почувствовать эту настоящую, глубокою сердечность Т. А., ее преданность, способность забывать о себе.

Я знаю, что некоторые побаивались прямого характера Т. А. Однажды на Гауе поздно ночью хватились некой дамы, пошли группой ее искать. Вскоре обнаружили в лесу машину, где в компании веселых проезжих латышей была и пропавшая. Открыв дверь, Т. А. произнесла всего несколько слов: «А, так ты, оказывается, б...дь?!» И всё. Поиск был закончен, диагноз поставлен. Зато как мудро и дипломатично умеет Т. А. найти

выход в труднейших жизненных ситуациях. Все подруги получают от нее самые умные и взвешенные советы, как не ссориться с ближайшими родственниками, как уметь подняться над собой. Все мы хоть раз в жизни, но пользовались советом Т. А. Что же говорить о Зяме... Потому однажды, незадолго до своей кончины, в фильме, который сделала Катя Гердт, прозвучало признание Зямы, что ему достался счастливый трамвайный билет в жизни – Таня.

Так сложилось, что большинство наших друзей старше нас лет на десять; в основном это поколение «шестидесятников». И мы никогда не



*Татьяна Никитина, Сергей Никитин, Эльдар Рязанов,
Булат Окуджава, Юлий Ким, Зиновий Гердт*

чувствовали этой разницы и не задумывались о ней, так же, по сути, было и с Гердтами. Но с началом нашей дружбы всё же иногда стал являться страх: а вдруг кто-то уйдет раньше тебя? И гонишь от себя, гонишь эти страшные мысли с каким-то просто паническим ужасом. Увы, пришла пора прощания и в наш круг. Много горьких проводов пережили мы за последние годы, но уход Зямочки для нас – одна из самых больших личных потерь.

Мне кажется, что я простилась с ним дважды: сначала один на один, а потом со всеми. Дело было так. Примерно за год-полгода до прощального вечера Зиновия Ефимовича 2 октября, когда мы всё уже понимали, что он уходит, Гердты как-то вечером приехали к нам. Я была одна, их не

ожидала. Они были после банкета и всё равно пришли что-то пожевать. Расположились на кухне, Зямочка был очень грустный и усталый, да и разговор у нас был печальный. Обсуждали невеселые, горестные новости последнего месяца. У нас дома случилась беда. Видя, что Зяме неможется, мы положили его немного поспать в комнате, а сами с Татьяной Александровной остались на кухне. Пьем чай, курим, она слушает меня. Неожиданно из комнаты громкое: «Таня! Таня! Иди сюда». Татьяна Александровна бегом к нему: «Что, Зяма? Что?» – «Да не ты, Таня маленькая!» Теперь несусь я. В комнате темно, наклоняюсь к нему: «Что случилось, Зямочка?» И он вдруг крепко обнимает меня и сильно целует несколько раз, потом устало отталкивает и говорит: «Теперь иди, иди...» Что это было: сон или какой-то порыв прощания? «Теперь иди...» Во мне что-то оборвалось – я просто физически ощутила, что это начало конца.

Потом наступило 2 октября. За кулисами театра много народу, все друзья как-то прячут глаза друг от друга. Зямочка лежит на узкой кушетке в маленькой артистической, с ним рядом сидит Юрий Владимирович Никулин. Больше никому там не поместиться, и мы все по очереди сьем головы из коридора, чтобы поздороваться с ними. Каким-то чудом перед кушеткой втиснули маленький монитор. Все вокруг суетятся, бегают, кто-то старается «попасть на концерт». Сталкиваемся с Шурой Ширвиндтом, глаза у него растерянные, влажные; сдерживаясь, чтобы не заплакать, он говорит: «Ну, Зяма, ну, дает! Что говорить-то на сцене???»

Никулин что-то продолжает говорить Зямочке, не слышно, о чем они. Лица у обоих как будто даже будничные. Без паники и страха, как два старых солдата перед последним боем. Я молчу потому, что плакать нельзя.

Было задумано, что Гердт будет перед зрителями пять минут вначале и пять минут в конце. Так всё и пошло: актеры «театрально» унесли со сцены героя в кресле, вечер покатился дальше. И вот наступил выход Ю. В. Никулина. Он вызвал на сцену фронтовую медсестру Верочку Веденину, вынесшую раненого Гердта. Зяма лежал на кушетке, мы с Татьяной Александровной примостились рядышком у хриплого монитора и, ничего не слыша, только увидели поднимающуюся на сцену Верочку. Вдруг Зяма решительно начинает подниматься с кушетки, мы ему помогаем: «Что Зяма, что?» Опираясь тяжело на нас, говорит тоном, не терпящим возражений: «Я должен быть там». С трудом выбираемся в коридор, он держит нас за руки и вдруг стремительно устремляется на сцену, почти бежит. Бежит впереди, не отпуская нас, с силой увлекая за собой. Боже мой, какая сила влекла этого худенького, большого человека последний раз на сцену?! Казалось, только сила духа и была уже в нем. Всё остальное все видели. Гердт был со зрителями на сцене весь вечер. Он уходил и навсегда оставался в каждом из нас еще и этим высоким трагическим вечером. Дорогой Зяма, без Вас нам плохо! Спасибо Вам!



Об Аркадии Арканове

Однажды известные еще только довольно узкому кругу людей молодые соавторы, ни одной книги которых еще не было издано, приехали в Одессу. Поселившись в гостинице, они подошли к книжному киоску: «Пожалуйста, нам книжечку Арканова и Горина». – «Хватились!» – в типичной одесской тональности ответил киоскер. Но он был провидцем. Вскоре имена этих бывших медиков, ставших писателями, стали очень громкими. Сначала вместе, а потом, став известными зрелыми писателями,

они стали существовать отдельно: Гриша – главным образом как замечательный драматург, а Арканов – как не менее замечательный прозаик. Зяма очень высоко оценивал творчество обоих и считал очень правильным их разведение, так как, по его мнению, каждый стал «гораздо ярче». Он, к сожалению, не успел прочитать последний роман Арканова, но всегда говорил: «Он еще нам выдаст». Не успел он услышать и как Арканов поет. Я-то, честно признаться, больше люблю, когда Арканов на эстраде читает. Всегда с неизменно строгим лицом, сохраняя полное отсутствие улыбки и отстраненность, даже в те минуты, когда зал обрушивается дружным хохотом.

Мне еще очень импонирует его знание спорта. Он блистательный шахматист и, я уверена, благодаря этому так глубоко понимает футбол (все любят и увлечены, но по-настоящему разбираются очень немногие).

Я думаю, большая удача, что Арканов начинал с медицины, потому что, посмотрите сами, писатели, начинавшие свою деятельность как медики, обязательно занимали и занимают, пусть разные по масштабу, очень свои места в русской литературе. Первые, кто приходят на ум: вчера – Вересаев, Чехов, сегодня – Горин, Крелин, Арканов...

А он-то нам «еще выдаст»!

Аркадий Арканов**«ХОЗЯИН, ГДЕ ЧИТАТЬ БУДЕМ?»**

Мне всегда казалось, что меня и Зиновия Ефимовича Гердта разделяет большая временная пропасть. Все годы мне казалось, что он – такой великий, такой большой, древний мастодонт... А теперь, когда его нет, я понимаю, что по времени нас разделяла в общем-то не такая уж и большая разница. Когда он был юношей, я только родился, а когда мне было уже шестьдесят – все уже сгладилось и мы стали почти ровесники...

Впервые я увидел Зиновия Ефимовича на послевоенном эстрадном концерте, где он выступал как пародист. Я был уже взрослым молодым человеком, он был уже известный, блистательный артист Зиновий Гердт. Мне он явился как блистательный музыкальный пародист, гениально изображавший Леонида Утесова. Потом он читал стихи. Обычно пародисты читают чужие стихи, Гердт читал стихи свои и драматурга Михаила Львовского, они очень дружили, вместе писали пародии.

Позднее, когда прошло много лет, я всё думал: «Кого же он мне напоминал в те годы?» – а потом понял: Шарля Азнавура. Человеческой (не звуковой) интонацией и даже чисто внешне. Но это было потом... А в те годы, когда я впервые увидел Гердта, я испытал то восхищение попеременно со священным трепетом, которое испытывает юноша, сидя на трибуне и глядя на какого-нибудь футбольного кумира, и ему кажется, что никогда в жизни ему не удастся встретиться с этой знаменитостью... Всё это происходило со мною, когда я смотрел игры с участием великого русского футболиста Константина Ивановича Бескова, ставшего потом замечательным тренером. Мне казалось, что дистанция, которая нас разделяет, – невероятна, как от солнца до меня. Через годы мы с Константином Ивановичем незаметно оказались друзьями, и выяснилось, что возрастная разница между нами всего десять лет.

Точно так же, глядя на Гердта, я понимал, что между нами вселенная, что мне никогда не оказаться рядом с этим человеком.

Я был скромным школьником, затем стал студентом медицинского института, где и оказался в замечательном самостоятельном театрально-эстрадном коллективе. Там все делалось на таком высоком уровне, что мы завоевали серебряную медаль на Международном фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Успех нашего коллектива был огромен, и распространялся он, как теперь говорят, не только на Москву, но и на регионы. Нас приглашали на ноябрьские праздники, на майские вечера, на новогодние концерты и так далее. Короче говоря, нас знали. И в первую очередь нас знала артистическая общественность Москвы по нашим

концертам в ЦДРИ¹ и ВТО². И вот на одно такое представление пришел Зиновий Ефимович. Еще перед началом представления мы уже знали, что сегодня в зале Гердт.

Я выступал со своими миниатюрами и как автор, и как исполнитель и читал всё ему в глаза. Его реакция просто ошеломила меня. Его неповторимый хохот звучал совершенно отдельно от общего смеха. Он смеялся не только внешне и звуково, он смеялся еще и внутренне, и это было видно. Так лучезарно, так добродушно и так любя он смеялся, что мы все чувствовали себя буквально обласканными гердтовскими флюидами. После концерта он прибежал к нам за кулисы: «Роскошно!.. Это было потрясающе!.. Дико смешно!..» При этом он тут же сам начинал заразительно смеяться.

Каждому он пожал руку, для каждого нашел какие-то хорошие слова, и вот тогда-то мы и познакомились. В это время мы уже подружились с Шурой Ширвиндтом, а он, в свою очередь, уже давно дружил с Зиновием Ефимовичем. Мама Шуры, Раиса Самойловна, была прекрасным администратором и известным театральным деятелем, работала в Москонцерте и ВТО, короче говоря – ее знали и любили все. Знал и обожал ее и Гердт. А когда состоялось знакомство семьями, то тут же немедленно возникла дружба Гердта с тогда еще первокурсником Александром Ширвиндтом. Сначала Гердт относился к Шурику как к Шурику, затем постепенно Ширвиндт вырос в самостоятельную и очень яркую творческую личность, разница в возрасте сглаживалась, и они стали, наверное, самыми близкими друзьями. Всю жизнь они звали друг друга на «ты»: Шура-Зяма, Зяма-Шура...

Благодаря Шуре и началось мое сближение с Гердтом. Мы с Шурой часто встречались, он бывал у меня, я приходил в гости к Ширвиндтам. И однажды Гердт пригласил нас обоих к себе в дом, и с тех пор моя связь с Зиновием Ефимовичем не прерывалась.

У меня язык не повернется сказать, что мы с Гердтом были друзьями. Я входил в круг его близких приятелей, подчеркиваю. В первый эшелон входили Львовский, Тодоровский, Ширвиндт, Рязанов... Я существовал во второй орбите окружения Зиновия Ефимовича.

Он помнил обо мне и всегда звал на семейные торжества – я этим очень гордился. С женой Гердта Татьяной Александровной я общался на «ты», а вот его самого я называл, естественно, на «вы». Для меня было невозможным назвать Гердта «Зямой». Хотя он сам всегда представлялся новым людям именно так. Однажды он мне сказал: «Что такое, Аркадий,

¹ Центральный Дом работников искусств (ред.).

² Всесоюзное театральное общество (ред.).

что это такое? Что за Зиновий Ефимович?..» Под напором я переходил на «Зяму», но затем тихо и незаметно снова вводил в нашу беседу «Зиновия Ефимовича».

В работе как в таковой я с Гердтом не встречался, у нас не было никаких совместных проектов. Мы пересекались с ним только на концертных площадках, то есть выступали в одних и тех же представлениях. Я наблюдал его за кулисами, мне было просто интересно изучать процесс его подготовки к выступлению.

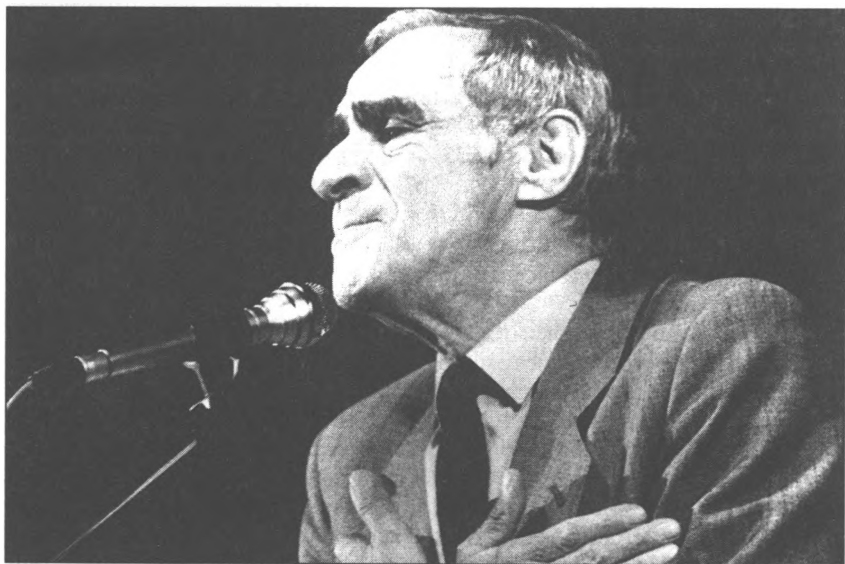
Каждый актер готовится по-своему: кому-то нужно прийти за полтора часа перед спектаклем, кто-то влетает в гримерную за пять минут до начала... Минут за десять перед выступлением Гердт, разговаривая с вами, был уже не в разговоре. Он мог что-то рассказывать, шутить, смеяться, очень внимательно слушать вас, но... Гердт был уже не с вами, а там, на сцене. Он уже мысленно разглядывал публику, прислушивался к ней, к ее настрою, внутренне выбирал тон... но при этом совершенно нормально разговаривал с вами. И только за две-три минутки до своего выступления он реагировал на разговор автоматически. И когда одним ухом Гердт улавливал, как конференсье уже заканчивает свою репризу, он непременно говорил: «Аркашенька, не забудь, пожалуйста, что́ ты мне хотел рассказать, потом обязательно доскажешь. Я сейчас уже бегу...»



Я оставляю за скобками его талант, его индивидуальность – это и так понятно, но он еще к тому же был профессионалом высочайшего класса. Не с точки зрения ремесла, а в самом высоком смысле этого слова – с точки зрения отношения к своей работе. Неважно, выступал ли он на сцене или стоял за ширмой в театре Образцова, снимался ли в кино или работал на телевидении. Он был железным профессионалом, хотя был абсолютно земным человеком. Любил пображничать, любил очень вкусно поесть, посидеть за столом, побалакать... При этом он мог выпить очень много, но все знали, что если завтра у него спектакль, концерт или съемка – он будет свеж и элегантен, как всегда. Никаких следов дружес-

ких возлияний, никаких недомоганий или болей никто и никогда не видел на лице Гердта, пришедшего на работу. Ни один режиссер, ни один коллега ни разу не засомневался в Гердте как в партнере, потому что на него можно было положиться всегда: он непременно будет вовремя, у него всё будет в порядке, он будет точен и нигде никого не подставит. Вот таким своим отношением к работе он здорово подтягивал партнеров. При нем было неловко прийти на работу в каком-то несобранном виде и с какими-то своими проблемами.

Находясь в преклонном возрасте и будучи уже больным человеком, Гердт выдерживал чудовищные нагрузки. Последние годы он уже выступал с воспоминаниями о своих друзьях, стоя по два часа на сцене. Стоя, подчеркиваю. Рассказывал, показывал, пел и выдерживал жесточайший график гастролей. Ведь когда закончилась «эра Москонцерта», администраторы, пользуясь тем, что фамилия «Гердт» в любом городе могла обеспечить полный аншлаг, делали на нем очень хорошие деньги. И эксплуатировали они Гердта нещадно... Они заряжали такое количество концертов, которое было не всем молодым актерам по плечу. Гердт выдерживал всё, без единой жалобы. И что меня больше всего поражало – Гердт очень любил комфорт, чтобы всё было чисто, аккуратно, чтобы всё было удобно, чтобы всё было под рукой, чтобы еда была вкусной... Но при всём при этом он никогда не представлял каких-то особенных условий ад-



Тамск, 1988

министраторам, как это случается сейчас с едва оперившимися актерами, поп-певцами, которые требуют «мерседес» определенного цвета и модели, охрану, определенный интерьер апартаментов и тому подобное. Для Гердта достаточно было, чтобы в номере было тепло, светло и чисто.

Единственное, чего он всегда требовал, это такой же отдачи в работе, такой же точности и конкретности. Поэтому администратор, который работал с Гердтом, знал, что вот здесь не может быть никаких сбоев, что если выезд назначен на шесть, то никто не мог себе позволить захватить за Гердтом в полседьмого. Он никогда не ругался, не скандалил, только иногда ровным, спокойным голосом мог сказать человеку такие слова, после которых тот понимал, что такое работа вообще и что такое его работа администратора в частности.

Гердт совершенно не переносил форменной, натуральной глупости. Агрессивная глупость могла его просто вывести из себя, и тут он мог обозлиться как волк, очень жестко ответить и сказать кое-что... прилюдно.

И еще он ненавидел одну вещь, и не то что ненавидел – никогда не прощал. Это предательство и подставку.

Иногда это доходило до преувеличений. Приведу один пример. У него было семидесятилетие, и я был приглашен на этот праздник, но так случилось, что у меня были гастроли и я не успел в этот день в Москву. Он мне ничего не сказал, но внезапно стал со мною очень холоден, перешел на «вы», и всё это длилось больше года. Я пытался объяснить: «Зиновий Ефимович, вы понимаете... Я не смог...» На что он мне отвечал металлическим голосом: «Аркадий... Не надо ничего объяснять. Не смогли и не смогли, у меня нет к вам никаких претензий. Я вас пригласил – вы не пришли, почему не пришли – меня не интересует. Мне просто было обидно, что вас не было. Вы поняли?»

Это не вредность. Он просто посчитал это некоторым предательством по отношению к себе. Думаю, что это не каприз. Может быть, это была уже такая... возрастная обидчивость. Я долго думал, как можно изменить сложившуюся ситуацию, и понял – только юмором. И вот наступил день, когда мы должны были выступать на одном концерте. Я неожиданно для него подошел к нему, встал на колени, ударился лбом об землю и сказал: «Дамы и господа! Позвольте прилюдно принести свои самые высокие извинения великому, неповторимому Зиновию Гердту!.. Зиновий Ефимович, позвольте поцеловать вашу ногу...» И вот тут он захохотал, и всё между нами восстановилось.

Гердт всегда очень внимательно наблюдал за тем, что делают его друзья. Он был первым читателем всех моих рассказов, миниатюр, повестей и т. д. и очень почтительно отзывался о том, что я делаю. Это для ме-

ня было как награда. Прочтя один из моих рассказов под названием «Соловьи в сентябре», он сказал: «Аркадий, вы знаете, что в советской литературе последних лет есть только два рассказа, которые могут быть поставлены на пьедестал. Это «Случай на станции Кречетовка» Александра Исаевича Солженицына и ваш рассказ «Соловьи в сентябре». Такого я про себя даже подумать не мог...

Он мне частенько звонил и спрашивал: «Аркашенька, ты что-нибудь написал новое?.. – Я не успевал ничего ответить, как он тут же продолжал: – Значит, так, сейчас три часа, в пять Таня накрывает на стол. У меня есть совершенно потрясающие напитки, ты приезжаешь ко мне и читаешь всё, что ты написал». На любые попытки возражать (иногда ведь у меня были заранее назначены какие-то важные дела, встречи) он отвечал: «Ты запомнил, Аркадий? В пять часов, я сказал. Не в пять тридцать, а ровно в пять я тебя жду».

Я приезжал, мы бесподобно вкусно ужинали, прикладывались к напиткам, и я читал ему свои новые вещи. Никаких профессиональных советов он мне никогда не давал. Он мог высказать свое впечатление, может быть, какое-то замечание, не более того. Когда я сам в чем-то сомневался, когда что-то у меня не клеилось, я ехал к нему и читал то, в чем сомневался, и его реакция говорила мне обо всем. Я моментально понимал – чего же у меня здесь не хватает, в чем загвоздка. Но если Гердт говорил «это хорошо», меня взвинчивало до самого потолка. Я был счастлив.

Как-то раз я приехал к нему, одевшись по-рабочему, не выпендриваясь. На мне была телогрейка, какая-то ушанка... Он открыл дверь, и я ему сказал таким басом: «Хозяин, где читать будем?..» Он был в восторге.

Гердт был актером, который мог сыграть абсолютно всё. И для каждого зрителя, я уверен в этом, был свой «Гердт». Для одних он так и остался фокусником из одноименного фильма, для других фамилия «Гердт» немедленно ассоциируется с «эрой милосердия», для третьих это ведущий «Необыкновенного концерта», для целого поколения детей, наверное, Гердт – это Черная курица из сказки Одоевского, которая говорила его голосом... Но для меня он так и остался Паниковским. Я знаю, что он сам не был доволен этой ролью, но это другой вопрос. Сыграл он Паниковского потрясающе. Трагически. Кто бы ни играл Паниковского – все брали из книги Ильфа и Петрова в основном только внешние стороны этого персонажа, брали только смешное. А Гердт сделал этот персонаж очень человеческим, ранимым, типичным, а посему очень хорошо узнаваемым. Для меня он сам в каком-то смысле был Паниковским. Человеком, который при всем своем даровании, при всей своей подлинной интеллигентности, при сногшибательной памяти и безупречном вкусе, при том, что его любила вся страна и он знал об этом, ему было мало всего этого. Ему хотелось большего. Другого. Нового.

Я сам хочу сделать и делаю большой и многослойный роман. Но, как только я его закончу, не удивлюсь, если мне тут же захочется чего-то другого, следующего.

Мне кажется, что Гердт недоиграл, не дождался своего самого великого, звездного часа.

Я видел его за три недели до смерти.

Он проводил «Чай-клуб» у себя на даче. Он меня пригласил на этот вечер. Он был очень плох и слаб. Его уже вывозили к столу в кресле, но он смеялся и шутил, он держался. Потом он лег. Все участники этой застольной съемки продолжали выпивать, разговаривать, вспоминать... Кто-то пытался навеститься в комнату Гердта, но Таня охраняла его покой, как всевидящий сфинкс. Он не хотел, чтобы его видели в такой немощи, с такими муками на лице, он хотел, чтобы вечер закончился так же радостно, как и начался. Я тоже пытался сказать Тане, как, мол, так, мы здесь все сидим, выпиваем, отлично себя чувствуем, а он там лежит... Она мне ответила: «Аркадий, сейчас он должен быть один. Если он вернется за стол, ему будет плохо от того, что он не сможет вам соответствовать». Когда я уезжал, зашел к нему. Он не спал, а просто лежал в темной комнате. И всё время вздыхал... Мы с ним поговорили, я ему подарил свою новую книгу. Он мне обещал обязательно прочесть. Я его спросил: «Зяма, ну что вы всё время вздыхаете?.. Вам больно?..» – «Ах, Аркаша... – ответил Гердт. – Да не больно мне... Как бы тебе это объяснить... Ну, не хочется мне уходить из этой жизни...» Я не спрашивал почему. Думаю, потому, что он не сделал чего-то главного в этой жизни, и потому, что очень любил эту жизнь и умел жить. Когда он поднимал бокал, он всегда говорил: «Вот мы все здесь свои за столом... Шурик, Аркаша... Поверьте, я нисколько не боюсь того, что мы все называем смертью, нисколько... Я готов к этому. Я просто хочу, чтобы мы все жили хорошо, благополучно, в нормальной стране... Я хочу, чтобы все эти негодяи и козлы стинули. И я не хочу, чтобы вы стали козлами...»



А умирал он очень тяжело... Ведь духовно и морально он был совершенно живой и здоровый человек и был еще способен создать много талантливых вещей. Я думаю, что вот тогда, когда я уходил от него, он прокручивал в голове ситуацию, когда его уже не станет, а всё останется. Как было, так и останется всё на своих местах: те же люди, все друзья, которые так часто собирались у него в доме... только его не будет. Вот что было для него самым убийственным. Уверен, что Гердт никогда не думал о том, как его будут помнить, чувствовать, что вот, мол, какой был Зиновий Ефимович... Гердта даже заподозрить в этом трудно. Гердт страдал именно от того, что не увидит своих друзей – кинорежиссеров, актеров, писателей... Не увидит их успехов, радостей, их новых забот...

Думаю, что по большому счету Зиновий Ефимович не очень хотел вечера, посвященного его восьмидесятилетию, который собрал всех, кто его знал и любил. Уверен, что во многом этот вечер был ему в хорошем смысле навязан его близкими друзьями – Ширвиндтом, Рязановым, Тодоровским... Они понимали, что человек уходит и что если этого не сделать сейчас, то это уже не случится никогда. А самому Гердту этот вечер, я думаю, не был нужен. Я считаю, что для Гердта было большим мужеством выйти в этот вечер на сцену, просидеть там много часов, шутить, острить, сглаживать все ошибки вечера, исправлять некоторых людей, которые пытались поздравлять его стихами... Для человека с почти угасшим здоровьем это – Поступок.

Я думаю, что при всех жизненных обстоятельствах Гердта, которые чаще работали против него, он сумел справиться со всем этим потому, что всегда знал про себя главное – что и к себе, и по отношению к другим людям всегда был честен, что никогда никого не подставил, не заложил и не продал. Перед Богом он был чист. Оттого и не боялся ничего. И что его поддерживало в жизни? Его потрясающее окружение. Люди, с которыми он дружил на протяжении всей своей жизни, не давали ему ввинчиваться в ту воронку, откуда уже нет выхода. Ведь у каждого человека бывают минуты, когда он задумывается: «А стоит ли вообще дальше жить?..» В такой ситуации к Гердту (даже уже глубоко больному) мог войти Шура Ширвиндт и сказать с порога: «Зяма, ты что, обабдел?! Ты что здесь разлегся?! Сегодня же вечер у этого!..» И тогда Гердт резко оживлялся. Он вскакивал, собирался, неся на этот вечер...

Весь ужас заключается в том, что когда такие люди, как Гердт, уходят, то для нового поколения людей не остается никаких переходных мостиков, никаких связей. Да я даже не знаю, возможно ли для новой генерации преодолеть этот разрыв, который остался после того, как не стало Гердта... Не знаю. Вряд ли... Для того чтобы снова возникли такие «могикане», нужны многие и многие годы. Они должны самозародиться опять, как самозародился и сделал себя сам Зиновий Гердт.

О Ефиме Махаринском



Мила (Людмила Львовна Хесина) и ее муж Фима (Ефим Геннадьевич Махаринский) «достались» мне от моей ближайшей, еще со школы, подруги Лели, врача-педиатра-отоларинголога. Милка тоже хирург-отоларинголог, только для взрослых.

После трагично раннего ухода Лели сначала Мила, а потом и Фима вошли в немногочисленный круг наших самых близких друзей, что случается достаточно редко, когда люди далеко не школьники и давно уже даже не студенты.

Фима – третий (всего!) человек в моей жизни, который по-настоящему любит детей. До этого такими были только Илья и Маша (муж и дочь моей подруги Иры, с которой мы вместе шестьдесят лет). Помоему, нет человека, который осмелится произнести: «Я не люблю детей». Я не говорю о любви к своим детям – это физиология. Сужу по себе: я все сделаю для любых детей – покормлю, почитаю, погуляю, но если найдется тот, кто сделает это вместо меня, то почитаю для себя с большим удовольствием. Эти же, истинно любящие, активно тратят свое время на детей, испытывая его как счастье. Восхищаясь, завидую им, как завидую музыкантам и художникам.

Фима не только моя радость. Вот стихи, написанные ему в день рождения Эльдаром Рязановым:

Как наша даль необозрима –
 Народу ужас, жуть, беда!
 Но вижу – средь толпы есть Фима.
 Вот это да! Вот это да!

*Как все он делает толково, –
Родитель, муж, и друг, и дед.
Попробуй поискать такого,
Ему подобных в мире нет!*

*Спортсмен и повар – просто диво,
Он добр и мудр, и в нем есть стиль!
А как он выглядит красиво!
Как водит он автомобиль!*

*Он очень славный, страшно милый.
А какова его жена!
Ведь склеил он красоту Милу!
Характеристика полна.*

*Он сносит Танины приказы,
Он молчалив, как рыба-кит.
Не скажет ей в ответ: Зараза!
А так – достойно промолчит.*

*Да! Он – еврей! Он не татарин.
И не грузин! И не узбек!
Он просто самый лучший парень.
Наш Фима – дивный человек!*

Ефим Махаринский

НЕРАСТОРЖИМО НАШЕ ЗЯМСТВО...

У каждого выдающегося человека есть «внешняя» и «внутренняя» жизнь. Мы вместе с женой, врачом, занимали одну из внутренних, сугубо семейных ниш жизни Зиновия Ефимовича. Последние десять лет мы присутствовали на всех сколько-нибудь значительных семейных праздниках, и впечатления, которые вынесли от общения с замечательными, под стать Гердту, людьми заслуживают, может быть, отдельного рассказа.

Гердт был обожаем «внутри» так же, как и прилюдно. У меня было постоянное желание сделать для него что-то приятное, полезное и, если можно, значительное, чтобы вписаться в круг общения.

Запомнилась общая суета, связанная с бенефисом в честь 80-летия. Он, тяжелобольной, возлежал на диване на даче в Пахре, много говорил по телефону, что-то согласовывал, предлагал, отвергал – был сорежиссером задуманного спектакля. Улучив момент, я решил тоже внести лепту

в это действо и предложил Зяме стишки, которые, как мне кажется, подходили для прочтения на самом бенефисе. Зяма тонко почувствовал мои графоманские, абсолютно непрофессиональные потуги, но, чтобы не совсем обидеть, сказал, что нужно доработать текст, и на всякий случай прочитал мне часовую лекцию по стихосложению с иллюстрацией шедевров, которую я, конечно, никогда не забуду. Я не спал ночь, уперся, доработал два четверостишия и отдал их Зяме. «Ну, хорошо», – сказал он неопределенно и куда-то положил текст.

И вот идет бенефис. Тяжелобольной Зяма совершает неслыханный подвиг просто потому, что находится на сцене. И вдруг кукла-«конферансье» голосом Зяминого дублера, якобы экспромтом, произносит:

Он с детства каждому знаком
Морщинками столь милых черт,
Но подступает к горлу ком,
Когда подходит к рампе Гердт.
Его судьбы открыт конверт,
И пусть гремят овации,
Ведь он у нас единый Гердт
Российской Федерации.

Аплодисменты подтвердили, что есть какое-то попадание. Я себя чувствовал счастливейшим человеком, хотя и со слезами на глазах. Смех, слезы и аплодисменты непрерывно сменяли друг друга: в зале не было равнодушных. Все понимали, что это прощание...

После такой тяжелой нагрузки в час ночи раздался телефонный звонок в нашей квартире, и замечательный Зямин голос произнес: «Милочка, ты не могла бы пригласить к телефону известного поэта такого-то...»

Обстоятельства сложились так, что весть о Зяминой кончине застала нас вдалеке от Москвы. Жена выехала на похороны. Я оставался с внуками и к утру дня похорон протелеграфировал приснившиеся мне строки маленького «реквиема»:

Уехал Зяма на гастроли,
Уехал в вечность, навсегда...
Он выступает в новой роли,
О ней он думал иногда.
Он был нам лучиком надежды
(Зачем на раны сыпать соль),
О том не знали лишь невежды –
Неистребима наша боль.
Друзьям есть повод для упрямства,
Жить силы новые найдем.
Нерасторжимо наше Зямство –
Как память светлая о нем.

Это мои цветы Зяме.



О Саре Погреб

По окончании выступлений Гердта к нему за кулисы всегда приходили люди. Так было и после вечера в Магнитогорске много лет назад. Среди пришедших была пожилая женщина, выделенная от остальных тем, что ее комплименты звучали на редкость не банально. И вдруг, к огорчению Зямы, она вынула из авоськи, в которой была еще бутылка кефира, красную папку, сказав, что в ней ее стихи. Зная погруженность Гердта в поэзию, его всегда заваливали графоманскими виршиами. «Еще одна», – с грустью подумал Зяма, но папку, естественно, взял, так как, по его выражению, любое «написанное в столбик» не прочесть не мог.

Дня через два после приезда домой, ложась спать, он открыл папку и минут через десять сказал: «Читай, с ума сойти, тут, кажется, настоящее». Мы встали, разбудили гостивицу у нас жену моего брата и до утра читали. Утром Зяма связался с Сарой, а потом помчался к Дезику (Давиду Самойлову) за подтверждением наших впечатлений. Дезика не было дома, Зяма оставил папку, а через несколько дней Дезик позвонил, что папку найти не может и пусть Сара придет сама и почитает. Сара приехала и, посланная нами, в трепете отправилась к Самойлову. После того как она прочитала Дезику несколько стихотворений, он прервал ее и стал звонить по телефону: «Юра (это был Левитанский, они жили в одном доме), всё бросай, иди сюда, здесь стихи». Когда Сара закончила им читать, Дезик сказал, что никаких советов он ей давать не будет, так как она сложившийся поэт, и что надо публиковаться. Он велел ей сделать подборку из нескольких стихотворений, написал к ним представление, и вместе с Зямой они отдали это в журнал «Дружба народов», где и была первая Сарина публикация. А потом, когда она в силу семейных обстоятельств уже была в Израиле, вышел ее небольшой поэтический сборник «Я замолчала до стихов» тоже со вступительным словом Д. Самойлова, в котором есть такие слова: «Сара Погреб – человек зрелый и поэт свершившийся... в ее стихах нет колебаний вкуса... Все строго и существенно. Я много слышал и читал ее стихов. У нее есть то, что обычно называют «свой голос»... У нее пристальное зрение художника и умение воплотить мысль и переживание в ритм стиха. Надеюсь, что читатели услышат все это».

Услышали. Несколько лет назад она была признана лучшим русско-

язычным поэтам Израиля. Там же вышел ее второй сборник, «Под окном небосвода», в котором есть такое стихотворение о нашей с Зямой встрече с ней:

**О двух вечерах в Тель-Авиве,
об одесской песенке, о тоске**

Есть интересней, есть прелестней,
Но Зяма выбрал эту песню,
Где лампочка всю ночь не гасла:
«Ну почему ты не пришел,
Когда я была согласна?»

О женском сердце кинолента.
Одесса... Магия акцента.
(Я, знаете, люблю евреев.
Им надо быть еще храбрее.
Их ненавидят так открыто,
И каждый может быть убитым.)

А Танины сновали руки.
Сначала подшивали брюки,
Потом погладили рубашки,
Потом перемывали чашки.

Минуты на три – божья милость –
Мгновенье приостановилось.
Сумерничали окна немо.
Непостижимо! Кто мы? Где мы?

О, место ложки за тарелкой,
Укроп с петрушкой – мелко-мелко,
И выйдешь, кажется, из двери
В тот двор – Строителей, 4.

В рот не брала, а захмелела.
В Москве была... Такое дело.

Для нас с Зямой Сара – подарок судьбы, как, знаю, и Зяма, и рядом я, для нее. Мы близкие люди, не только в обращении друг к другу на «ты», но и в общей позиции к поэзии, людям... Я не каждый день перечитываю Сарины стихи, но очень часто взгромождаюсь на редкого удобства лесенку, чтобы достать книгу, чемодан или еще что с верхней полки. Эту лесенку Сара тащила из Ялты, чтобы я не падала со стула, поставленного на стол.

Сара Погреб**СЧАСТЛИВЕЙ И ГРУСТНЕЕ ВСЕХ...****Жажда**

З. Г.

Не знаю за что, но за что-то в награду
Внимательный блеск мимолетного взгляда.
А голос от Бога. Сбывание снов.
Стихов водопад,
и поток,
и прохлады,
И нет утоленья!
Бесценен улов,
Но нет утоления... Шторы раздерни:
Просторы апрельскую пьют тишину.
А голые ветки похожи на корни,
Из неба сосущие голубизну.

Посвящение

З. Г.

Счастливей и грустнее всех.
А небо машет синим флагом,
И звать тоскою просто грех
Порывистую эту тягу.
Дотягиваюсь –
чтоб отдать.
Туманностями поделиться.
И суеверно угадать,
Что раз болит, то, значит, длится?

Зиновию Гердту

Есть медицина лирики высокой.
Летит спасать – ты только позови.
И привитые в отрочестве строки
Целебно циркулируют в крови.
Мне кажется, мы составляем братство.
Нам выдан был без векселя заем.
Врачует дух подспудное богатство,
И мы друг друга всюду узнаем.
Звучит пароль: «Я – с улицы, где тополь...»
И отзыв, точно выдох: «...удивлен».
И будто где-то скрещивались тропы,
И нас качал в пути один вагон.

«Вошла ты». Отзыв: «Резкая, как “нате!”» –
То облако над нами навсегда,
Как будто был один у нас фарватер.
Одни созвездья. Общая беда.

Пароль: «Как это было! Как совпало...»
И отзыв: «Это все в меня запало».
Поэзия. Сама душа России.
Снега. Дожди.

Как правило, косые.

* * *

З.Г.

Он не дождался в этот год метели.
Без нас уплыл к невыразимой цели
И, в немоту укутанный, плывет..
Но Брамс,
но баритон виолончели
Напомнил мне нетленный голос тот.
Пока живу, куда чудо длится,
И под дождем олива шевелится,
И я в тиши губами шевелю,
В любимых строчках –
все презрев границы –
Он здесь. За всех твержу ему: люблю.

Ноябрь, 1996

О Викторе Шендеровиче

Витя попал к нам в дом, когда еще не был столь известен, как сейчас. Ему предложили на телевидении сделать передачу о Гердте, на что он с радостью согласился. И до этого с Зямой делали передачи, брали интервью, «столы» и прочее. Несмотря на то что поначалу Витя показался веселым, прелестным, но легкомысленным человеком, пожалуй, никто так серьезно и подробно не работал над «материалом». Он сделал передачу «Все, что случилось со мной» так достойно, что запредельный в строгости ко всему, в чем он принимал участие, Гердт высказал свою высокую похвалу: «Очень пристойно».

После передачи очень быстро и активно пошло общение, перешедшее, думаю, что могу так сказать, в дружбу. То есть когда высказываются не только лицеприятные слова, но и вполне жесткая критика, воспринимаемая как помощь.

В разных компаниях и обществах Зяма довольно часто говорил: «Смотрите, я самый старший!» – «Не старший, а старший», – поправляла его не только я, но и другие. И правда, до конца дней в нем были, несмотря на физическую слабость, редкая молодость духа и интерес ко всему происходящему. Но при этом он никогда не позволял себе то, что называл «навязываться молодым». Вокруг него был достаточно большой круг людей значительно моложе него, но они были рядом по своей инициативе.

Заслуга в общении с Витей целиком ему и принадлежит. Он нуждался в звонке к Гердту, делился радостями и сложностями своей жизни, искренне и деликатно интересуясь нашей. Зяма ужасно радовался такой теплокровности и говорил, что это прибавляет сил.

В июне девяносто пятого года было возбуждено уголовное дело против телепрограммы «Куклы». И когда Витя, проведя как сценарист программы пресс-конференцию, приехал к нам на дачу, Зяма выбежал ему навстречу со словами: «Витя! Ведь это же позор! Они не посмеют!». – «Почему?» – спросил Витя, не видя особых препятствий к тому, чтобы «они не посмели». Гердт через короткую паузу убежденно воскликнул: «Но ведь тогда им никто не подаст руки!». Витя чуть не заплакал от столь доисторической наивности, но сразу почувствовал облегчение и успокоился. И вечер был веселым и легким. А когда идиотизма не произошло и от «Кукол» отстали, оба радовались одинаково.

Еще во время создания передачи, в начале знакомства, выяснилось, что Шендерович никогда никуда не выезжал. Даже в Болгарию. Или Чехословакию. А в это время по всему свету не гастролировали, как говорится, только ленивые. Витя же был не ленивый, а скромный. И Зяма

сказал: «Нет, это просто невозможно! Вывезти Шендеровича за границу должно стать нашей задачей!» И как раз кто-то позвонил из Израиля с приглашением. Зяма порекомендовал Витю, его пригласили, и он поехал. После этого Витя стал замечательно всем нужен и востребован и в Европе, и в Америке, и уж, конечно, дома. К его чести, это обстоятельство его ничуть не изменило. С уже вполне популярным «лицом» он остался таким же шумным, но скромным. Остался бесстрашным верным товарищем.

Когда Зямы не стало, я подарила Вите его кепку и шарф, надеясь, что через них Вите будет идти некоторая Зямина поддержка. Он их носит и жутко ценит.

Виктор Шендерович

«...ЖИВЫМ, ЖИВЫМ И ТОЛЬКО ДО КОНЦА...»

В 1992 году на телевидении снимался цикл передач «Двенадцать разгневанных мужчин». Двенадцать портретов известных артистов. Уж почему они были «разгневанные», не знаю – название было просто взято взаймы у старого американского фильма.

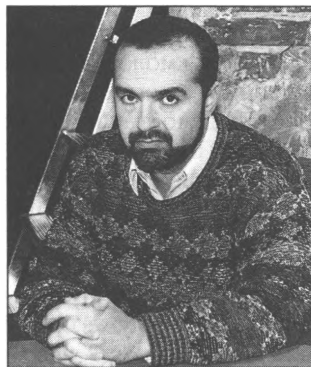
И вот тогдашнее телевизионное начальство предложило мне сделать передачу о Гердте. Надо ли говорить, что я согласился прежде, чем начальство успело закрыть рот!

Удивительная вещь. Задолго до знакомства я относился к Гердту как к близкому человеку. Я понимал, что такое же родственное чувство Гердт вызывает в сотнях тысяч людей, но всё равно (повторяю, задолго до знакомства) чувство к этому человеку было очень... личным, что ли. Я позвонил Зиновию Ефимовичу – и поехал на Пахру, на дачу, где он жил.

Машины у меня не было; машина Гердта стояла возле автобусной остановки. Он встречал так всех «безлошадных» гостей.

...Мы уже несколько часов обсуждали будущую телепередачу, когда Татьяна Александровна предложила пройти за стол.

Гердт подозрительно сильно обрадовался моему согласию поужинать вместе с ним, пошел на кухню и начал лично готовить антрекот,



приговаривая что-то насчет собственного гостеприимства. Рядом хлопотала Татьяна Александровна.

Через несколько минут передо мной, как на скатерти-самобранке, расстелилась еда-питье. А напротив сидел Зиновий Ефимович Гердт – перед стаканом воды и лежащим на блюдечке кусочком мацы.

Сидевшая рядом с мужем Татьяна Александровна голодала из солидарности.

А я сидел перед антрекотом, и слюноотделение уже началось. Я что-то жалко пискнул в том смысле, что предполагал ужинать вместе с хозяевами...

– Ну что вы! – воскликнул Гердт. – Я обожаю, когда при мне вкусно едят! Сделайте одолжение!

И даже, кажется, приложил руки к груди, изображая мольбу. А я (повторяю в последний раз) был ужасно голоден и долго бороться с интеллигентностью не мог.

Когда я положил кусочек антрекота в рот, начал его жевать и процесс пищеварения стал необратимым, Гердт негромко – но так, чтобы мне было слышно каждое слово! – сказал, обращаясь к Татьяне Александровне:

– Ну и молодежь пошла... Напротив него сидят два голодных ветерана войны – а он ест, и хоть бы что!

Видимо, в этот момент у меня что-то случилось с лицом, потому что Зиновий Ефимович немедленно «раскололся» и начал смеяться. И я понял, что нахожусь в гостях у молодого человека.

Таким выдался первый день моего знакомства с Гердтом.

У Ежи Леца сказано: «Не всякому жизнь к лицу». Гердту жизнь была паразитально к лицу!.. Он был воплощением радости жизни, человеком невероятного мужского обаяния, которое сохранилось в нём до последних дней.

Я наблюдал, как это действовало на женщин... Уже во время съемок той нашей телепередачи мы посадили за стол к Зиновию Ефимовичу наших ассистенток (по совместительству – интересных молодых женщин), чтобы Гердту было не так скучно рассказывать по сто восьмому разу свои репризы.

Я, конечно, надеялся, что такое соседство взбодрит Зиновия Ефимовича, но никак не предполагал масштабов этого... полёта! Минут через десять все мы – режиссер, оператор, осветитель, – все мужики от тридцати до сорока, переглянулись, и в глазах у каждого была одна и та же печальная мысль: нам здесь делать нечего! Никакой конкуренции этому семидесятишестилетнему человеку мы составить не могли.

Способ его воздействия я бы определил как принцип пылесоса. Он не атаковал объект, а просто приоткрывался немного, но там была такая сила и мощь, что через пять минут собеседника Гердта просто затягивало внутрь.

Таких счастливых лиц, как у женщин в том застолье, я не видел много лет.

Он был обманчиво легким в общении. Обманчиво доступным. Поэтому люди поглупее через десять минут начинали называть его Зямой... И для половины страны он был Зямой. Он отдавал на откуп эту масочку.

Зиновий Ефимович был человеком абсолютно элитарным (в самом высоком смысле этого слова), человеком драматичного сознания. В последнем интервью, вышедшем уже после смерти Гердта, я прочел его лаконичный ответ на вопрос о счастье: «Я этой дамы не встречал».

Он заставлял внутренне подтянуться. Я много раз ловил себя на том, что вот сижу рядом с ним, мы разговариваем и я должен изо всех сил стараться соответствовать.

При Гердте было немыслимо плохо рассказать анекдот и вообще – просто болтать при нём было невозможно. Он огорчался, скучнел, отводил глаза. И вообще – банальность, бездарность переживал как муку, как физическую боль.

Терпел из последних сил.

Зато как никто другой радовался чужому божьему дару, справедливо полагая, что божий дар не может быть чужим. Свойство поразительно редкое для актера – они же невероятно ревнивые существа! А Зиновий Ефимович мог позвонить на ночь глядя и крикнуть в трубку: «Витя! Вы видели Чурикову в «Плаще Казановы»? Нет? Витя, вы идиот! Немедленно идите! Это великая актриса!..»

Гердт никогда не путал личное с художественным. Ко мне он, кажется, был расположен, но похвалы тому, что я делаю, я дождался только пару раз. Хотя – что значит похвалы? А вот что: «Знаете, Витя, это вполне пристойно».

А бит я был за свои телевизионные экзерсисы многократно. В этих случаях Гердт был тактичен, но неумолим. «Мне кажется, Витя, это не лучшая ваша программа». После этого хотелось извиниться и немедленно провалиться сквозь землю.

...Гердт рассказывал про своего друга, недавно умершего поэта Н., какой он был блистательный человек, честнейший, замечательный, глубокий... – но в оценке поэтической был неумолим: поэт средний.

А про другого мог, наоборот, сказать: «Сволочь редкая, но стихи есть замечательные!»

У Гердтов было замечательное застолье. Оно сохранилось и по сей день в доме у Татьяны Александровны (что, к слову, много говорит о ка-

честве людей, собиравшихся вокруг Зиновия Ефимовича). Меньше всего там было артистов. Богемы и бомонда он терпеть не мог! За его столом была настоящая элита. Не попса с политикой пополам – врачи, математики, ученые, с которыми Зиновий Ефимович дружил по сорок – пятьдесят лет. Безукоризненные люди, знакомство с которыми большая честь для любого. Когда этого не понимали, это подчеркивалось.

Однажды я был свидетелем того, как Гердты поругались. И вот они ругались, ругались... и наконец Татьяна Александровна бросила Гердту в лицо: «Актер!..» Это прозвучало как последнее оскорбление. И Гердт, оборвав крик, вдруг мрачно сказал: «А вот за это можно и по морде...»

И оба расхохотались.

Слово «актер» в этой семье было оскорблением, эдакое богемно-фальшивое...

Дружить Гердты умели не по-нынешнему. Зиновию Ефимовичу было уже под восемьдесят, но каждый год он лично перевозил из города на дачу девяностолетнего артиста театра Образцова Евгения Вениаминовича Сперанского. А уж по мелочи...

Однажды, зимой довольно голодного 1992 года в моей квартире раздается звонок. На пороге стоит Татьяна Александровна с мешком картошки: «Нужна? Хорошая, не мороженная».

По дурной интеллигентской привычке я начал было отказываться. Аристократичная Татьяна Александровна послушала это с полминуты и сказала: «Значит, так. Не нужна картошка – увезу назад. Нужна – бери и не вые...!»

Татьяну Александровну Правдину Ширвиндт называл: «внучка шустовских коньяков» (ее дедушкой был тот самый коньячный король Шустов, о котором упоминает чеховский Андрей в «Трех сестрах»).

Татьяна Александровна стала «окончательной женой» Гердта (определение Зиновия Ефимовича).

История их знакомства замечательна и очень многое говорит об этих двух людях.

На зарубежные гастроли «Необыкновенного концерта» Гердт выезжал за несколько дней до труппы с переводчиком. Тот переводил ему свежие газеты, Гердт уяснял, чем живет страна, и когда зрители приходили на спектакль русской труппы, кукольный Конферансье на их родном языке шутил на злобу дня! Можете себе представить эффект.

Так вот, Татьяна Александровна, переводчик-арабист, поехала в командировку в Египет, работать с театром Образцова.

Она была замужем. Гердт был женат.

Они познакомились – и перед расставанием договорились встретиться в Москве через два дня.

Через два дня они встретились *свободными людьми*. Гердт за это время объяснился с женою, а Татьяна Александровна – с мужем. У нее была двухлетняя дочка Катя...

Незадолго до ухода Гердта из жизни Катя взяла его фамилию и отчество. Он ее спросил:

– Что ж ты раньше-то?..

– Стеснялась...

– Ддур-ра...

Надо было слышать это «ддур-ра...»

Так признаются в любви.

Татьяна Александровна сказала однажды: «Я бы его полюбила, даже если бы он был бухгалтером».

Есть острословы, а есть люди остроумные – и это диаметрально противоположные типы людей. Гердт никогда не острил. В нем этого казвэнского «вот я вам сейчас пошучу...» – не было совершенно.

Гердт поддерживал разговор, или поворачивал его, или прекращал – но это всегда было развитие мысли. Он успевал думать – редкость для людей шутящих.

Шутка рождалась как результат оценки ситуации.

Одна молодая журналистка передала мне совершенно блистательный диалог, произошедший у нее с Гердтом: «Ну что, деточка? Будете брать у меня интервью?» – «Да, Зиновий Ефимович...» – «Ах, всем вам от меня только одного нужно!..»

В 1949–1950 годах, во времена борьбы с космополитизмом, Зиновий Ефимович со своим братом Борисом возвращался с кладбища (была годовщина смерти мамы). На Садовом кольце они зашли в пивнушку («шалман», как определил ее Гердт) – согреться и помянуть. Перед ними в очереди стоял огромный детина. И когда очередь дошла до него, он вдруг развернулся в их сторону и громко сказал продавщице: «Нет уж! Сначала – им. Они же у нас везде первые!..»

И Гердт, маленький человек, ударил детину в лицо. Это была не пощечина, а именно удар. Дитина упал... Шалман загудел, упавший начал подниматься... Продавщица охнула: «За что?! Он ведь тебя даже жидом не назвал!..»

И стало ясно, что сейчас будет самосуд.

...Эту историю я услышал во время съемок телепередачи в ответ на свою просьбу рассказать о людях, которые спасали Гердта. И он рассказал мне о троих. О медсестре Вере Ведениной, которая вытащила его в феврале 1943 года с поля боя, из-под огня. О Ксении Винцентини – хирурге, которая делала ему последнюю, одиннадцатую операцию и спасла ногу. И рассказал он вот этот случай.

...Когда всё шло к самосуду, от стойки оторвался человек, которому Гердт едва доходил до подмышек. «Он подошел ко мне, загреб своими ру-

чищами за лацканы моего пальтишка, – рассказывал Гердт, – и я понял, что это конец. Мужик приподнял меня, наклонился к самому моему лицу и внятно, на всю пивную, сказал: “И делай так каждый раз, сынок, когда кто-нибудь скажет тебе что про твою нацию”».

И «бережно» (слово самого Гердта) поцеловав его, поставил на место и, повернувшись, оглядел шалман. Шалман затих, и все вернулись к своим бутербродам.

В этой истории – не только тот замечательный незнакомец. В ней – весь Гердт. Как позже писал Визбор: «Честь должна быть спасена мгновенно». И эта мягкость, этот «всесоюзный Зяма» из «Кинопанорамы» и «Чай-клуба» – далеко не весь Гердт. Повторюсь: он был человеком очень суровых правил.

На панихиде по Гердту Михаил Швейцер сказал: такие, как он, инвалиды сидели после войны в переходах, играя на гармошке и прося милостыню...

Судьба и история, надо им отдать должное, действительно сделали все для того, чтобы стереть Гердта в порошок.

Еврей, что могло стать приговором само по себе; инвалид и вообще человек не Бог весть каких физических кондиций. Внешность? Детские и юношеские фотографии – жалко смотреть... Маленький еврейский мальчик с оттопыренными ушами и огромными, заранее несчастными глазами...

Но, как сказал Бомарше, «время – честный человек».

Какой-то другой француз заметил, что к сорока годам женщина получает на своем лице то, что заслуживает. Мужчина – тоже. К началу пятого десятка собственно антропология уходит на второй план; душа начинает рисовать на лице свои черты.

У Гердта к пятидесяти стало необыкновенное лицо. Поразительной красоты! Его стали снимать в кино, и вдруг выяснилось, что – не оторваться! Война, четыре года костылей и больниц, одиннадцать операций – все эти страдания преобразили Гердта.

Сколько людей эти погибельные обстоятельства уничтожили!.. А Гердт преодолел земное притяжение – в нем был такой заряд жизнестойкости! Он был, по точному определению Саши Кабакова, супермен.

На вопросы о здоровье Гердт никогда не отвечал нейтральным «ничего». «Шикарно, потрясающе!»... Только в последние полгода он опустил планку до «вполне сносно» – когда боль уже почти не отпускала его. «Если не считать того, что я умираю», – в разговоре со мной добавил он однажды, бабелевским поворотом рычага переключив стон отчаяния в репризу.

Татьяна Александровна не позволяла ему умирать. Просто – не позволяла. «Поднимайся, обедать будем в столовой. Приехал такой-то...» (а всегда кто-то приезжал).

В последнее время очень часто рядом с ними была Людмила Львовна Хесина, врач, друг. Если бы не эти две женщины, Гердт мог не дожить до своего восьмидесятилетия.

Ему было под шестьдесят, когда он впервые после войны вышел на сцену – в спектакле театра «Современник». Он дебютировал, когда принято подводить итоги. Он играл блестяще – но как мало было ролей, достойных его дара! Лира он сыграл только за кадром, Ричарда и Шейлока не сыграл вообще. Паниковский, исполненный с какой-то головокружительной свободой, на пяти процентах актерских возможностей, стал его визитной карточкой.

Он не любил эту роль, досадовал на случайно прилипшее амплуа.

Любимца капустников, всеобщего Зяму – его, в сущности, проглядели. Великий артист, он рассказывал за кадром про лошадку, которая бежит быстрее собачки, – и делал рекламный ролик произведением искусства! Всё, к чему он прикасался, становилось золотым, потому что – он был гений.

Незадолго до ухода Гердта из жизни, когда ему исполнилось восемьдесят и было ясно, что он уже... *на пороге*, Валерий Фокин сказал: «Эх!.. Упустили время. Еще бы лет пять назад могли рвануть с ним “Короля Лира”...»

Какой бы это был Лир!

Про свои актерские работы он говорил крайне мало, но однажды признался, что за своего Мефистофеля из козаковского телефильма ему не стыдно. Он сказал: «Там было несколько подлинных секунд».



На съемках т/ф «Фауст».

Мефистофель – Зиновий Гердт, молодой Фауст – Кирилл Козаков. 1986

Это была его высшая похвала себе. Я думаю, ни разу в жизни никто не услышал от него слова «творчество» применительно к тому, что делал он сам.

Гердт почти не публиковал своих текстов, хотя рифмовал очень лихо и как литератор был намного талантливее большинства известных мне стихотворных фельетонистов. Но – выросший на Маяковском и Пастернаке, бывший другом Окуджавы и Самойлова, он стеснялся даже говорить о написанном, не то что публиковать.

Не было случая, чтобы Гердта было больше, чем нужно, хоть на одну секунду. Чувство меры родилось раньше него. Вот эта актерская болезнь, когда бульдозером со сцены не стащить, была Гердту совершенно чужда. Он всегда уходил раньше, чем это было нужно публике.

Зима, начало девяносто шестого года.

Мы едем в Троицк, в больницу, где Гердту должны поставить капельницу и дать очередную порцию лекарств. За рулем сам Зиновий Ефимович.

Мы приехали и прошли в палату. Когда я вышел из палаты что-то отнести-принести, в коридоре мне кланялись люди – потому что я был с Гердтом. Я понял, что такое светиться отраженным светом. Как луна...

Он тогда должен был ехать в Прагу сниматься, и врач (ее звали Наташа) давала ему последний инструктаж по таблеткам.

И вот Гердт полулежит в кресле, катетер в вене, рядом капельница, Наташа сидит у него в ногах, и он сдает ей экзамен, перечисляет, что и когда нужно принимать... Сдает он этот экзамен с первого раза, память профессиональная. Наконец Наташа говорит Гердту: «Зиновий Ефимович, еще какие-нибудь вопросы есть?»

Тут Гердт, лежавший двадцать минут эдаким послушным старичком, вдруг садится, при этом свободная от капельницы рука оказывается на Наташином колене. И говорит: «Да, один вопрос. Как там в Чечне?»

Он был молод. Он был моложе многих из тех, кто годится ему во внуки – от этого такая горечь доньне. Его смерть – смерть трагическая и преждевременная, что подтвердили на его похоронах слезы сотен людей «из публики», как сказал бы сам Гердт. Старое, измученное тело унесло с собою в могилу нежное юношеское сердце и ясную голову.

Когда Зиновию Ефимовичу стало ясно, что он уже уходит, что законы биологии распространяются и на него, он не мог с этим смириться. Ему было невероятно тяжело осознавать себя немощным – это, я уверен, причиняло ему самые большие страдания.

На восьмидесятилетие Зиновия Ефимовича, 21 сентября 1996 года, к нему на дачу съехались, по-моему, вообще все. Включая некоторое количество людей, про которых я не поручусь, что Гердт их знал вообще.

А одним из первых, по роду службы, явился поздравить Гердта вице-премьер Илюшин – он должен был вручить ему орден, называвшийся «За заслуги перед Отечеством» III степени. И, видимо, какой-то тамошний хо-

луй подсказал Илюшину, что он едет поздравлять интеллигентного человека. Вице-премьеру положили закладочку в томик Пастернака – и, вручив орден, он этот томик на закладочке открыл, сообщив, что хочет прочесть имениннику вслух стихотворение «Быть знаменитым некрасиво».

Гердт отреагировал немедленно: «Давайте лучше я вам его прочту!» А у Илюшина протокол, он же готовился... Нет, говорит, я сам. Тогда Гердт, гений компромисса, говорит: «Давайте так: строчку – вы, строчку – я...»

И вот можете себе представить картинку. Илюшин (по книжке): «Быть знаменитым некрасиво...» Гердт (наизусть, дирижируя красивой, взлетающей в такт правой рукой): «Не это поднимает ввысь...» Илюшин (по книжке): «Не надо заводить архива...»

И так они продвигаются по тексту, и всех, кроме вице-преьера, охватывает озноб, потому что все вспоминают последнюю строчку стихотворения. Строчку, которой в контексте физического состояния Гердта лучше не звучать совсем.

Положение спас сам Гердт (раньше всех вычисливший грядущую неловкость). И когда вице-премьер пробубнил свое: «Позорно, ничего не знача...» – Гердт, указав на себя, закончил: «Быть притчей на устах у всех...»

И рассмеялся, прерывая эту чиновную выдумку. Последние строфы прочитаны не были. Артист не дал первому вице-премьеру попасть в дурацкое положение.

На вечер в честь 80-летия Зиновия Гердта, в октябре 1996-го, случилось то, что иначе как чудом назвать нельзя.

На сцену поднялась та самая Вера Веденина, которая спасла его, вытащив на себе с поля боя, – и Гердт, сидевший за кулисами и смотревший действие по телевизионному монитору, вдруг сказал: «Я должен к ней выйти!»

И вот две Татьяны, жена Гердта и жена Сергея Никитина, помогли Зиновию Ефимовичу добраться до кулисы, и он отпустил руку жены – и на сцену вышел сам! Вся страна видела это.

Они обнялись. Вера Павловна, потерявшись на публике, начала говорить про войну, про победу, что-то сбивчивое, неловкое... Гердт мягко остановил её: «Вера, да ну их на фиг!.. Победили и победили...»

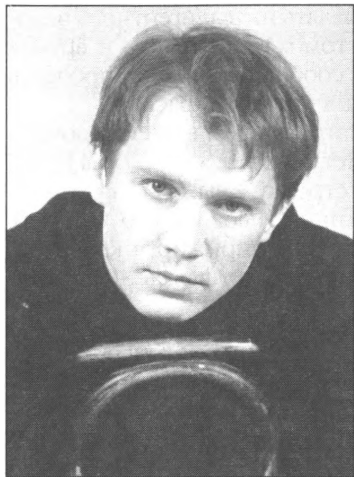
Как он умел снимать пафос!

С Гердта не брали денег на рынке. Я видел это своими глазами. Отводили руку с деньгами, а потом догоняли у машины и клали в машину арбуз.

Вот что такое – не популярность, а слава!

Если спросить этих людей, почему они так поступают, они, может быть, даже и не смогли бы внятно ответить на этот вопрос. Но даже торговцы мясом подсознательно понимали, что Зиновий Гердт им уже давно за всё заплатил.

Что все мы должны ему больше, чем он нам.



О Евгении Миронове

Впервые мы увидели Женю Миронова в фильме Тодоровского-младшего «Любовь». А познакомились и влюбились после фильма Тодоровского-старшего «Анкор, еще анкор!» После сцены с Гафтом в этом фильме Зяма шепнул мне: «Думаю, этот мальчик перешибет однофамильца», но ему, похвалив его, вероятно, из педагогических соображений, этого тогда не сказал. Гердт всегда с интересом следил за Жениными работами, а встречаясь с ним, радовался, что Женя, несмотря на юность, так трепетно и серьезно относится к профессии.

На съемках «Ревизора» они были уже партнеры. Причем в том, что Женя партнер «равный», а может, и «равнее» некоторых, Зяма не только убедился сам, но и сумел внушить очень звездной когорте участников. Напряженная в начале съемок атмосфера в группе, состоявшей из очень знаменитых имен и как бы «несолидных», молодых режиссера и главного исполнителя, переломилась, ушла ироничность и снисходительность, и возникли партнерство и дружелюбность.

Встречаясь сегодня с Женей на каких-нибудь спектаклях, просмотрах, я испытываю доверие к его искренней радости от встречи. Это очень согревает душу. А я вспоминаю его почти ежедневно, ставя на стол конфеты и печенье в корзинках-уточках, подаренных мне Женей, когда в Праге мы очень весело праздновали День Победы и приходящееся на этот день мое рождение.

Женя – человек светлый и теплокровный. Как истинно высокий талант независтлив и умеет восхищаться талантом других. Я уверена, что он принесет нам всем еще много радости. Удачи ему! Он ее заслуживает.

Евгений Миронов**ЕМУ Я ИГРАЛ ЭТОТ МОНОЛОГ**

Я только поступил в Школу-студию МХАТ.

Начал играть в массовых сценах в спектакле «Так победим». Он игрался в здании на Тверском бульваре. Однажды объявили, что на малой сцене состоится встреча с Зиновием Ефимовичем Гердтом. Все места, и сидячие и стоячие, были заняты. Чудом нашел стул в самом конце зала. Ждали час, не помню почему. Все волновались: неужели не придет? Пришел. Легкой, подпрыгивающей походкой вышел на сцену. Сразу стал своим. Тон разговора близкого тебе человека. От обилия великих имен, с кем дружил, встречался, работал, кружилась голова. Рассказывал нелепые случаи, зал от хохота лежал. И ужасно не хотелось расставаться.

Когда шел в общагу, только тогда осознал, кого видел. Гердт – живая легенда. Но почему-то величия его фигуры не ощущалось. Всё просто. Убили наповал его лёгкий юмор и самоирония. Много позже, когда от «успеха» ехала крыша, вспоминал гердтовскую самоиронию, и это лекарство моментально спасало от болезни. Тогда я и представить не мог, что буду не только лично знаком с Зиновием Ефимовичем, но и что мы будем работать вместе. Слово «работать» как-то не подходит. Жить. Потому что тут же попадаешь в его поле и выходить из него не хочется.

Сергей Газаров затеял фильм «Ревизор». Предложил мне Хлестакова. Все остальные – суперзвезды. Снимали в Праге. Оказалось дешево. Времени мало. Режиссер нервничал. Артисты, хоть и звезды, тоже. Все судорожно искали характерность. Нужно было начинать снимать, но никакой договоренности о том, что и как снимать, не было. В воздухе висел парализующий ужас. Перед съемкой к режиссеру подошел Зиновий Ефимович: «Простите, Сережа, я, кажется, придумал себе характерность. Что если я буду всё время прихрамывать?» И действительно, прихрамывал всю картину. Так элегантно снять напряжение мог только он. Вокруг него всегда собирались, чтобы послушать удивительные истории, которые не кончались. Теперь жалею, что не записал ни одной.

Готовились снимать главную сцену Хлестакова – сцену вранья. Утром в гримерной собрались монстры. Все великие стали вслух обсуждать предстоящую сцену: «Ну, посмотрим сегодня, какой ты артист». Молчит один Гердт. Я похохотал с ними. У самого от страха зуб на зуб не попадает. А нужна лёгкость в мыслях необыкновенная.

Подхожу к Газарову. Предлагаю снять всю эту сцену одним моноло-

гом, без звезд, а потом подснять их реакцию. Пока снимали, в павильон никого не впускал. Все так и сидели в гримерной до вечера и ждали, когда их пригласят. Единственным моим зрителем на этой съемке был Зиновий Ефимович. Ему я играл этот монолог. А он мне помогал, подыгрывал за всех. А потом вышел к великим, у которых от усталости оплавился грим и куда-то подевался утренний юмор, и что-то сказал. Что, не знаю. Но лица у них стали другие. Это была наша общая маленькая победа.

По вечерам, когда от усталости язык не шевелился, Зиновий Ефимович и Татьяна Александровна принимали у себя в номере. И опять истории, и смешные, и нет.

Я тогда не знал, что Зиновий Ефимович серьезно болен. И не понимал, каких усилий ему и его супруге стоили эти вечера.

Потом долго не виделись или виделись на премьерах. Всегда кидались навстречу друг другу.

Потом узнал всю правду о болезни. Был потрясен юбилейным вечером. Смотрел по ТВ. Понятно, что осталось совсем немного, но какой дух, какие глаза, всё та же ирония. Только уже грустная.

Позвонил Валера Фокин. Сказал, что надо поехать поздравить юбиляра на дачу. Сказал, что совсем плох. Ехали с замиранием сердца. Как войти? Что сказать? А главное – страх увидеть беспомощного Зиновия Ефимовича, другого, каким я его не знал. Открыла дверь Татьяна Александровна. Держится потрясающе. Как будто всё в порядке. Полный дом гостей. Я первый раз у них дома. Все веселятся. Невероятно. Даже неприятно, ведь умирает Гердт. Заходим к нему в комнату. Лежит. Рядом сидит Хазанов. Подходим ближе. И вдруг те же глаза, тот же тон, что и тогда, много лет назад. Веселый и легкий до неприличия: «Ребята, вы не видели мой орден? Нет? – шарит рукой по столику. – Таня! Катя! Бляди, где орден? – Приносят. Положил на грудь. – Вот, Женя, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. – Помолчал и добавил: – То ли заслуги мои третьей степени, то ли Отечество!..» Опять что-то рассказывает. Ловлю себя на мысли, что хочу запомнить его лицо, интонации, всего его. Устал. Подзывает меня к себе. Прижимается щекой. Я понял. Прощается.

На сердце одновременно больно и легко. Так не бывает. Так не умирают.

Зиновий Ефимович, я Вас люблю.

О Матвее Гейзере

Так сложилось, что Матвей Моисеевич Гейзер и я ни разу не встречались. Но считаю, что мы знакомы. Бывают ведь знакомства по переписке, а мы знакомы – по телефону. А еще я читала его прекрасную книгу о Михоэлсе. Зяма, получив ее в подарок от Гейзера и прочитав, очень хвалил его за нее, а мне хвалил самого Матвея Моисеевича и говорил о нем как о «единомышленнике».

Мне очень понравилось его эссе «Какие наши годы! или Объяснение в любви» Гердту. Надеюсь, что читатели разделят мое впечатление.

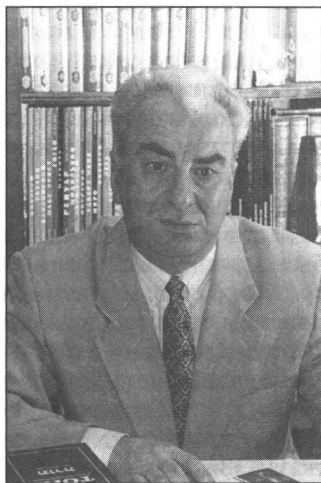
Думаю, после выхода этой книги мы, дай Бог, подружмся. Надеюсь, успеем.

Матвей Гейзер

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!

Мы не были близкими знакомыми, не было у нас продолжительных бесед, но встреч было немало, и в оправдание себе хочу заметить, что личность Гердта оказала на меня большое влияние. Почему? Не могу объяснить конкретно, но думается мне – произошло это под впечатлением от роли Кукушкина, которую гениально исполнил Гердт в фильме Петра Тодоровского «Фокусник». Известно, что Зиновий Ефимович сыграл немало ролей в кино. И убежден – нигде он так не приблизился к самому себе, как в этой роли.

Однажды в Доме кино я спросил Зиновия Ефимовича, есть ли у него среди сыгранных им ролей в кинематографе самые любимые. Со свойственной ему скромностью Зиновий Ефимович сказал: «Не могу ответить на ваш вопрос. Скажу лишь, что я гораздо чаще отказывался от ролей в кино, чем давал согласие играть. А любимая моя роль? От автора – в роммовском фильме «Девять дней одного года». Поверьте, что за экраном можно сыграть лучше и больше сказать, чем на экране», – и улыбнулся своей неподражаемо-печальной улыбкой, в которой просияло детство.



«За экраном можно сыграть лучше и больше сказать, чем на экране...» Может быть, в этом одна из самых оригинальных черт актера Зиновия Гердта – достаточно вспомнить «Необыкновенный концерт», «Божественную комедию» в Образцовском театре кукол. Что скрывать, когда голос Гердта за сценой «исчез», в этом театре было что-то потеряно – и навсегда.

Девятое февраля 1989 года. В этот день в Доме кино состоялся вечер памяти Соломона Михоэлса.

Гердт блистательно читал фрагменты из книги Феликса Канделя «Врата исхода нашего», а когда речь зашла о жестоком аресте Вениамина Львовича Зускина (его, больного, сонного, увезли из Боткинской больницы в тюрьму), зал замер в напряженной тишине – многие не в силах были сдержать слезы... Гердт вышел за кулисы, аплодисменты еще долго не смолкают. Зиновий Ефимович подошел к Ивану Семеновичу Козловскому и сказал: «Знаете, у меня никогда не было жажды аплодисментов, но сейчас случай особый – это не мне аплодируют, а Михоэлсу и Зускину. Зависть – вовсе не моя черта. Но вам завидую – вы так долго знали Соломона Михайловича и дружили с ним. Мне посчастливилось видеть его игрою на сцене. Он был истинным зеркалом и эпохи, и своего народа...» Козловский задумался, потом сказал: «Хорошо, что мы дожили до сегодняшнего вечера. О Михоэлсе еще будут сделаны фильмы, написаны книги. А вот этот молодой человек, – Иван Семенович представил меня, – написал монографию «Соломон Михоэлс». Надеюсь, вскоре она выйдет в свет». Гердт протянул мне руку: «Буду ждать вашей книги...» Это была моя первая встреча с Зиновием Гердтом.

Вторая произошла несколько позже в гостинице «Метрополь» на приеме в честь тогдашнего министра иностранных дел Израиля Шимона Переса. В этот день я подарил Зиновию Ефимовичу свою книгу «Соломон Михоэлс». Он не скрыл своей радости по этому поводу. Поблагодарил, погладил книгу. Обещал позвонить после прочтения и сдержал свое слово. Не буду воспроизводить нашу беседу, замечу лишь, что Зиновий Ефимович сказал: «Знаете, когда я читал в вашей книге страницы о детстве Зускина, мне показалось, что вы писали обо мне. Я в детстве, как и Зускин, разыгрывал своих знакомых, делал это с особым удовольствием, и кажется, достаточно мастерски. Не думал, но в глубине души очень хотел этого... И знаете, что еще интересно, – я ведь родился в Себеже. Это недалеко от Витебска и Паневежиса, где прошло детство Шагала и Зускина. Когда-то наш уездный городок Себеж даже числился в Витебской губернии... Я едва сдержал свое желание подробнее расспросить Зиновия Ефимовича о городе его детства и еще о многом. Но сдержался. Договорились, что обязательно встретимся. «Какие наши годы!» – бодро сказал Зиновий Ефимович.

Следующая моя «встреча» с Зиновием Ефимовичем была как бы заочной. Произошла она далеко от Москвы. Осенью 1992 года я ездил по местечкам Украины, собирая фотоматериал для своей книги «Еврейская мозаика». Местечко, вернее бывшее местечко, в Подолии. Брожу по улочкам, переулкам и вдруг вижу окно, в котором, как в магазинной витрине, висят фуражки (среди них даже одна военная), кепки какого-то особого покроя. Я, конечно же, остановился, постучал в дверь (то, что в доме живет мастеровой-еврей, у меня сомнений не вызывало). Мой стук, даже настойчивый, ни к чему не привел. Я постучал в окошко. Выглянула пожилая женщина и сказала: «Если вам что-то нужно, зайдите в дом». Она открыла дверь и, даже не пригласив меня войти, с порога сообщила, что сегодня суббота и ничего продаваться не будет. «Если вы хотите приобрести себе что-то на голову, приходите вечером или завтра утром. По вашему виду я вижу, что вы не ямпольский и даже не шаргородский, но вы точно еврей. Вокруг осталось так мало евреев, что я знаю всех в лицо. А вы откуда будете?» Я сообщил, что когда-то жил в Бершади, сейчас фотографирую оставшиеся еврейские местечки. Мое сообщение особого впечатления на хозяйку не произвело. «Но в нашем доме вас, наверное, заинтересовали головные уборы? – спросила она, окинув меня внимательным взглядом. – Я вижу, что вы скорее всего из Одессы. Я угадала? Ах, из Москвы! Залман, иди сюда! Здесь пришел интеллигентный покупатель из Москвы. Он что-то хочет».

В комнату вошел старый человек высокого роста с огромными «буденовскими» усами. Не поздоровавшись, он стал говорить: «Вы хотите иметь кепку моей работы. Я вас хорошо понимаю. Я не только последний «шаргородский казак», но и последний шапочник в местечке. Многие уехали в Палестину, кто-то просто умер. Палестина сейчас называется Израиль, но мой папа, мир его праху, называл эту землю Палестина и очень хотел туда поехать... Э, да я вас заговорю. Если вы что-то можете выбрать из готового товара, пожалуйста. Если нет, приходите завтра утром, я сниму мерку с вашей головы, и пока вы почитаете «Винницкую правду», у вас будет готов замечательный головной убор. Когда вас спросят в Москве, где вы его взяли, скажите, что у Залмана из Шаргорода, на улице Советской. Так вы сами будете из Москвы? В прошлом году у меня был один интересный клиент, тоже еврейский человек из Москвы. Он был такой маленький, что я нагигбался вдвое, чтобы с ним говорить. Он был с женой, высокой красивой женщиной. Когда этот человек узнал, что меня зовут Залман, он очень обрадовался и сказал, что в детстве его тоже звали Залман. Я пошил ему такую кепку, что ни в Ямполье, ни в Виннице, ни в Москве нет второй. И денег у него не взял. Вы еще можете подумать, что я богатый человек и мне не нужны деньги? Еще как нужны! Я стал местечковый капцн (бедняк. – *М.Г.*): «*Вся жизнь человека проходит в по-*

езде, который везет нас в лучший из миров. И идет этот поезд только в одну сторону. Есть ли жизнь за последней остановкой – я не знаю. Не уверен. Но жить надо так, как будто за последней остановкой начнется новая, вечная жизнь, и тогда не страшно умирать...» Ну скажите, после таких умных слов мог я взять деньги за свою работу? Конечно, нет!»

Почему-то в этом «клиенте» моего нового знакомого мне почудился Зиновий Ефимович Гердт, хотя как попал он в эти места, зачем и почему, в тот момент я понять не мог. Перечитывая свои записи, я позвонил Татьяне Александровне, вдове Зиновия Ефимовича. К моей радости, я оказался прав! Татьяна Александровна рассказала мне, что летом 91-го или 92-го года она с Зиновием Ефимовичем была на съемках фильма «Я Иван, а ты – Абрам». Фильм снимал французский режиссер в местечке Чернивци, затерявшемся где-то между Ямполем и Шаргородом. От кого-то из местных жителей Зиновий Ефимович узнал об этом еврее, знаменитом мастере по пошиву кепок. В свободный от съемок день Гердт с женой отправились в Шаргород. А остальное было примерно так, как рассказано выше.

Одна из встреч с Зиновием Ефимовичем состоялась у меня 7 мая 1994 года на приеме по случаю Дня независимости Израиля. В этот вечер мне повезло – я беседовал с Гердтом дольше обычного. Попросил разрешения брать у него интервью «в рассрочку» – по пять минут в течение многих лет. «Вы самый неназойливый журналист из тех, кого я знаю», – пошутил Зиновий Ефимович. Разговор был посвящен его детским годам. Родился он в бедной еврейской семье. Фамилия его в детстве была Храпинович. Отца звали Эфроим. «Я не раз вспоминал его, когда играл Арье-Лейба в фильме «Биндюжник и Король». Не подумайте, что отец мой чем-то был похож на Арье-Лейба, вовсе нет. Мой отец был человеком небогатым, но уважаемым всеми. Когда и как я стал Гердтом? Именно с того времени, как пришел на сцену. Не мог же я оставаться Храпиновичем». И еще на этой «пятиминутке» рассказал мне Зиновий Ефимович о том, что в Себеже до революции и некоторое время после нее существовала еврейская гимназия, но его родной язык – русский. Погромов не помнит. Рано уехал из дому... Часто вспоминал красоты вокруг Себежа – дивные озера, леса. Вместе с Татьяной Александровной они не раз туда ездили. «Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал...» – с грустью произнес Зиновий Ефимович.

Зимой 1995 года в Доме актера в Калошином переулке происходила презентация коллективного российско-израильского сборника «Гостевая виза (29 взглядов на Израиль)». В числе авторов сборника были Нонна Мордюкова, Борис Чичибабин, Евгений Леонов, Лев Разгон, Ли-

дия Либединская, Марк Захаров, Александр Иванов, Борис Жутовский, Зиновий Гердт. В тот вечер наша «пятиминутка» получилась особенно длинной. Среди прочего Зиновий Ефимович говорил: «Вы знаете, я до конца так и не понимаю слово «национальность». Мне кажется, что слово «одессит» отражает скорее национальность, чем понятие этнографическое. Я не раз бывал в Одессе и обратил внимание, что люди различных национальностей, живущие в этом городе, очень схожи между собой. И дело не только в особом одесском жаргоне и дикции, а в восприятии жизни и отношении к ней. Роман «Двенадцать стульев» написали русский Катаев и еврей Файнзильберг. Точнее же, эта книга рождена двумя одесситами. И вообще, если человек слишком углубляется в национальный вопрос, недолго путь к национализму. Помню, не раз говорил мне покойный Дезик (Давид Самойлов. – М. Г.): «Национализм возникает у людей, потерявших не только уверенность в себе, но и уважение к себе. Национализм не только не синоним слову патриотизм, но скорее антоним». Я по-настоящему люблю Россию, и любовь моя к России – это прекрасная и, как сказано у поэта, «высокая болезнь». Я побывал во многих странах, это были интересные и замечательные путешествия, встречи. Из последних мне больше всего запомнилась поездка в Израиль. Наверное, потому, что сыграл там несколько раз в Тель-Авиве на сцене театра «Гешер» бабелевского Илью Исааковича. А может быть, еще и потому, что гидом моим был неподражаемый Гарик Губерман. И, наверное, более всего поездка в Израиль запомнилась встречами со старыми друзьями. Поверьте, расставаясь с ними в конце шестидесятых – начале семидесятых, я и не верил в возможность новых встреч. И все же даже в Израиле, этой удивительной стране, я скучал по России. Это – необъясимо, пожалуй, даже интимно». И тут Зиновий Ефимович вспомнил о своей давнишней знакомой поэтессе Саре Погреб и прочел ее стихотворение, из которого я по памяти воспроизведу следующие строки:

*И смотрит вниз сквозь сумрак голубой
созвездие, плывущее судьбой.
Пустое! Суть в эпохе и стране.
И в тоненькой нервующейся струне.*

«Я люблю Сару Погреб, – продолжил Зиновий Ефимович, – поэт она настоящий и поняла, в чем суть, уж во всяком случае – не в национальности. А внешность, черты лица – неужто по этому судить о национальной принадлежности того или иного человека?» Стоявшая рядом Лидия Борисовна Либединская со свойственным ей юмором заметила: «Если уж судить о национальной принадлежности по внешности, то ни в Пушкине, ни в Лермонтове нет и оттенка славянской внешности. А Гоголь? Разве он похож на типичного русского? А есть ли более русский писатель, чем Николай Васильевич? О его отношении к евреям говорить не

буду, но если уж о внешности – она далека от русской». Вся наша компания – кроме упомянутых, были Борис Жутовский, Юрий Рост, Александр Иванов – расхохоталась, а Зиновий Ефимович, задрал голову, глядел на Иванова и обращался к окружающим: «Посмотрите, вот Саша Иванов, и по происхождению, и по языку – русский человек и истинно русский поэт. А многие его принимают за еврея: длинный нос, печальные глаза, насмешливый взгляд... А уж за мастерство и умение съехидничать, высмеять – его начисто причислили к евреям, как будто ирония, насмешливость, юмор свойственны только евреям». Тут в разговор «вмешался» сам Александр Иванов: «И все же иронизировать над собой, сочинять анекдоты о себе, смеяться во спасение свойственно евреям больше, чем другим народам». Мы с Лидией Борисовной закурили, я предложил сигарету и Зиновию Ефимовичу, он отказался: «Уже накурился, больше шестидесяти лет курил очень много, недавно бросил. Разумеется, инициатива исходила не от меня». Он знал о своей тяжелой болезни, но жил так, словно ничего этого нет, и даже юмор остался прежним. И интеллигентность – тоже.

И еще об одной встрече с Зиновием Ефимовичем. В мэрии Москвы проводилось совещание по подготовке к 50-летию Победы над фашистской Германией. Участниками совещания были крупные чины, военные и гражданские. Собралась вся театральная элита Москвы: Элина Быстрицкая и Сергей Юрский, Марк Захаров и Марлен Хуциев... Где-то между Владимиром Этушем и Григорием Баклановым скромно приютился Зиновий Ефимович Гердт. Все были активны и взволнованы, предлагали различные мероприятия к предстоящему празднику, в большинстве своем интересные. Зиновий Ефимович скромно и даже как-то застенчиво молчал, а когда «дебаты» уже подходили к завершению, неожиданно попросил слова. Я, к сожалению, не записал эту короткую, но блистательную речь. Не удалось мне найти и протокола этого заседания. Но попытаюсь пересказать ее. Гердт говорил, что волнение в преддверии такого праздника и столь активное участие в его подготовке московской интеллигенции вполне естественно, иначе быть не могло. Но его, Гердта, сего-



Книга на память. 1995

дня волнует другое: готовясь к празднику Победы над немецким фашизмом, мы как будто не замечаем (может быть, проще не замечать, чем противодействовать?), как гуляет фашизм по Москве (Гердт повернул голову в сторону сидевших во главе стола высоких начальников, военных и гражд-

данских). Он напомнил о недавних выступлениях на телевидении Эдуарда Лимонова и иже с ним, о распространяемой платно и бесплатно в переходах Москвы литературе фашистского толка. Последние слова воспроизвожу уже по записи: «Простите меня за то, что моя реплика не совпадает с целью сегодняшнего уважаемого совещания, но я не мог сегодня не сказать об этом – всё это волнует меня не меньше, чем память о войне, участником которой я был. Еще раз извините, господа», – с грустной улыбкой закончил свое выступление Зиновий Ефимович.

В зале буквально замерли, а через несколько секунд раздалась аплодисменты, которые, конечно же, не входили в ритуал подобных заседаний.

В тот день он выглядел довольно неплохо. Это была моя последняя встреча с Зиновием Ефимовичем. Впрочем, не совсем так – еще одна беседа с ним состоялась у меня по телефону незадолго до Дня Победы. В одной из газет меня попросили подготовить материал под условным названием «День последний – день первый». Я должен был собрать воспоминания знакомых мне писателей, поэтов, художников, актеров о том, каким запомнился им день 9 мая 1945 года. Материал этот я так и не сделал, но своими воспоминаниями об этом дне со мной поделились художник Борис Ефимов, журналист Давид Ортенберг, беседовал я с Лидией Борисовной Либединской, Ириной Ильиничной Эренбург. Решил поговорить и с Зиновием Ефимовичем. Я знал, что здоровье его в ту пору было неудовлетворительным. Позвонив Татьяне Александровне, очень осторожно поинтересовался, нельзя ли napроситься к Зиновию Ефимовичу на встречу. Она попросила меня позвонить вечером, к тому времени будет ясно, можно ли будет соединить меня с Зиновием Ефимовичем. Я позвонил после восьми, он подошел к телефону, голос его был бодрым, можно сказать, оптимистичным. Выяснилось, что на заданную мне тему он уже беседовал с корреспондентом какой-то из газет и ничего нового мне сказать не сможет, да и не так это интересно. Неожиданно Зиновий Ефимович спросил меня, давно ли я читал (или перечитывал) «Казаков» Толстого. «Давно», – ответил я. И вдруг, не знаю уж, по памяти или из книги, Гердт начал читать мне отрывки из этой повести. В голосе его не чувствовалось никакой усталости, болезни – тем более. Но было мне как-то не по себе, что больной, пожилой актер столь усердно дарит свое искусство единственному слушателю да еще по телефону. Нескоро раз он прерывал свое чтение словами: «Послушайте, как написано! Это Библия! Так писать мог только истинный пророк». Не помню, сколько времени длилось чтение, после какого-то отрывка Зиновий Ефимович произнес свою, ставшую частой в наших разговорах фразу: «Обязательно свидимся. Какие наши годы!», попрощался со мной, и я уже не помню, успел ли я попрощаться с ним. А может, и лучше, если не попрощался.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Арканов Аркадий Михайлович (р. 1933) – писатель-сатирик. Работал участковым врачом, затем посвятил себя литературной деятельности. Автор тринадцати книг и трех пьес (в соавторстве с Г. Гориным), участник многих телевизионных программ.

Володин Александр Моисеевич (р. 1919) – драматург. Автор пьес «Фабричная девчонка», «Старшая сестра», «С любимыми не расставайтесь», «Дульсинья Тобосская», «Две стрелы», сценариев фильмов «Звонят, откройте дверь!», «Фокусник», «Осенний марафон» и др.

Гафт Валентин Иосифович (р. 1935) – актер. После окончания Школы-студии МХАТ работал в различных московских театрах, с 1969 г. – в театре «Современник». Много снимается в кино и на телевидении. Народный артист России. Автор стихов, книг, эпилграмм.

Гейзер Матвей Моисеевич (р. 1940) – журналист, автор книг «Еврейская мозаика», «Семь свечей», «Соломон Михоэлс» и др.

Горин Григорий Израилевич (1940–2000) – писатель, драматург, сценарист. Работал врачом «Скорой помощи». Автор пьес «Тот самый Мюнхгаузен», «Поминальная молитва», «Дом, который построил Свифт», «Королевские игры», «Шут Балакирев», сценариев фильмов: «Формула любви», «О бедном гусаре замолвите слово...» (в соавторстве с Э. Рязановым) и др.

Гурченко Людмила Марковна – актриса, певица. После яркого дебюта в к/ф «Карнавальная ночь» (1956) много снимается в кино, в том числе в фильмах: «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Вокзал для двоих», «Старые клячи». Народная артистка СССР. Автор книг «Мое взрослое детство», «Аплодисменты».

Ким Юлий Черсанович (р. 1936) – поэт, бард, драматург. После окончания Московского государственного педагогического института (1959) работал учителем. Автор песен ко многим кино- и телефильмам, в том числе «Бумбараш», «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», книг: «Творческий вечер», «Летучий ковер», «Волшебный сон» и др.

Кузнецов Исая Константинович (р. 1916) – драматург, сценарист, автор пьес: «Два цвета» (в соавторстве с А. Заком), «Взрослые дети», «Весенний день 30 апреля», сценариев фильмов: «Колыбельная», «Москва

– Кассиопея», «Достояние республики», книг «Лестницы», «Все ушли» и др.

Либединская Лидия Борисовна – писатель, литературовед, автор книг: «Зеленая лампа», «Воробьевы горы», «Жизнь и стихи», «Герцен в Москве», «Живые герои» и др.

Львовский Михаил Григорьевич (1919–1994) – поэт, драматург, сценарист. Автор книг: «Точка, точка, запятая», «Сигнал надежды», «Проклятый доктор» и др. Заслуженный деятель искусств России.

Ляпидевский Роберт Анатольевич (р. 1937) – служил в военно-морских силах, с 1959 года – актер Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова.

Махаринский Ефим Геннадьевич (р. 1932) – доктор технических наук, химик-технолог, заслуженный изобретатель СССР.

Махлах-Львовская Елена Константиновна – филолог, много лет была одним из ведущих редакторов издательства Детгиз. Жена Михаила Григорьевича Львовского.

Мионов Евгений Витальевич (р. 1966) – актер. Снимался в фильмах: «Любовь», «Лимита», «Анкор, еще анкор!», «Мусульманин», «Ревизор» и др. Заслуженный артист России.

Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) – писатель. Автор книг: «В окопах Сталинграда», «Записки зеваки», «По обе стороны стены» и др. С 1974 г. – в эмиграции, во Франции.

Никитина Татьяна Хашимовна – кандидат физико-математических наук. Лауреат многочисленных конкурсов авторской песни. Выступает в дуэте с мужем Сергеем Никитиным. В 1992–1994 гг. – заместитель министра культуры Российской Федерации. С ее участием выпущено несколько дисков, в том числе: «Когда мы были молодые», «Татьяна и Сергей Никитины», «Под музыку Вивальди» и др. Участвовала в создании фонограмм для фильмов: «Москва слезам не верит», «Гараж» и др.

Окуджава Булат Шалвович (1924–1997) – поэт, один из создателей жанра авторской песни. Автор многочисленных поэтических сборников, исторических романов: «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом», автобиографического романа «Упраздненный театр».

Погреб Сара Абрамовна – педагог, преподаватель русской литературы, поэт. Живет в Израиле.

Правдина Татьяна Александровна – переводчик, востоковед-арабист. Жена З. Е. Гердта.

Райкин Константин Аркадьевич (р. 1950) – актер, режиссер. С 1970 г. – в Театре миниатюр. С 1982 г. – художественный руководитель театра «Сатирикон» им. А. И. Райкина. Снимался в фильмах: «Труффальдино из Бергамо», «Тень», «Лисистрата» и др. Народный артист России.

Рязанов Эльдар Александрович (р. 1927) – кинорежиссер, сценарист, драматург. Поставил более двадцати фильмов, в том числе: «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово...». Народный артист СССР. Автор книг: «Неподведенные итоги», «Ностальгия» и др.

Самойлов Давид Самойлович (1920–1990) – поэт. Автор стихотворных сборников: «Второй перевал», «Дни», «Весть», «Залив» и других. Книги мемуаров «Памятные записки», «Перебирая наши даты» опубликованы посмертно.

Скворцов Эдуард Викторович (р. 1940) – доктор физико-математических наук, профессор Казанского государственного университета, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Племянник З. Е. Гердта.

Тодоровский Петр Ефимович (р. 1925) – кинооператор, кинорежиссер. Поставил фильмы: «Фокусник», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!» и др. Народный артист России.

Трунов Геннадий Михайлович (р. 1943) – кандидат технических наук, доцент кафедры общей физики Пермского государственного технического университета, имеет более 20 авторских свидетельств и несколько патентов. Дважды чемпион России по плаванию среди ветеранов.

Ульянов Михаил Александрович (р. 1927) – актер. С 1950 г. – на сцене Театра им. Вахтангова, с 1987 г. – его художественный руководитель. Снимался в фильмах: «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег», «Освобождение», «Тема», «Легенда о Тиле» и многих других. Народный артист СССР.

Успенский Эдуард Николаевич (р. 1937) – писатель. Автор детских книг: «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантированные человечки» и многих других. Организатор и ведущий телепрограммы «В нашу гавань заходили корабли».

Фокин Валерий Владимирович (р. 1946) – режиссер. С 1971 г. – в московском театре «Современник», с 1985 г. – главный режиссер московского Театра им. Ермоловой. Художественный руководитель и генеральный директор Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда. Заслуженный деятель искусств России и Польши, народный артист России.

Чичибабин Борис Алексеевич (1923–1994) – поэт. Автор книг: «Молодость», «Гармония», «Колокол», «Борис Чичибабин в стихах и прозе», вышедшей посмертно, и других.

Швейцер Михаил Абрамович (1920–2000) – кинорежиссер. Поставил фильмы: «Время, вперед!», «Воскресение», «Золотой теленок», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Крейцера соната», «Маленькие трагедии» и др. Народный артист СССР.

Шендерович Виктор Анатольевич (р. 1958) – литератор. Автор книг «Московский пейзаж» и др., телепрограмм «Куклы», «Итого».

Шергова Галина Михайловна – писатель, автор поэтических сборников: «Мечты», «Возраст», «Смертный грех», книг прозы: «На углу Арбата и улицы Бубулиной», «Синий гусь», «Касание» и др...

Ширвиндт Александр Анатольевич (р. 1934) – актер. С 1957 г. – в Театре им. Ленинского комсомола (Москва), с 1967 г. – в Театре на Малой Бронной, с 1969 г. – в Театре сатиры. С 2000 г. – его художественный руководитель. Много снимается в кино, в том числе в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Простодушный» и др. Автор книги «Былое без дум». Народный артист России.

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Правдина. ВВЕДЕНИЕ	7
<i>Об Исае Кузнецове</i>	8
И. Кузнецов. ЗЯМА	10
<i>О Львовских</i>	26
<i>И. Кузнецов.</i> ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ – ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ	28
М. Львовский. ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ	36
Е. Махлах-Львовская. ВЕСЕЛЫЕ МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ	41
<i>О Давиде Самойлове</i>	45
Д. Самойлов. «ПОВТОРИ, ВОССОЗДАЙ, ВОЗВЕРНИ...»	48
ПИСЬМА В СТИХАХ И ПРОЗЕ	49
«ДАВАЙ ПОЕДЕМ В ГОРОД...»	57
<i>О Михаиле Швейцере</i>	58
М. Швейцер. ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕТ, А СКОРО И СОВСЕМ УЖ НЕ БУДЕТ...	59
<i>(Запись и литературная обработка Н. Васиной)</i>	
<i>О Константине Райкине</i>	65
К. Райкин. ОН ПОМОГАЛ МНЕ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ	67
<i>О Галине Шерговой</i>	70
Г. Шергова. ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ	72
<i>О Роберте Ляпидевском</i>	77
Р. Ляпидевский. Я УВИДЕЛ... ПРОВОДНИКА	79
<i>(Запись и литературная обработка Н. Васиной)</i>	
<i>О Лидии Либединской</i>	88
Л. Либединская. МЫ ЛЮБИМ ВАС, ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ!	89
<i>Об Эдуарде Скворцове</i>	92
Э. Скворцов. ДЯДЯ	92

<i>О Петре Тодоровском</i>	102
П. Тодоровский. О, МАЙН ГЕРДТ!.....	103
<i>Об Эльдаре Рязанове</i>	111
Э. Рязанов. «ТЫ ЗНАЕШЬ, МЫ БЫЛИ ВПОЛНЕ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ...»	112
<i>Об Эдуарде Успенском</i>	138
Э. Успенский. «ЭДИК, ВЫ МЕНЯ ВТЯГИВАЙТЕ...»	139
<i>(Запись Н. Васиной)</i>	
<i>О Валерии Фокине</i>	144
В. Фокин. ОН ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ВЗДОХНУЛИ И УЛЫБНУЛИСЬ...	145
<i>(Запись Н. Васиной)</i>	
<i>Об Александре Володине</i>	154
А. Володин. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ СОБОЙ	155
<i>Об Александре Ширвиндте</i>	157
А. Ширвиндт. УКРАШЕНИЕ НАШЕЙ ЖИЗНИ	159
ОН БЫ СДЕЛАЛ ТРОН <i>(Запись Н. Васиной)</i>	161
<i>О Булате Окуджава</i>	170
Б. Окуджава. «БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА».....	172
<i>О Геннадии Трунове</i>	173
Г. Трунов. ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ	174
<i>О Валентине Гафте</i>	184
В. Гафт. «ВАЛЯ! ГЕРДТ!» <i>(Запись Н. Васиной)</i>	185
<i>О Юлии Киме</i>	190
<i>З. Гердт.</i> ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ	190
Ю. Ким. «ЕСТЬ ЭТОТ БАРХАТ...».....	192
<i>О Григории Горине</i>	195
Г. Горин. ОДНИМИ ГЛАЗАМИ ПОВЕДАТЬ СУДЬБУ	196
<i>(Запись Н. Васиной)</i>	

О Борисе Чичибабине.....	201
Б. Чичибабин. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ЛЮБИМЫМ АРТИСТОМ.....	203
О Михаиле Ульянове.....	206
М. Ульянов. КАК НА ОТДЫХЕ, НО ПРОФЕССИОНАЛ.....	207
(Запись и литературная обработка Н. Васиной)	
О Людмиле Гурченко.....	211
Л. Гурченко. SUNNY BOY.....	212
О Викторе Некрасове.....	219
В. Некрасов. ГЛЯДЯ НА НЕГО, Я НЕ ДУМАЮ О ВОЗРАСТЕ.....	222
О Никитиных.....	224
Т. Никитина. ЗЯМА, СПАСИБО.....	226
Об Аркадии Арканове.....	234
А. Арканов. «ХОЗЯИН, ГДЕ ЧИТАТЬ БУДЕМ?».....	235
(Запись Н. Васиной)	
О Ефиме Махаринском.....	243
Е. Махаринский. НЕРАСТОРЖИМО НАШЕ ЗЯМСТВО.....	244
О Саре Погреб.....	246
С. Погреб. «СЧАСТЛИВЕЙ И ГРУСТНЕЕ ВСЕХ...».....	248
О Викторе Шендеровиче.....	250
В. Шендерович. «ЖИВЫМ, ЖИВЫМ И ТОЛЬКО ДО КОНЦА...».....	251
(Запись Н. Васиной)	
О Евгении Миронове.....	260
Е. Миронов. ЕМУ Я ИГРАЛ ЭТОТ МОНОЛОГ.....	261
О Матвее Гейзере.....	263
М. Гейзер. КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!.....	263
Коротко об авторах	270

Литературно-художественное издание

ЗЯМА – это же Гердт!

Составители: *Я. И. Гройсман, Т. А. Правдина*
Оформление *В. Петрухин*

Редакторы: *Я. И. Гройсман,*
Н. В. Резанова,
Н. Б. Васина

Компьютерный набор *С. М. Кацнельсон*
и верстка *С. Р. Сорувка*
Корректор *Л. А. Зелексон*

В книге использованы фотографии из архива семьи Гердт.

Помещены фотоработы В. Ахломова, А. Батурина, В. Борисова,
О. Бурбовского, И. Гневашева, Г. Гранта, Л. Зильберминца,
Д. Зюбрицкого, А. Нагаева, А. Стернина,
Г. Трунова, К. Хемпеля, В. Шейнина, Я. Юнгера,
а также фотографов,
чьи фамилии владельцам архива и издательству неизвестны.
Фото на обложке В. Плотникова.

Изготовление оригинал-макета – ООО «Издательство «ДЕКОМ»».
Диaposитивы изготовлены ЗАО «Д-графикс», тел. (8312) 359-503.

Подписано в печать 1.09.2001.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Гарамонд».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,28.
Дополнительный тираж 5000 экз. Заказ № 156.

ООО «Издательство «ДЕКОМ»», 603000 Н. Новгород, ул. Горького, 107,
тел. (8312) 337-531.

E-mail: izdat@dekomprint.com <http://www.dekom.nnov.ru>

Отпечатано с готовых диaposитивов в РГУП «Чебоксарская типография №
428019 Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

ISBN 5-89533-054-1



9 795895 330547



Имена



**Серия «ИМЕНА» –
это книги наших
современников,
известных российских
писателей
и поэтов, артистов
и режиссеров,
деятели искусства и науки.**



**Их воспоминания
и размышления
о людях и событиях
нашей эпохи,
о времени и о себе.**



***Книги издательства «ДЕКОМ» можно приобрести
в крупнейших магазинах Москвы:***

ТД «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6, тел. 925-24-57),

ТД «Москва» (ул. Тверская, 8, тел. 229-66-43),

ТД «Молодая гвардия» (ул. Большая Полянка, 28, тел. 238-50-01),

«Московский дом книги» (Новый Арбат, 8, тел. 290-45-07).

В Нижнем Новгороде: магазин «Дирижабль»
(ул. Б. Покровская, 46, тел. 340-305).

По вопросам оптовых и мелкооптовых поставок обращаться:

Издательство «ДЕКОМ» – 603000 Н. Новгород, ул. Горького, 107,
тел. (8312) 337-531, факс (8312) 355-474. E-mail: izdat@dekomprint.com
Московское представительство: тел. (095) 252-64-03.

КОРФ «У Сытина» – 125183 Москва, пр. Черепановых, 56,
тел. (095) 154-30-40,

«КРАФТ +» – 129343 Москва, пр. Серебрякова, 14, тел. (095) 186-93-78,

ООО «Ретро» – Санкт-Петербург, ул. Калинина, 52а,
тел. (812) 325-19-38, 567-53-35. E-mail: petropol.spb@mailbox.alkor.ru.
Московское представительство: тел. (095) 177-83-16

Victor Kamkin Books

Tel: (301) 990-4010

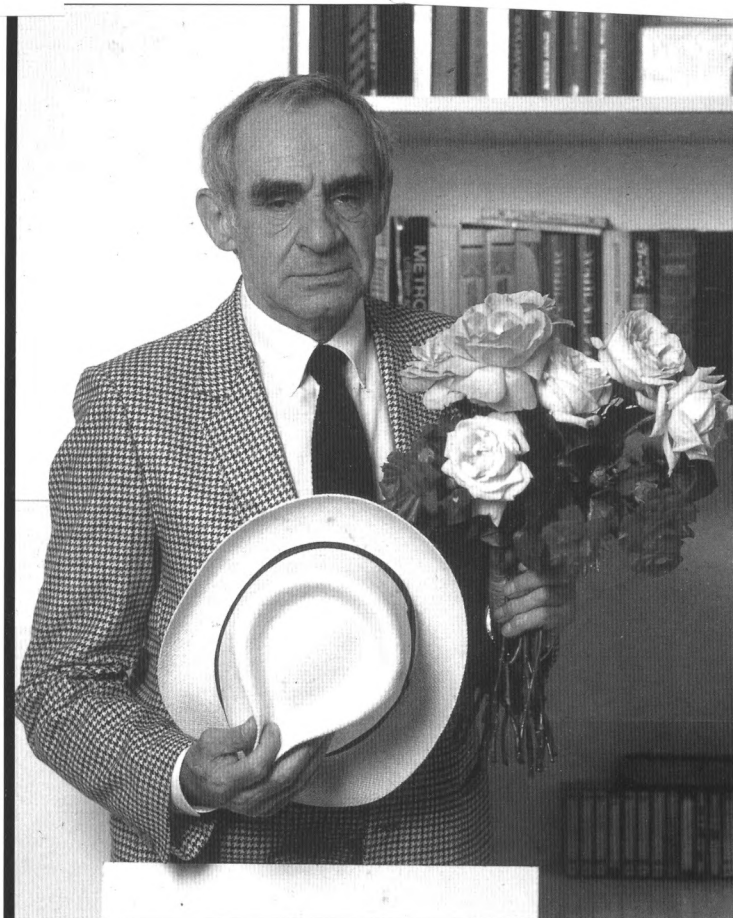
kamkin@kamkin.com

www.kamkin.com

BAYLOR UNIVERSITY LIBRARIES



3 1263 01661 4890



AEKOM